

СОБРАНИЕ  
СОЧИНЕНИЙ

М. КОЦЮБИНСКИЙ

М. КОЦЮБИНСКИЙ

1844

2



# М. КОЩЮБИНСКИЙ

## СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ТРЕХ ТОМАХ

*Под редакцией*  
П. ТЫЧИНЫ и Н. УШАКОВА

---

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  
МОСКВА

# М. КОЦЮБИНСКИЙ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ  
ТОМ ВТОРОЙ

ПОВЕСТИ  
И РАССКАЗЫ

*Перевод с украинского*

---

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1951

*Составитель*  
*Ал. ДЕЙЧ*

## FATA MORGANA

*(из деревенских настроений)*

### ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Когда Андрий Вольк проходил мимо главного здания сгоревшего сахарного завода, со стен развалин с криком поднялось воронье и с треском посыпались штукатурка и кирпич. Хотя сахарный завод, давно уже заброшенный, разрушался и порос травой, в пустых корпусах его время от времени слышался шум, словно гомон машин и рабочих остался в старом помещении. Проходя мимо груды битого кирпича, белых пятен извести, полуприкрытых молодым бурьяном, мимо гнилых трухлявых желобов и черных дыр-окон, из которых будто что-то смотрело, — Андрий вспоминал прошлое. Какой-нибудь обод, блестящий в траве, словно ползущая змея, или чугунное колесо, наполовину вросшее в землю, вызывали перед его глазами картину шумной заводской жизни, и он видел себя у вагонеток с сахаром или у аппарата. Тогда он получал тринадцать рублей в месяц!..

— Было время, пане добродзею! — говорил он громко сам себе и разглаживал седой ус.

Андрий направлялся к старому вязу, росшему на вершине холма. С холма сползали заводские строения.

Направо от него играл на солнце серебряной рябью пруд, будто рыбы купались в нем, а за прудом, на другом холме, пряталась в деревьях церковь. Позади, за

вязом лежал внизу широкий зеленый луг, прорезанный извилинами реки. Вербы и ракиты серо-зеленым туманом катились по лугу и кое-где закрывали воду. На горизонте в дальних окрестных селах белели колокольни.

Было солнечное утро воскресенья на Фоминой. По церквам звонили. Дальние колокола гудели в ясном воздухе тихо и мелодично, и казалось, это звонит золото солнца.

Андрей глядел на развалины завода и радостно покачивал головой.

— Га! так продолжаться долго не может!.. Они, как возьмут в свои руки, быстро дадут пар...

«Они» — были немцы или чехи, а может и евреи, приезжавшие шесть лет тому назад осматривать сгоревший сахарный завод. Хотя потом никто уже не интересовался развалинами, но Андрия не оставляла надежда, что вот-вот неизвестно откуда наедут паны, все починят и пустят завод.

Ну, а теперь он в этом уверен, ведь панский пастух Хома Гудзь шепнул ему эту новость. Хома хоть пасет скот, а все же ближе к панам, — ведь он трется около них. Будет завод, будет!..

Иначе, пане добродзею, сущая погибель теперь человеку: заработать негде, земли отродясь не было, подати плати, кругом нужда, а есть надо! Да! велико ли счастье — клочок земли!.. Роятся на своем наделе, а сами черные, как земля... а едят не лучше тех, у которых ничего нет... Хозяева!..

Андрей с презрением сплюнул сквозь зубы.

Вот завод — другое дело. Не страшны тебе ни засуха, ни дожди. Работа чистая, постоянная. Придет срок — получай деньги...

И он тогда пил пиво... За наличные... Чистое, золотое, холодное пиво... Тьфу!.. даже слюнки текут.

Думал: подрастет Гафийка, найдется на завод. Где б она заработала столько!.. И скорее вышла бы замуж. А как же... Там народу много — нашелся бы и жених. Аппаратчик или слесарь... Пусть старуха не дурит головы ни себе, ни девке; хозяйский сын не возьмет бедную, — не таков свет теперь. А как же...

Его мысли текли дальше. Такие легкие, такие прозрачные, как весенний воздух...

Нет развалин. Всюду новые здания. Гул машин, шипение пара, множество людей, — целый ад работы. Все движется, живет, все такое привлекательное. И он чувствует силу в руках, а во рту у него вкус холодного пива.

Последние звоны замерли в воздухе. Из церкви выходят... С горы до самой плотины движется медленно туча народу. Стучат деревенские сапоги, шелестят подошвы, и трепещут на ветру ленты дивчат.

Вот идет Маланка. Маленькая, сухая, черная, в чистой сорочке, в старенькой свитке. Андрий не видит ее лица, но знает, — глаза ее опущены и губы поджаты. Мы бедные, да честные. Хотя и живем трудами рук своих, но и для нас есть место в церкви. Рядом с ней Гафийка, как молодое деревцо из господского сада. У Андрия под усами блуждает улыбка. Он знает, что в селе нет лучшей девушки. Семнадцатый год пошел с филипповок.

— Га-га-га! Вот где он правит службу божью. Здорово!

Грубый голос доносится снизу, и старое безусое лицо панского пастуха Хомя Гудзя показывается из-за покосившегося забора.

— А вы ж думали — где? Дай боже...

— Чорта лысого сидел бы я тут — уж лучше у Менделя... Сучий сын привез свежего пива, коли не врет... Я-таки сказал ему — что б тебе, говорю, такие болячки в печенку, и твоей Суре, и всему выводку твоему...

— Вот купите, тогда и распробуем, какое оно...

— Что б вы все поздыхали, — какая у вас правда, такое и пиво... А что, думаете, не куплю? Идем, выпьем, бей его лихорадка...

— Купите? А с волами ж как? Сам пан присмотрит?

— Пусть они передохнут у него до ночи... Он думает, так ему перетак, — я в проводы погоню скот пастись? Лопнешь, не дождешься... Кое-что имею сказать вам...

— Ну? ну?

— Приходите после полудня к Менделю, скажу...

— Ну! ну!

— Поговорим, выпьем пива стонадцать... — конец фразы исчез за тыном.



Андрей спешил домой. Перед ним лежала дорога, пыльная уже, хотя была ранняя весна. Серо-зеленые поля стелились с обеих сторон. Над дорогой белела его халупка, словно шла куда-то из деревни и остановилась отдохнуть. По дороге тянулись люди с палками, узелками. Вот Гафийка вынесла одному воды. Стали и разговаривают. Снова подходит группа... Еще ряд... Двигутся и движутся. А тот стоит. Эге-е! Да это ж целый клин журавлиный. Идут и идут. Куда-нибудь в Таврию или на Кубань. Вот тебе и хозяйские сыны, хлебоборобы... Своя земля просит рук, а он снялся, да и... А что же делать на своем клочке? Развелось их. Нет на вас войны или холеры. Одни из села, другие в село, вроде этого Марка Гущи, которого недавно привели в деревню арестантом... Получал, пане добродзею, в Одессе на фабрике семнадцать рублей в месяц и начал бунтовать. Мала, говорит, плата, много работы, не хотим, говорит, своими мозолями толстобрюхих обогащать. Начальство ему одно, а он, вишь, ему другое... Ну, не хочешь, так получай: попарили нагайками, да и айда домой под калавуром... Да я б такому бунтовщику...

А тот все стоит. С кем это она заговорила? Кажись, Прокоп Кандзюба? Да, он. Вот вышла на порог Маланка, да и спряталась обратно... Пускай девка постоит с хозяйским сыном... Смотри, еще посватается. Ха!.. А как же!..

Андрей подошел к хате. Кривая, покосившаяся халупка с черной крышей и белыми стенами стояла среди покинутых, с забитыми окнами жилищ, когда-то построенных заводом для рабочих, и казалась чем-то живым и теплым среди холодных мертвецов. Возле хаты серели вскопанные гряды, от ворот к порогу вела тропочка. Зато соседние огороды были полны мусора и битого кирпича; необработанная земля щетинилась прошлогодним бурьяном, и на черных развалинах всегда сидело воронье.

Андрей застал Маланку кроткой и ласковой, как и обычно после службы божьей. Значит, она будет бранить его сегодня не так, как в будни, а со сладкой улыбкой и нежными словами. Поглядывая искоса на плотно сжатые женины губы, он с неестественной поспеш-

ностью сбросил с себя свитку и расселся на лавке, как пан. Га! Разве он не хозяин у себя дома! Однако Андрий лелеял тайную надежду, что все обойдется как-нибудь и жена его не зацепит...

Но как раз в это мгновение, снимая с полки миску, Маланка бросила на него взгляд.

— Нанялся?

«Вот начинается!» — подумал он, но продолжал сидеть с невинным видом.

— Что?

— Нанялся в экономии, спрашиваю?

«Вот чортова баба: знает, что не был я там, а спрашивает».

— Да дайте мне покой с этой экономией... не то у меня в голове теперь. Вот, сказал Гудзь, скоро сахарный завод строить будут.

— Слушай, сердце, Гудзя, слушай, Андрийко... пойдемь с сумой, да и мне доведется.

Она поджала тонкие губы и подняла глаза к потолку. Что ж! она молчит, в праздник грех браниться, но если бы у всех, кто врет про завод, отсохли языки, то это было бы очень хорошо. Завод, завод, а где он? Ну, был завод, а кому от него польза? Менделю. Может, неправда? Может, не у Менделя оставлял он заработок? Что у них есть, чем они живы? У нее уже руки высохли от работы, она уже все жилы вымотала из себя, лишь бы не сдохнуть, прости господи, с голоду...

И она совала ему в глаза сухие, черные, словно железные, руки, голые до самого локтя.

Ведь муж не заработает, ой не заработает, сердце мое. Он думает о пиве, а нет мысли, чтобы...

И пошло. Она его отчитывала, она его исповедовала, она кропила его, окуривала ладаном и сыпала чертями так осторожно, так деликатно, как только можно было в воскресенье после обедни, а он, красный, как вареный рак, сперва молчал, а потом и сам пошел взвизгивать тонким надорванным голосом.

Наконец победил.

— Тьфу, тьфу, тьфу! Трижды тьфу на твою землю! Пусть она у тебя провалится! Не наймусь я и не буду в земле копаться. Она отняла у меня все силы, да и

пустила на старости лет голого. Тьфу, и еще раз тьфу на нее.

Тогда Маланка стала, как столб, и простерла руки к небу.

— Что ты говоришь, неприкаянный! Да ты становись на колени, да целуй ее... ешь ее, землю святую, она тебя кормит... в нее тебя и заруют, человече...

Она стояла белая, как мел, и в самом деле испугавшаяся.

Тучи разогнала ласточка. Вбежала Гафийка, поспешно пряча что-то за пазуху. Этот чистый, выхоленный, будто вылизанный матерью, зверек, тугой, как пружина, с круглыми бронзовыми руками и ногами в золотых волосках, эта весенняя золотая пчелка внесла в хату нечто такое, от чего белые стены под низким потолком улыбнулись, голубь перед образами повернулся на нитке и казаки из красной бумаги, наклепленные на стенах, подбоченились.

— Мама, давать обедать?

— Давай, давай, Гафийка...

Маланка сразу отошла.

— Да чего ты вертишься в горнице, будто волчок? Так и плоски перебеешь. И в церкви все вертелась и оглядывалась...

— Да его и не было в церкви.

— Кого «его»?

— Да это я так...

— Что с тобой, девка, сегодня: едва борщ не перевернула.

— Страх, рассказывает, что делалось... Народу, говорит, как на войне, сила огромная... А конные наступают, теснят. «Расходись!» — кричат. А те: «Не пойдем, давай нам наше... мы за правду...»

— Да кто рассказывает?

— Марко... недавно пришел из Одессы.

— Гущин? Говорят — попался в краже, отсидел в тюрьме, да и привели сюда на радость старому отцу.

Гафийка вспыхнула:

— Ложь! Это люди врут. Он ничего не крал, вот ей же богу!

— Да замолчите! — крикнул Андрий. — Какая там кража! Мне урядник рассказывал, когда я ходил на

почту. Он, Гуща этот, не крал, а народ бунтовал. Такому, урядник говорит, в тюрьме бы гнить, а не на воле быть...

— Да их там, тату, обижали.

— Что ты понимаешь!.. Вот только замечу, что он тут туману напускает да книги людям читает — сейчас же руки назад, да и к уряднику.

— Вот напали... не знают сами за что...

— А тебе какое дело? Ты у меня с ним, гляди, не волись, увижу, пане добродзею, так...

Но он не кончил: как раз в этот миг, когда Гафийка нагнулась, чтобы вынуть из печки горшок, у нее из-за пазухи высунулась книжка и упала на пол. Гафийка оставила горшок, схватила книжку и, вся красная, с глазами, полными слез, мгновенно выбежала в сени. Андрий перевел удивленный взгляд на Маланку.

Но Маланка была уже не святая и не божья. Она сразу забыла, что в воскресенье нельзя браниться, и сверкала на мужа зелеными глазами.

У Андрия была хорошая приправа к воскресному обеду; тем более, что, сколько ни звали Гафийку есть, она не шла уже в горницу.

Одинаковое мнение о Гуще помирило стариков.

Ну, дал бог воскресенье, можно отдохнуть. Маланка села на завалинке и положила на колени руки. Андрий куда-то отправился, Гафийка на танцы ушла, а в горнице тоска.

Солнце стоит низко, так, в три человеческих роста от земли; пустые и ободранные хатки отбрасывают неровные тени, пыльная дорога из-под Маланкиных ног бежит в поле. Вокруг пусто. Молодежь гуляет на площади; старики разговаривают у ворот, а у Маланки обычные гости — мысли.

Ох, боже, боже, коротка жизнь, а как трудно ее прожить. Андрий снова не нанялся. И так каждый год. Легкого хлеба ищет. Всю, говорит, силу напрасно отдал земле, больше не хочу. Вновь стану рыбку ловить... на почту сбегает, если пан пошлет, зайца подстрелит. Люди жнут или косят, а ее Андрий идет по тропинке,

кожаная сумка через плечо, бриль на затылке и палкой помахивает...

Пылит дорога. Кто это едет так быстро? Ага, верно, панич Леля из соседней экономии в гости едут в усадьбу. Конечно. Вот и панна Тося... и горбатая панна Ганна, и панич Петрусь. Летят лошади разной масти, в туче пыли смеются молодые лица, кивают ей. Маланка встает, низко кланяется, будто образам, и смотрит вслед, как клубится за бричкой позолоченная солнцем пыль.

Все они выросли при ней, на ее глазах. И вдруг запах вкусного сытного борща повеял на нее откуда-то. Она ела такой борщ, служа в усадьбе. Давно это было, а теперь вспомнилось, когда их еда — одна картошка. Маланка садится и снова кладет черные руки на колени. Вот где они почернели, эти руки: на работе у панов. Когда ей было восемь лет, помер отец, а к двенадцати годам у нее никого уже не было, кроме хозяев. После матери остался старый сундук, кое-какая рвань и запла-танный кожух, да и толькo.

Сперва она помнит себя черной, вечно в свинарнике, около панских свиней. Потом она служила в горницах, все время била посуду, а ее била пани и задевали ганичи. Потом приказали ей варить обед для работников, и она варила, пока не состарилась в девках. Тихая, покорная, всех слушалась и плакала по углам. Плакала, что работает на чужих, сохнет, теряет силы и никто не сватается. Плакала, потому что любила землю, огород, поле, а принуждена была варить целому табуну прожорливых работников. Вокруг была земля, такая черная, рыхлая, плодородная, весной пышная, осенью богатая, а никто не звал ее на эту землю, никто из хозяйских сыновей не хотел сделать ее хозяйкой. Потом вышла за Андрия. Как это случилось, что она пошла за него, вечно-го наймита, старого холостяка, бобыля, у которого не было даже собственной хаты, не то что земли, — и сейчас не знает. Пришло несчастье к несчастью, а из них выросла беда. Словно знала, — так плакала на свадьбе.

С одной стороны поют свахи, с другой — подружки невесты, а в хате, как в улье; в окно глядят работники...

Імберу, матінко, імберу.

Вівини рубочск з паперу...

А у нее подкатилось что-то к горлу, душит, и она бьется головой об стол, голосит и умывает слезами и тогда уже черные руки.

То судьба ее плакала тогда.

Уносились года напрасно, как листья по Дунаю.

— Киш, треклятье... киш!

Маланка вскочила с завалинки и швырнула комочком земли. Наседка с цыплятами рылась в грядках и, потревоженная, сердито заклохтала и нахохлилась. Желтые цыплята раскатились по грядкам, как горох. Перепуганные, снялись с соседней кровли грачи и забили крыльями над осыпающейся стрехой.

Маланка успокоилась и снова села на завалинку. Солнце опустилось еще ниже.

— Эге, что-то Гафийка задержалась на танцах. Пусть погуляет. Только детям и воли, пока у матери да у отца. Да и это людям глаза колет. Говорила кузнечиха: «Держат Гафийку, словно барышню, в работницы не пускают — богатеи нашлись...» Пошли на тебя — прости, господи, грех — столько болячек, сколько у нас несчастий. Хорошо тебе говорить, когда у тебя полная хата девок, а у меня одна, как душа. Одно утешение на старости лет. Вынянчила, выходила, мыла и вычесывала, а теперь отдай людям! Мало того, что люди надо мной натешились, всю силу взяли, всю кровь высосали, а теперь еще и ребенка отдай им... Не дождутся!..

Не такую она ей судьбу готовит, она выдаст ее за хозяйского сына. Девка здоровая, чистая, хоть воды напейся. Недаром хлопцы засматриваются на нее. Посвтается Прокоп; за тем и пошел в Таврию, чтоб было чем свадьбу справить... Осенью сватов пришлет, она уже видит, что, куда и к чему.

Перед глазами Маланки встал луг — зеленый, веселый, над рекой... Они с Гафийкой коноплю дергают. Такая хорошая молодлица Гафийка! Голова повязана платком. Дергает она коноплю и напеваает. В колыбели дитя спит. Прокоп привез ячмень, стожок ставит. И так ей весело, старухе, так легко, словно она помолодела... Стоят огороды, словно в венках. Капустные кочаны завиваются, фасоль уже пожелтела, ветер шумит в коробочках мака, тыквы разлеглись, как откормленные кабаны, а картошки уродилось, — даже ботва переплетается.

Это ее черные руки поработали тут, — каждую свеколку, каждую луковку сама она посадила, сама и соберет, если господь приведет. Теперь она хозяйка. Не своя земля — так дочкина. Хоть на старости лет дождалась... И она справит себе красные сапожки, мягкие, козловые с кисточками, как у кузнечихи. С той поры, как вышла замуж, — вот уже не восемнадцать ли годков прошло, — не перестает она мечтать о таких сапожках, ежегодно откладывает деньги, но деньги разойдутся на что-нибудь другое, и сапог нет. Надеть такие сапожки и белую намитку да пойти в церковь. И чтобы так и похорошили...

— Посиживаете! С праздником.

Маланка вздрогнула. Ага! — это кузнечиха.

— А как же! И вы будьте здоровы... Дал господь праздничек — празднуй его. Не делай, не работай. Бог сказал: есть будни — делай, а в воскресенье даже изпод ноготка не выколупывай, — и это работа. Лежи, сиди, пальцем не пошевели.

Маланка была сама сладость. Она так улыбалась, будто разговаривала с панами в усадьбе.

— А я с танцев. Только и осталось нам — что хоть посмотришь на молодежь. А ваша Гафийка все гуляет и гуляет с этим одесским паничом — не знаю, правду ли о нем люди рассказывают, — с Марком Гущей... Все в паре, словно голубки. Сказано — молодость. Будьте ж здоровы...

Маланка попрежнему сладко улыбалась, хотя в душе у нее все кипело.

«Вишь, толстуха, трясет салом, разносит пересуды!» — проводила она кузнечиху неприязненной мыслью. И ей почему-то вспомнилась утренняя сцена с Гафийкою.

На улице тем временем удлинялись тени.

Под тынами девочки играли в жаворонка: небольшие босые ноги подбрасывали пыль трижды в одну сторону, трижды в другую. И казалось, что в пыли играет стайка птичек. Дальние поля розовели. С низин летели в деревню аисты и поблескивали белыми крыльями. Весенний вечер навевал думы.

«Какая ты роскошная, земля, — думала Маланка — Весело засеять тебя хлебом, украшать зеленью, уби-

рать цветами. Весело обрабатывать тебя. Только тем ты не хороша, что не держишься бедняка. Для богатого твоя красота, богато кормишь, одеваешь, а бедного принимаешь лишь в могилу... Но подождите, подождите! Еще дождутся наши руки и станут обрабатывать собственные нивы, собственные огороды, собственные сады... Поделят тебя, земля, ой, поделят. Как они наедут, так поделят, недаром идет слух, — уже что-то есть. И моему дадут... Довольно тогда рыбку ловить... Хочешь не хочешь, а ступай, пане добродзею, пахать... Ох, боже, боже, хоть на старости узнать такое счастье, — ребенка своего вывести в люди».

А на улице начиналось движение. Бежали дивчата, молодежи, дети с палками, хворостинами. Шелестели подолы, топали босые ноги, лаяли потревоженные собаки. « Степа-а-н, беги овец разбирать!.. » — « Беги сама-а!.. » — « Мама-а сказали тебе, — чтоб ты, чорт, лопнул! »

« Папаня сказали тебе, — чтоб ты сдохла-а-а... » — « Наших шестеро, смотри, Марийка!.. » — « Не растеряй ягнят, как вчера, не то выдеру!.. » — « Что-о? Где-е? » — « Тю-у — га-а!.. »

Солнце садилось красное. Окна пылали, как печи, стены хат стали розовыми, по белым сорочкам разлился красный свет. Издалека шла на деревню туча пыли. Она все приближалась, росла, подымалась до неба, наконец солнце нырнуло в нее и рассыпалось розовой мглой. Оттуда доходили какие то тревожные звуки, будто дети плакали или где-то цепи стучали на гумне, и вдруг отара залила улицу и всколыхнула воздух нескладным бляением. Живая масса овечьих тел терлась шерстью, дрожала и колыхалась, как студень; целый лес тонких ножек замелькал перед глазами, голые глупые морды раскрывали рты среди розовой пыли и плакали: « бе-е-е!.. ме-е-е! » В розовом тумане, словно тени, сновали люди, возникали и исчезали неясные очертания хат, в море овечьего вопля терялись остальные звуки; весь этот шум и беспорядок напоминали сон. Позади отары шел черный чабан, большой, еще более высокий от неверного освещения, подобный мифическому богу, шелкал кнутом и кричал диким, громким голосом, покрывая все:

— Горя!.. Триш-триш!.. Гей!..



И уже ничего нет на улице; все исчезло, как сон, пыль медленно садится на землю, а вечерний воздух все еще дрожит живым аккордом замирающих звуков.

На землю глянули тихие звезды.

Синие стены, в углу перины, подушки, залитый пивом стол. Тесно у Менделя.

— Не морочьте мне голову, Хома, говорите скорее — будет завод? Скажите — будет?

Пиво пенится в зеленых стаканах и шумит в голове.

— Сказал же — будет.

— О! о! А зачем советуете отдать Гафийку внаймы?

— Советую. Все равно пропадет девка. Наест, напьет дома, тебе же хуже будет. А у нее одна судьба — наняться. Думаешь — возьмет кто бедную? Поседеет в девках. Отпускай работать, пока берут. Завтра же отведешь в Ямище к эконому; добрый палок, чтоб у него язык отсох. Что ж, будем сватами? Затем тебя и звал к Менделю.

— Не говорите мне об этом, не люблю. У меня и мысли не было такой.

— Пусть идет внаймы, Андрий!

— Оставьте, Хома! Лучше выпьем.

— Что ты чванишься? Нищие, несчастные, животы с голоду присохли к спине, а они важничают. Говорю — пусть идет внаймы, будешь каяться.

— Э, я этого не люблю. Чего бесто: у говорить!

Андрий покраснел и встал из-за стола.

— Садись, может, неправда? Думаешь, ты человек? Собака. Какое наше житье? Собачье. Да ты сяди.

Гудзь положил Андрию на плечи свои здоровенные руки и посадил. Потом приблизил к нему безудале, красное от пива лицо, пышущее жаром.

— Ты не крути. Ты мне скажи: сколько лет прожил? Пятьдесят? Век доживаешь? А где же твои молодые годы, где твоя сила, покажи свою работу. Мозол показываешь? Покажешь еще и горб. Всю жизнь с тебя шкуру драли, а ты, вол, в плуге ходи. Наша судьба такая: трудись весь век — все не человек. Ты взгляни на меня: думаешь — Хома перед тобой? Скотина. Как пас с малых лет скот, так и сейчас пасу. Весь век со скотиной и

сам скотом стал. Всю жизнь хвосты видел вместо людей, копался в навозе, в навозе спал, на навозе ел, на навозной куче и подохну. Я забыл, как в хате спят, стонать чертей ему под хвост. Рубаха на тебе заскоружла, как кора на дереве, штаны перемазаны в воловьей крови, потому кровь волам пускаю. Рук не могу отмыть от навоза. Сяду с работниками обедать, каждый нос воротит — смердит. А ты думаешь — хорошо пахнет? Бегу от людей, к волам бегу. С волами разговариваю. К ним обращаюсь, тоску свою изливаю, а они жуют, да мычат, да хвостами помахивают. Одно у меня и развлечение. А ты думал — жена со мной заговорит, да еще к сердцу прижмет... дети зашебечут... своя хата согреет? Ха! С волами я состарился холостяком, чтоб им лопнуть. Теперь радуйся на старости, чтоб он подавился, душа из него вон, чтоб ему сдохнуть, напасть его возьми, так ему перетак... Пусть...

— Эй, что кричишь, человек, что бранишься!

— А? Что бранюсь? На душе легче; как соберутся там тучи — выругаюсь, и легче... не бранился б — сгорел. Такую злобу в себе чувствую, что душа жаром пышет... Как запечет, как запечет — так взял бы в руку кувалду, да и перебил бы всех. Ходил бы из хаты в хату, да по голове, да по голове. Одного за то, что пьет человеческую кровь, а другого за то, что не запрещает этого. А потом поджег бы, чтоб все огнем запылало да пеплом развеялось, чтоб только остались голая земля да ясное солнце.

Хома стоял в горнице, высокий, под самый потолок; глаза его были устремлены куда-то за стены; безусое, сморщенное, как у бабы, лицо перекосилось. Он даже дрожжал. Потом увял, опустился на лавку и единым духом выпил пиво.

Андрия задело за живое. Он тоже хотел, чтоб на него обратили внимание, чтоб выслушали рассказ о его жизни, какой она предстала перед ним тут, в тесном шинке. Дожил до седых волос, а хорошего не знал, ой, нет...

— Я так думаю, Хома, если человек работает...

Но Хома опять сердился:

— Пропади ты пропадом. Одному все, другому ничего. Разве я не видел, как старая пани...

— Если человек работает, он должен за это что-то иметь. А раз земля мне ничего не дает...

— ...Старая пани всю зиму топила печки полотном, оставшимся от баршины...

— ...Ну, а раз земля ничего не дает, на чорта она мне? Все равно мне, наймит я — на своей земле или на чужой. Все равно наймит. Правду вы...

— ...Слежалось полотно в кладовых. Люди просят — дайте хоть на рубашку, — пусть труд человеческий не пропадет. Да ты слушай.

— Слушаю, слушаю. Верно, — правду вы говорите: таки собачья жизнь у нас. Из меня тоже вымотали все жилы. Ведь я всю жизнь набивал чужую глотку. Еще когда был завод, жил как-то, а как сгорел...

— Конечно, сгорело, все полотно сгорело.

— Какое полотно?

— Как какое? Я ж рассказывал.

— А, так, так. Ну, выпьем лучше. За ваше...

— А как же с Гафийкой? Отдаешь в работницы?

— Да будет вам. Выпьем.

— Ну, чорт с тобой — не хочешь, как хочешь. -- Хома выпил единым духом пиво и хватил стаканом об пол.

На звон стекла прибежал перепуганный Мендель.

Был какой-то праздник. Гафийка сидела на завалинке перед хатой. У ног ее возились куры и кудахтали, требуя корма. На завалинке лежала раскрытая книга.

— Киш, киш, ступайте рыться под тыном... — гнала их Гафийка. — Ну, чего кудахчете, глупые? А ты что, пеструшка, вытягиваешь шею и заглядываешь в руки. Я уже тебя кормила. Вам бы только есть, глупые. Сердишься, что так говорю? А вот спроси Марка, послушай, что умный человек скажет. Он вам сказал бы: глупые, испокон веку глупые. Вам дают горсточку пшена, а отбирают все ваши яйца или режут вас на суп. А ты, петух, по-глупому хлопаешь крыльями, храбришься. Если б ты был такой смелый, как Марко, не давал бы ты своих детей панам на жаркое, а может давал? Ну, да ведь ты петух, а Марко орел. Ты послушал бы, что он говорит... Он говорит... да что ты понимаешь? ты ничего

не разберешь! Был бы ты поумнее, увидел бы, что и люди те же куры. Ну, что раскудаhtалась, беленькая? Почему смеешься? Думаешь, я не знаю, что у вас хорошо? Думаешь, любишь, кого хочешь, а я должна выходить за Прокопа, потому что мать меня за него сватает? Глупая, глупая... Да пусть меня жгут, пусть режут... пусть лучше закопают в землю! Слышишь ты, пеструшечка? Ну, ступай прочь, если не веришь и головой вертишь! Не бойся, Марко никому меня не даст... он орел... а над ним, знаете, куры, воронья, воронья... заклевать готовы. Ведь и мужики на него, и староста, и даже отец нападают... а он добра хочет людям. Не отец, а Марко... Слышите, куры, какой он добрый, Марко мой... За это его хлопцы и дивчата страсть как любят и слушают. А ты куда, проклятый? Киш! видишь — наследил на книжке! Что мне Марко скажет, как увидит на ней петушьи следы? Скажет: петух больше начитал, чем ты. Ну, теперь все бегите, киш, — мне надо читать. Подвинусь ближе к солнышку, пускай и оно заглядывает в книгу, пускай и оно читает... Ну, давай вместе!

С погодой что-то творилось. Весна стояла сухая и ветреная. На огородах все сохло, хлеба на поле не росли, по дорогам носились целые облака пыли. Люди просили дождя, потому что все предвещало голод. Цена на хлеб внезапно подскочила, и это так встревожило Маланку, что она каждую ночь видела дурные сны. Зато, чем хуже было вокруг, чем больше надежды хлебопашцев увядали, тем все больше овладевали Андрием мечты о заводе. Как Маланке — дорогая мука, так Андрию снился завод. Иногда он вскакивал среди ночи и спросонья, с каким-то испугом в голосе спрашивал Маланку:

— Был гудок?

— Какой гудок?

— Ну, завод гудел? — сердился он.

— Опомнись... это у тебя в голове гудит, по ночам не спишь, — ворчала потревоженная Маланка, зевала, вздыхала и не могла заснуть до утра. Андрия пожирало нетерпение. Он время от времени бегал на развалины, что-то соображал, прикидывал, высчитывал. Потом бегал

по людям, расспрашивал, пускал слухи, и когда они возвращались к нему, значительно измененные и более решительные, он радовался, хвастался Маланке и верил. Даже к своим обычным заработкам относился он теперь легко и не искал их.

Маланка упрекала. Чем дальше, тем все труднее и труднее становилось найти какую-нибудь работу. Трава сгорела, в экономиях больше не нанимали. Подходя к печи, она просто с ума сходила не зная, что варить. Дома ничего не было, ее вечные просьбы дать взаймы наскучили всем и даже самой Маланке. Больше всего сердце болело у нее за Гафийку. Такая молодая, единственный ребенок, и должна голодать. Каким-то чудом она раздобывала для нее и приносила под фартуком горшочек ягод или свежую паляницу. Андрий редко обращал внимание на еду. Голова его была полна заводом, но иногда и он отодвигал пустую похлебку и начинал ворчать. Маланка ждала этого мгновения. Она вся закипала злорадством и бросала ему в лицо весь яд, всю накипь своего сердца.

Под одной крышей жили два врага, и хотя каждый из них уходил в собственные мысли и даже избегал другого, но довольно было какой-нибудь мелочи — и злость трясла их обоих как лихорадка.

Одно их соединяло — это мысли о том, что Гудзь советовал отдать Гафийку внаймы.

— А ты что ж плюнул ему в глаза? — допытывалась Маланка, а сама, усмехаясь, думала: «Подожди, подожди, вот придет осень, тогда посмотрим...»

— А я так рассердился, что едва не побил Хому! Ей-богу! — хвастался Андрий. — Такое выдумал.

— Ты что тут делаешь?

Маланка вытаращила глаза и остановилась на пороге. В печке горели щепки и кипел горшочек. Андрий смотрел на огонь: он был увлечен и раскраснелся. Застигнутый Маланкой врасплох, он улыбался неуверенной, глупой улыбкой. Маланка подошла к печи, придвинула горшочек и заглянула в него.

— Ты рыбу варишь? — спросила она испуганным голосом и побледнела.

Андрей как-то засуетился. Сунул горшочек обратно, обложил его угольками и молча улыбался.

— Слышишь, Гафийка, он рыбу варит! — вскрикнула Маланка.

В голосе ее слышался такой ужас, словно в горшочке по крайней мере варилось человеческое мясо.

— С ума сошел! Он с ума сошел! Ей-богу, с ума сошел! — кричала Маланка, бегая по хате, как на пожаре.

И вдруг остановилась перед Андреем, всплеснула руками и, так и застыв, смотрела на него удивленными, полными негодования и страха глазами.

— Он рыбу варит! Линя, пойманного утром! Такого жирного, весившего не меньше четырех фунтов! Не отнес в усадьбу! Не продал пану! Ой, мир кончается. Такого еще не бывало с тех пор, как Андрей рыбу ловит! Они еще ни разу не съели большой рыбы, которую едят паны. За такого линия можно было бы взять два злата, а он его сварил.

Все это, плача, выкрикивала Маланка, под бульканье в горшочке и потрескивание сухих щепок.

Андрей старался все обратить в шутку:

— Не скули, старуха, садись да поешь рыбки. Нет мяса лучше свинины, нет рыбы лучше, чем...

И он поставил горшочек на стол и налил в миску ухи.

— Трескай сам, чтоб ты сдох! Мы пухнем с голоду, в хате ни крошки хлеба, а он рыбу варит!

Андрею было неловко; Маланка говорила правду, но ему так хотелось рыбы, уха так аппетитно пахла, что ноздри его трепетали и раздувались.

Сопя и надувшись, он засел за рыбу, и чмокал губами, и хлебал уху так громко, будто хотел заглушить жеминию причитание.

А Маланка свирепствовала. Кроме того, что она горевала об испорченной рыбе, она была голодна. Она ослабела от голода, ей так хотелось чего-нибудь горячего, вкусного, необыкновенного, а запах свежего линия шекотал ноздри, захватывал дыханье; ее даже тошнило от сильного желания поесть. Однако она понимала, что не может приступить к еде, и еще больше бранилась.

— Не грусти, жинка, вот поставят завод, тогда заработаю...

— Чтоб ты так жил, как тот завод будет!

Андрей поднял глаза, и они на мгновение остановились; он смотрел куда-то в пространство, за стену, за пределы хаты, — и сразу стало ясно ему, что действительно завода не будет, что это напрасные надежды, что лучше бы он не варил рыбы, которую можно было бы продать и купить хлеба. И вдруг рыба утратила вкус, ему не захотелось есть, и потянуло уйти...

Андрей взял шапку и вышел.

Остатки рыбы остывали на столе, а Маланка с дочерью молча сидели по углам и думали горькие думы в сумерках уходящего дня. Печаль стояла в хате, обнявшись с тишиной.

Потом мать и дочь вдруг поднялись, подошли, словно сговорились, к столу и молча принялись за рыбу. Они съели все до конца, обсосали косточки, вылебали уху и, как голодные кошки, вылизали даже миски.

Андрей собрался на почту: перекинул через плечо кожаную сумку, взял в руки палку. Тут вбежала Маланка. На ней лица не было. Бледная, задыхающаяся, глаза горят, и вся дрожит.

— Иди... меряют...

Андрей уставился на нее.

Она не могла говорить, держалась рукой за сердце и тяжело дышала. Другой рукой, запачканной в земле, — Маланка только что полола, — она размахивала у него перед глазами и показывала на дверь.

— Иди же, меряют...

— Кто меряет? Что?

— Паны, ох!.. Наехали, станут землю делить...

— Какую землю? Что ты мелешь?

— Всякую... между мужиками... Иди, посмотри, чтоб нам отрезали недалеко, ближе к деревне, еще какое-нибудь болото получишь.

— Свят, свят, свят! Опомнись. Мне на почту надо.

Маланка позеленела.

— Ты пойдешь у меня?

Она подскочила к нему, страшная, как дикая кошка, с перекошенным ртом, с горящими глазами, бледная, как привидение.

— Ты пойдешь у меня сейчас же! — пронзительно визжала она. — Тебе, может, все равно, а мне нет. У тебя ребенок! Ты хочешь зарезать его! Ты всех нас режешь. Сейчас же у меня иди! Люди разберут лучшее. Слышишь? Ну!

И видя, что он стоит, ничего не соображая, и смотрит на нее, она схватила с шестка валеков и замахнулась.

— Иди, иначе тут тебе и смерти!..

Она готова была его убить, — Андрий это видел.

— Тю, глупая! — пожал он плечами. — Видишь, иду. — Он сопел, как кузнечный мех, и едва поспевал за Маланкой.

Вечером вернулась Маланка домой веселая, почти счастливая. Она бегала по хате, как молодая, и мысли ее парили, словно белые голуби на солнце. Она улыбалась. Какие чудные паны...

Ходят себе по полю да меряют. Она им в ноги: «Паны мои, лебеди, не забудьте меня, бедной, отрежьте ближе, — там, где пшеница родит», а они хохочут. «Иди, говзрят, бабка, домой. Мы не для тебя меряем». А сами хохочут, пошли им боже всего доброго. Они думают, если она глупая баба, так уж ничего и не понимает... Постойте, постойте, может, и у нее голова не напрасно на плечах... Разве она не поняла, что они ее обманывают? Скажи мужикам сразу, что это для них землю делят, так тут бы такой содом пошел, что живьем сожрали б друг друга... Каждый бы из-за лучшего дрался. Ну, да они будут помнить бедную бабу, они ее не обидят. Вот если б еще и Андрий просил, а то стал, как пень, чтоб тебе...

Не кончила проклятия, не могла браниться нынче. Она была такой доброй сегодня, ей было так весело, так жалко всех. Приготовляя ужин, она даже напевала, а трескучий огонь над сухим хворостом будто радовался вместе с ней. Андрию она подала ужин с уважением, как хозяину, у которого собственная земля и хозяйство, сама же не могла есть, не хотелось. Все, за что ни бралась, делала торжественно, будто в церкви служила, а сама улыбалась своим мыслям. На ночь вымыла Гафийке голову шелоком, расчесала густым гребешком волосы, и они даже блестели; сама заплела их в мелкие косички, украсила лентами, чтоб голова у дочки была как солнышко. Чтоб девка ходила не хуже других.



— Может, ты новый жилет наденешь, ведь старый совсем разлезся? — спрашивала она Андрия и достала из сундука единственную его праздничную одежду. — Погнешь душу ягодками, кузнечиха дала...

Андрий давно уже не видел ее такой ласковой. Сердце ее размякло, в ней все пело. Пела колосом своя нива, пели жаворонки над ней, пел песню серп, подрезая стебель, раздавались песни по сенокосам, наконец пело сердце, полное надежд. Улыбалось счастье. Не только собственное, а и Гафийкино. В ногах чувствовалась твердость, в руках — сила. Черные жилистые руки были точны из железа.

С этого дня Маланка часто бегала на панское поле смотреть, как меряют паны. Они еще бродили по полям два дня, потом уехали. Маланка постоянно думала об этом, расспрашивала людей. Предавалась надеждам. Говорили разное. Но Маланка хорошо знала, к чему это клонится. Она начала готовиться. Когда полола огород у богатого мужика, не хотела брать денег, а просила отсыпать пшеничным зерном, чтоб у нее был хороший сорт пшеницы. Это для посева, на развод. Когда ела яблок, осторожно собирала зернышки и сушила на окне. Пригодятся. Ничто не могло ей доставить большей радости, как горсточка семян, выпрошенная у хорошей хозяйки или заработанная на поденной. Она дошла до того, что, очутившись на чужом огороде, следила глазами, что можно взять из семян, и, оглядываясь, тайком, отламывала лучшую маковую головку или срывала желтый огурец и прятала за пазуху. У нее в хате завелось множество всяких узелков с семенами, больших и малых, и все время что-то сушилось на окнах.

— Куда ты все это денешь? — удивлялся Андрий. — Ведь у нас всего две грядки.

Она таинственно улыбалась и снисходительно покачивала головой.

— Не печалься... Уж я знаю куда...

В воскресенье она ходила в лес, где стояли готовые срубы, осматривала их, выбирала лучший материал, обдумывала и расспрашивала о ценах у лесников.

Возвращалась домой задумчивая, с глазами, обращенными куда-то в пространство, ласкала Гафийку и нередко улыбалась себе самой.

Она как-то даже была на ярмарке, а потом пошли о Маланке разговоры по деревне: наверно, у бабы есть деньги, только таится она с ними, — ведь все шаталась по ярмарке и торговала подсвинка...

Как-то вечером Маланка вышла из хаты и наткнулась на Гафийку, которая стояла, прижавшись к косяку.

— Ты что тут делаешь? — спросила она ее, во, взглянув на Гафийку, Маланка так и застыла.

— Что с тобой?!

Гафийка не отвечала. Она стояла согнувшись, на ней лица не было, даже почернела и дрожала.

— Что с тобой? — допытывалась Маланка и взяла Гафийкину холодную руку.

Гафийка молчала и тряслась как в лихорадке. Маланка ввела ее в хату и бросилась зажигать свет. Тусклый свет уронил еще более черные тени на ее бледное лицо; широко раскрытые от страха глаза заблестели, как стеклянные. Маланка совсем перепугалась. Посадила Гафийку на постель за печку и начала дрожащими руками ощупывать ее лицо и голову.

— Что с тобой? Испугалась? Болит что-нибудь?

Ответа не было. Только под руками у Маланки вздрагивало холодное тело.

Маланка стала звать Андрия. Но Андрий где-то пропал.

Маланка не могла понять, что случилось с Гафийкой. Сглазил кто? Напугал? Пролуло? Куда она ходила? Где была? Что ж это, господи, случилось с дивчиной? Хоть бы что сказала, хоть бы слово вымолвила, а то молчит, как мертвая...

Стеклянные глаза и почерневшее, сразу осунувшееся лицо пугали Маланку, и она сама начала трястись над Гафийкой, крестя ее всю мелким крестом.

К счастью, возвратился Андрий. Он был весел или подпив, так как говорил громко и взволнованно:

— Ну, так и есть... а я что тогда вам сказал?.. Наехали и взяли...

Маланка зашипела на него:

— Где ты таскаешься?

— Где? На улице! Смотрел, как вели Марка Гушу...  
Наехали и взяли. Доигрался. Я б такого, пане добродзею, за шею да на веревку... Короткий разговор...

С постели донесся стон.

— Тс-с!.. — накинулась на Андрия Маланка, — видишь, заболела. Беги сейчас же за Марьяной... может, пошепчет, окурит, порчу отведет... Не знаю, что с ней такое. Беги скорей...

Андрий направился к знахарке.

Марьяна, наверно, помогла, потому что через два дня Гафийка поднялась. Худая, желтая, почти черная, словно вдова, печальная и молчаливая. Она все убегала из хаты, чтобы не быть вместе со стариками. Особенно избегала отца, будто боялась его. Наедине плакала. И думала, думала, даже ей душно становилось от дум...

Не все горе, бывала и радость.

После долгого летнего дня, когда солнце садится, а горячая земля медленно снимает с себя золотые ризы, когда на бледном, утомленном за день небе проступают украдкой несмелые звезды, когда в последнем луче солнца справляют игрища мошки, а поразительно мягкий золотисто-розовый воздух принимает вдали сиреневые оттенки и делает просторы еще более широкими, еще более глубокими, — Маланка с Гафийкой идут по пыльной дороге, и хотя они устали, но вместе с тем и приятно ощущение оконченного дня. Они несут домой горячее, как и земля, тело, а в складках одежды запах спелого колоса. Не разговаривают, идут молча, помахивают серпами. Наконец разогнутая спина, свободно опущенная рука, еще слегка дрожащая от длительного напряжения, прикосновение влажной рубашки, холодной от печерней сырости, мягкая пыль под ногами вместо жнивья — кажутся теперь счастьем. А дома ожидают отдых и сон, короткий, как летняя ночь, но сладостный, как прохладный лист для раны. Скорей бы домой... не ужинать, не сидеть, не разговаривать, а упасть на лавку, как камень в воду, и вмиг смежить глаза.

Сошная, полусознательно раскладывает Маланка в печи огонь и кипятит воду, чтобы приготовить Андрию ужин. Огонь пылает и гудит, а она закрывает глаза,

покачивается; ей кажется, что это шумит колосом нива и серг шуршит по стеблю. Ой, как душно, как солнце печет. Но нет, ведь это огонь жжет, слишком близко подошла. Вот она нажала сноп и плетет перевясло... так болит спина, трудно нагнуться. Ага! Это она тесто месит на галушки. Жни, Гафийка, жни... трудно, сердце, зарабатывать, когда жнешь за двенадцатый сноп, а нужно. Что, палец порезала, шипишь от боли?.. Ай, нет, — это пяток бежит.

Хлебают суп Андрий... Кажется, говорит что-то... в хате или на дворе...

— Почему не ужинаешь?

— А?

— Ужинать или...

— Ужинай один... я потом...

Ложки надо бы по-а-а-а... помыть. Ноги такие тяжёлые, будто в сапогах... а голова... голова едва на плечах держится...

Ну, наконец-то... На завалинке лучше. Ты спишь, Гафийка? Подушку взяла бы. Ну, спи и так, дитягко, если заснула. Ой, косточки мои, косточки болезные. Ой, мои рученьки... ноженьки... Иже еси на небеси. Хлеб наш насущный. А-а-а!.. звезды смотрят с неба, лягушки зовут спать. Голубой купол все ниже и ниже... давит на тело, опускает веки... Так сладко, спокойно. Не встал бы и на суд страшный, не поднялся б, если бы счастье позвало... А небо все ниже и ниже... ласкает, обнимает... звезды шекочуг, будто целуют. Душа растворилась в синеве, тело не оторвать от завалинки, оно тает, как воск на огне. Нет ничего... небытие... полное небытие... Разве это не радость?

Сейчас же после жатвы стало ясно, что зима будет голодной. Все засуха да засуха. Рожь сгорела, хлеб уродился редкий и слабый. Смех и горе было смотреть на то, сколько получили за труды Маланка с Гафийкой, а настрелянных уток и зайцев паны съели. Еще труднее будет заработать в эту зиму, чем в прошлую. А люди, мерявшие землю, как ушли, так и след их простыл. Ни слуху ни духу. Андрий тоже молчит что-то о заводе.

По селу шли разговоры о Гудзе. Рассказывали, что он в ярости дубиной убил вола. Ударил по уху и расколол череп. За это пан выгнал его из усадьбы, и теперь Гудзь шляется без работы, пропивает последнюю одежду и хвалится, что и с паном будет, как с волком. Однажды Гудзь забежал и к Андрию.

— Ловишь рыбку, пане добродзею? — приветствовал он его с пьяным смехом. — Лови, лови, может, ею подавятся те, что едят ее. Заводчик!.. думает, для него завод выстроят. Как же, беса пухлого, дождешься!.. Совы да вороны там жить будут, пока не завалится все к чортовій матери. Говори — отпускаешь Гафийку в работницы? Нет? Хочешь с голоду пропасть, как рыжая мышь зимой? Ну, подыхай, сатана тебя возьми, со всем своим кодлом, мне-то что? Найдем и другую!..

Он рассердился, загремел дверью и вышел из хаты, но через минуту вновь просунулось в дверь красное упрямое лицо.

— Эй вы, заводчики! Помните одно, еще придет коза к возу и скажет «ме»... Но Гудзь покажет шиш, — вот!..

Андрий не выдержал.

— Ах ты, пьянчуга, живодер, что тебе от меня нужно? — бросился он к двери, да Маланка непустила.

— Оставь! — пронзительно завизжала она и засверкала на него зелеными, полными злорадства глазами. — Не тронь, изувечит. Тогда как на завод пойдешь?

— На завод?

— Ну да...

— На завод, говоришь?

— Слышал уже... выстроят для тебя...

Она цедила слова, будто яд. Андрия душила злоба.

— Зудишь, болячка? Зуди, зуди, пока не почешу. Лучше скажи — засеяла поля свои? Много тебе намерили? Где ж те паны, которым ты руки лизала?

— А где ж? Завод тебе строят...

— Ты опять свое?..

Андрий побил Маланку. Она лежала на лавке и громко стонала, а он бродил по оголенным серым полям, равнодушно, без цели, лишь бы подальше быть от дома.

Гафийка плакала. Она лучше нанялась бы.

К Покрову вернулся Прокоп. Шел слух — ему не посчастливилось. Сперва не мог наняться, — народу нашло больше чем нужно, и цены упали; потом заболел в Каховке и пролежал месяц, затем направился в Таврию, а оттуда попал даже на Черноморье. Вернулся ободраный, больной и без денег. Маланка не слишком верила этому. Чего только люди не наговорят. И она тайно от своих побежала, словно по делу, к Кандзюбихе. Оказалось — правда. На Прокопе лица нет, даже почернел, от ветра валится да все отлеживается, а старуха Кандзюбиха едва не плачет, рассказывая, что насилу очистила сына от вшей. Где уж ему жениться! Думал заработать хоть на свадьбу, а тем временем такой год выпал, что и хлеба нехватит.

Грустная возвратилась домой Маланка и никому не похвасталась, что видела и слышала. Пусть это умрет вместе с ней.

Чем ближе было к филипповкам, тем больше Маланка теряла покой. Не давала покоя и Гафийке. Дух аккуратности и порядка обуял ею, и она возилась по целым дням: дважды побелила хату снаружи и внутри. Ежедневно подмазывала печь да подводила красной глиной шесток.

Гафийке пришлось вырезать из бумаги новых казаков и цветы и наклеить их на стены от икон до самых дверей. Крылья голубков, колыхавшихся перед образами на нитке, заменены были новыми, еще более яркими, а для того чтобы достать обоев с красными розами под образа — пошли все яйца, собранные одно к одному.

— Что ты ходишь черная? — гремела Маланка на Гафийку и заставляла ее едва ли не ежедневно менять рубашку.

Сама чесала ей голову и вплетала в косы новые ленты. По осенним вечерам она рано зажигала свет, прихорашивалась, будто в праздник, и, сидя в своей прибранной хатке, часто поглядывала на дверь, тревожно прислушиваясь к лаю собак, и волновалась, будто кого-то ожидая.

Иногда днём, бросив работу, она выдвигала из угла Гафийкин сундук и рассматривала ее убогую одежду,

разворачивала расшитые полотенца и переводила задумчивый взгляд на дочь. Потом поправляла на ней монисто, обдергивала рубашку, укладывала складки юбки и печально покачивала головой, смахнув украдкой слезы.

Но что она не могла равнодушно слышать — так это бубен. Как только с дальнего края села под облачным осенним небом раздавался его глухой звук, она выскакивала во двор, прислушивалась, старалась угадать, в чьем дворе справляют свадьбу, и проявляла столько любопытства, кто кого посватал, словно надеялась сама скоро выйти замуж. Она жила в вечной тревоге, ее движения стали быстрыми, нервными, а небольшие черные глаза беспокойно поблескивали.

А бубен играл. Начиная с середины недели по улицам ходили невесты с распущенными волосами и кланялись в ноги, приглашая на свадьбу, или месил грязь свадебный поезд, наполняя холодный воздух песнями. Маланка в одной рубашке выскакивала на порог, подпирала голову ладонью и жадно следила за свадебной процессией, зябла и не замечала этого. Она несказанно раздражалась.

Каждый засватанный хлопец, каждая дивчина, подавшая полотенце, внезапно теряли в ее глазах цену, не стоили доброго слова.

— Посватался! взял добро! — шипела она с кривой усмешкой. — Будет кормить чужих детей и жинку недотепу... Разве не знает, — она и хлеба спечь не умеет, ей бы только с хлопцами ржать, будто кобыле.

— Связалась с этим ледащим... Рябой, гнусавый, да и вор: украл в прошлом году мешок жита с гумна...

Заго, встречаясь с женщинами, у которых были взрослые сыновья, она становилась слащавой и хвасталась дочкой: «Слава тебе, господи, такая она у нее работающая, такая добрая, послушная, как теленочек...»

Время шло.

Всечер за вечером просиживали они с Гафлейкой в прибранной, как на пасху, хате, в чистой одежде, словно поджидали дорогого гостя, который вот-вот, неизвестно откуда, придет, застучит сапогами перед хатой, переполошит собак и откроет дверь. У Маланки спрятана даже была в чуланчике среди старого тряпья бутылка водки, о котсрой, кроме нее, никто не знал.

А вокруг раздавалась музыка, звенели бубны и тревожили ночную тишину пьяные песни. Никто не являлся. Покосившиеся стены халупки, выставив бока, моргали по углам морщинами-теньями, бумажные казаки, подбоченясь, стояли в ряд и молча смотрели на темный свет лампадки, а аккуратные голубки поворачивались перед образами, и длинные тени от их крыльев двигались на низком потолке. Нудная тревога, словно дерево из семечка, росла в Маланкиной душе. Неужели не придут? Неужели никто не посвояется? Она перебирала в памяти всех хлопцев односельчан — и богатых, и средних, и даже бедных, хотя дольше останавливалась на богатых. Соображала, прикидывала и все надеялась. Иногда она думала, что Гафийка сама виновата.

— Эй ты, недотепа! — кричала она на нее, когда Гафийка случайно роняла веретено или задевала что-нибудь по дороге. — Какая из тебя хозяйка выйдет, ты ни ступить, ни сделать как следует ничего не способна? Наказанье божье, не девка, — сердилась она. — Ты как голову причесала? Кто тебя возьмет, такую неряху? Что молчишь? Говорить не умеешь?.. Увидите... Она и счастье свое промолчит... Все не так, как у людей...

Но, заметив слезы на Гафийкиных глазах, она умолкала, жалость наполняла ее сердце и вылетала продолжительным вздохом. Она уже знала, какая судьба ожидает ее ребенка. Придется ей итти по материнской дорожке... Ой, придется...

С поникшей, тяжелой от горьких дум головой она прислушивалась к последним звукам замиравшей в деревне свадебной музыки, с которыми гибли и ее последние надежды, последние мечты...

Идут дожди. Холодные осенние туманы клубятся в небе и опускают на землю мокрые косы. Плывет в серую неизвестность тоска, плывет безнадежность, и тихо всхлипывает грусть. Плачут голые деревья, плачут соломенные кровли, умывается слезами нищая земля и не знает, когда улыбнется. Серые дни сменяются черными ночами. Где небо? Где солнце? Мириады мелких капель, как утраченные надежды, вознесшиеся слишком высоко, падают и текут, смешанные с землей грязными потоками.



Нет простора, нет успокоения. Черные думы, горе сердца носятся тут над головой, висят тучами, катятся туманом, и слышишь рядом тихо рыдание, будто над покойником...

Маленькое серое заплаканное оконце. В него видно обоим — и Андрию и Маланке, — как по грязной разъезженной дороге тянутся люди на заработки, тянутся и тянутся, черные, понурые, мокрые, словно калеки-журавли, отбившиеся от своего клина, словно осенний дождь. Тянутся и исчезают в серой неизвестности...

Темно в хате. Цедят мрак малые окна, хмурятся сырые углы, гнетет низкий потолок, и плачет опечаленное сердце. Вместе с этим бесконечным движением, вместе с этим безостановочным паденьем мелких капель движутся и воспоминанья. Как капли эти, — упали и исчезли в грязи дни жизни, молодые силы, молодые надежды. Все растрчено на других, на более сильных, на более счастливых, будто так и нужно.

Будто так и нужно...

А дождь идет... Горбатыми тенями в сумерках хаты сидят старики, словно решают заданную Гудзем задачу: придет ли коза к возу?

А может, и придет...

*12 января 1903 г.*

## ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Снега выпали глубокие, и Андрий радостно разгребает от порога к воротам дорожку. Это все ж работа, да и нехорошо человеку вечно торчать дома, где сверкает пустым оком голод и нужда толчется по сырым углам. Ведь это, пане добродзею, настают последние времена: и рад бы заработать, да негде. Не знаешь, как перебиться зиму. Маланка — черная, высохла вся, только глазом жжет да колет, да кашляет в хате так, что стекла дребезжат. Память о свадьбе осталась у Маласи. А как же... Как женился панич Леля — тот, с соседней экономии — на нашего помещика дочке, старуха словно с ума спятила! Чем встречу, как будут от венца ехать, — ячменным хлебом? Она у них служила, у нее на глазах и панич вырос... бегала по селу, вымокла, продрогла, пока

не выпросила у кого-то паляницу. Верно, у кузнечихи. Правда, дал панич Леля два злота, да один — бабке Марьяне отдала, ведь как пошло у нее в груди колоть, едва душа с телом не рассталась. А теперь получай, кашляй, сердце... Панскую ласку вспоминай.

Андрей выпрямился и воткнул лопату в снег. Он разогрелся, от него валил пар, словно дым из трубы, его усы и борода побелели.

Село было засыпано снегом наполовину. Низкие хаты осели под синим куполом неба, будто бабы в намитках на колени опустили в церкви; за деревней глаз мягко бежал по снежным полям до самого горизонта и не знал на чем остановиться.

Андрей взялся за лопату и вновь поймал оборвавшуюся мысль. Ведь он так полагает: от судьбы не уйдешь... Старуха говорит, что знала, а он не надеялся даже. Где там! Чтобы сын хозяйский да взял бедную? Чтобы Прокоп посватал Гафийку? Ну, что ж, таки посватал. Рождество из хаты, а сваты в хату, да ничего из того не вышло. Уперлась девка, ни с места. Ему ничего, а Маланке горе большое. Не спала, а во сне видела дочку за хозяйским сыном, поле пахала, сажала огород... Ха-ха! Оближи губки, Малася. Девка не хочет. Вишь, не Марко ли в голове у нее? Может, уже и косточки его сгнили, может, помер где-нибудь в тюрьме... Была девка — огурчик, а стала как монашенка. Похудела, молчит и на отца сердится. А он чем виноват? Разве он посадил Гушу в тюрьму? Ведь то, что он, пане добродзею, бунтарь, таки правда: знали, что с ним сделать...

Хе, вот уже и устал. Совсем ослаб за зиму, харчи подвели. Еще летом ничего: бурачок, луковка, рыбки наловишь.

Ну, Прокоп не мог ждать. Другую посватал... А как же... Маланка даже плакала от злос...

— Га! Заводчик! Вишь, как старается, чтоб жинка ножек не промочила. Болячка б... Здорово!

— Фу!.. Чтоб вам, Хома, как напугали... Здравствуйте... Я, знаете, теперь такой пугливый, тени собственной боюсь...

— Разве в тебе душа есть? Один заячий дух...

Хома, повидимому, издевается. В морщинах старого беззубого лица глубоко залегла злость.

Андрій привык уже к этому. Он знает, что, с тех пор как пан прогнал Гудзя, нужда еще больше обрушилась на него, но говорит:

— Хорошо вам, Хома, — вы один, а у меня три глотки в доме.

— Ха-ха... Мне? Действительно хорошо, пусть ему так легко подышать, как мне жить; ставь пиво, скажу новость

— Где там! Я уже забыл, какое оно на вкус... Про завод? Э, не раз уже говорили...

— Не веришь? Панич Леля ставит водочный завод.

— Да ну?

— Не ну, а в самом деле! Из старого сахарного сделают водочный, еще и дом себе отстроит Леля, чтоб он лопнул тебе на радость.

— Да что вы говорите? Откуда это вам известно?

— Не верит, чортово зелье... Бросай лопату, идем.

— Куда?

— Не спрашивай, идем.

Андрій вертел лопату в руках и недоверчиво глядел на Гудзя. Наконец воткнул лопату в снег и очутился за воротами.

— Чего лопату бросил, еще кто-нибудь украдет, эй ты! — услышал он голос Маланки, но даже не оглянулся.

Брел по снегу, спешил за Хомой. Хома ставил ноги решительно, злобно, как говорил, а снег разбрасывал, точно лошадь. Андрій громко дышал, его глаза забежали куда-то вперед, навстречу каменным стенам, казалось, уже трепетавшим от живого движения рабочих, уже дышавшим трубами.

«На этот раз Хома не обманывает», — колотилось сердце Андрія.

Шли по безлюдному селу, занесенному снегом, как по глухому лесу, который хотелось поскорей пройти, чтобы увидеть простор.

Когда же, наконец, на холмике перед ними зачернели развалины сахарного завода, Андрій сейчас же совершенно отчетливо увидел дым, услышал знакомый шум. Правда, дым сразу исчез, но возле сахарного завода суетились люди и чернели подводы.

— Куда бежишь? Поспеешь..

Андрей только махнул рукой. Э, что там теперь Хома!.. Он уже видел ряд саней с бревнами, с брусьями, лубяные короба, полные красного кирпича, словно газы с ягодами, косматых лошадей, окутанных собственным паром, согнутые спины, занесенные кнуты... Ю... Эй!.. Цоб-цоб!..

На дворе стоял приказчик и среди крика и шума принимал материал.

Андрей бегал от саней к саням, ощупывал дерево, постукивал по кирпичу, заглядывал всем в глаза, словно спрашивал — правда ли?

Перед приказчиком снял шапку и долго молча стоял. Подошел к Хоме и улыбнулся.

— Будет?

— Будет...

— Винокуренный?

— Да я ж сказал.

Выцветшие зеленоватые глаза Андрия блестели, как лед, таявший на солнце. Они ласкали черные, задымленные стены сахарного завода, круглые желтые бревна на белом снегу улыбались штабелям кирпича, приказчиковой бороде, седой от мороза. Теперь, пане добродзею, уже пустят пар... Не будет человек с голоду гибнуть, а как же... придет срок — бери готовые деньги. Да, да, Малася, вот тебе и «заводчик»!..

— Что, Хома, будет завод? Смотри, смотри...

Но на Андрия шипели из глаз Хомы зеленые змейки.

— Чего радуешься? Думаешь, они водку гнать станут? Кровь из тебя гнать станут, а не водку. Хлеба захотел, а горба не заработаешь? Гляди! У кого брюхо отрастет выше носа, а из тебя жилы все вытянут, пропади оно прахом...

— Подождите, Хома...

— Чтоб им сгореть, чтоб пепел их развеяло разом с человеческой неправдой.

— Подождите же, Хома...

— Чего ждать? Он думает — волочный завод. Могилу тебе готовят, четыре доски да яма. Вот и все.

— А, какой же вы, Хома...

Но Гудзя нельзя было уже остановить, он катился, как с горы.

— Вот взял бы — р-раз, р-раз,— развалил бы все к чортовой матери, сравнял бы с землей, чтоб и памяти не осталось во веки вечные.

Хома размахивал руками и топал ногой. Каждая морщинка на его безусом лице вздрагивала, и видно было, как под старой свиткой корчилось тело, будто пружина.

Андрей со страхом смотрел на Гудзя. Он даже язык проглотил.

Что это с Хомой? И что он говорит? Надо ж чем-нибудь жить... Разве лучше вот тем, которые роются на клочке поля и не соберут, случается, даже на семена. Или тому, кто закопает силу в панские поля, а придет болезнь и старость, станет калекой, — сдохнет, как собака под забором? И что он говорит, господи боже!..

Но Хома понемногу отходил. Злость и проклятия внезапно перешли в хриплый простуженный смех.

— Ха-ха! Ну, ставишь пиво? С тебя могарыч. Айда к Менделю.

Андрей улыбнулся виновато. Почему бы не поставить? С какой охотой он сам бы выпил на радостях пива, да...

— Верите, Хома...

— Ну, ну... в кармане пусто? Чорт с тобой... тоже «заводчик». Я иду...

Андрей смотрел вслед Хоме, но прежде чем исчезла согбенная фигура, уже затихло шипение зеленых змеек, погасли обжигающие слова, и одно только звенело в Андреевой груди — винокуренный завод!

Он хотел еще раз услышать это слово. Стоял перед приказчиком и мял шапку в руках.

— Водочный будет?

— Водочный.

Вот. Теперь уже наверно. Он почувствовал гордость, самоуважение, точно не панич Леля, а сам он оживит мертвые стены сахарного завода, пустит в ход колеса, приводные ремни, машины и людскую силу.

Деревня, хлебопашество, земля...

Какие они бедные, несчастные...

Кроты! Залезли на зиму в белые норы, а придет весна, начнут мучить землю, резать ей грудь. Прокорми, земля! А земля стонет, тощая, слабосильная, разодран-

ная на клочки. И вместо пищи поит своею кровью. Не хлеб, а куколь родит да репей, всякую сорную траву. Вот и кормись...

А тем временем число голодных растет, множится: корчатся голодные, как змея, изрубленная на куски.

Развелось вас. Хоть бы милосердный господь сократил вас войной или мором каким. Может, легче было бы на свете...

Ну, а ему что? У него нет земли! Водочный завод даст ему пищу... Хома говорит глупости.

И ты, Малася, напрасно смеялась. Сказал Андрий Вольк — будет винокуренный завод, — и будет.

Гафийка вошла в хату и прижала к печи озябшие руки.

— Забыла, что печь холодная, — виновато усмехнулась она.

Маланка обратила к ней красные глаза:

— С кем разговаривала в сенях?

— Прокоп приходил.

— Прокоп?

С того времени, как он женился, Маланка не могла слышать его имя.

— Что ему нужно?

— Ко мне приходил.

— К тебе? Зачем?

— Книжки приносил.

— Пускай носит жене своей, а не тебе...

Ей хотелось сразить дочку взглядом, но не удалось. Набежали мучительные слезы, пришлось кулаками закрыть глаза.

Теперь Маланкины глаза уже сами плачут. За осень и зиму так наплакалась, что даже привыкла. Настали холод, слякоть и непогода не только в природе, а и в сердце. Облетели надежды, разметались бесследно, и там теперь голо, как в лесу. Снега теперь в сердце и волки воют. Господь не захотел показать свою правду: как была панской земля, так и осталась панской. Напрасно Маланка собирала семена, напрасно лелеяла надежды. Узелки с зерном так долго висели под образами в хате, что всем глаза намозолили. Наконец сняла и

вынесла в чулан. Довольно себя обманывать. «Зачем снимаешь? Настанет весна — поля засеешь», — это Андрий задел, как за живое.

Сухие Маланкины губы сжались от боли при одном напоминании.

Их горе — а всем суждено одно. Холод, и голод, и безнадежность. Целыми днями сидели в нетопленной хате и ничего не варили. Сверкали ненавидящим взором, грызлись кровавыми словами. Как звери. Чтобы не замерзнуть, Андрий украдкой по ночам рубил на дороге вербы или разбирали крыши на соседних пустых строениях. Если б не совесть — крал бы. Потом стало колоть в груди, привязался кашель. Все внутренности выворачивало, по ночам никто спать не мог. Вокруг пусто, грустно. Гафийка ходит, словно монашенка. Молчит, ничего не говорит. Разве Маланка и так не знает...

— Вишь, книжки носит... Пошла бы за него, читали б вместе.

— Оставьте, мама.

— Кого жлешь? Гушу? Вот беда. Отец немного работает, я больная, почернела от работы — да что из того? А Прокоя...

Ах, как это нудно, как нудно все одно слушать!

— Вы не печальтесь, мама. Я пойду внаймы.

Маланка прикусила язык.

— В усадьбу наймусь, или к Пидпаре, он, говорят, ищет работницу.

Маланкины глаза стали испуганными, круглыми. Что-то промелькнуло на мгновение перед ними, давнее, позабытое.

Она подняла руки, будто хотела отогнать что-то.

— Молчи уж лучше.

— Ей богу...

Тогда Маланка вдруг размякла. Что там печалиться, все идет к лучшему. Вот переживут зиму, весна не за горами. Андрий, наверно, найдется к пану, начнут люди огороды копать, пойдут заработки.

Голос Маланки становился теплее, словно нагревался от солнца, тихо салившегося перед самой хатой. Золотой горизонт обратил окно в алтарь, печка краснела от жара, будто в ней пылал огонь, речь струилась ласково, как последние лучи, и гасла медленно в

вечерних тенях. До Гафийки только иногда долетали отдельные слова. Этот ласковый голос будил в ней воспоминания, навевал думы.

«Если бы знала — куда, пошла бы пешком к нему. Не думал бы, что отрелась от него. Сказала бы: я не забыла, Марко, твоей науки: ты посеял слово, а уродилось их много... Тебя заперли за решетку, а твое слово ходит по свету...»

— ...настанет жатва, будем жать, заработаем хлеб, а осенью...

«Кто любит верно, тот хотел бы милого словом весь свет засеять. Издеваются над тобой, а я разве мало приняла муки? Гляди, какая стала. Каждый день о тебе печалюсь, каждый день мысль к тебе летит...»

— ...еще посватается кто-нибудь... еще твоя доля за дверью у бога...

«Жду тебя, поджидаю. Не буду твоей — ничьей не стану. Одно у меня утешение, — что разговариваю с тобой, хоть ты и не слышишь...»

Окно медленно гасло, земля поужинала солнцем и готовилась к ночи. Синие тени раскрывали свою глубину, принимали, как на мягкое ложе, Гафийкины мысли, надежды Маланки...

Маланка не хотела верить. Э, опять наплел Гудзь. Андрий даже менялся в лице, так сердился. Гудзь, Гудзь... Он видел собственными глазами. Не один Хома, — приказчик сказал. Усы еще белее стали на красном лице, и глаза лезли на лоб. Маланка пожимала плечами, но накинула кожушок и побежала в усадьбу. Теперь это уже ее дело. Панич Леля должен нанять Андрия, она ж у них служила, она работала на них. Маланка долго кашляла на кухне, пока, наконец, не вышел панич. Ну, панич как панич, пошутил немного со старухой, но Андрия нанял. Приказчику в помощь.

Эта была большая радость. Теперь уже ежедневно пылал в печке веселый огонь, вкусно пахло борщом или галушками, и когда Андрий в сумерках возвращался домой, свежий от ветра и мороза, которым пахли все складки его одежды, Маланка старалась угодить ему, и степенность хозяйки присутствовала во всех ее



движениях. Вечером Андрий придвигался к печи и доставал трубку. Красный жар подмигивал ему синеватым глазом, моргал, стрелял звездами и, наконец, закутылся на ночь в шубу серого пепла. Гафийка гремела ложками, плескала теплой водой, а Маланка, сложив руки на груди, внимательно слушала рассказ о том, сколько привезено кирпичу, какое и почему забраковано дерево, что приказчик ничего не понимает и, если бы не Андрий, дело не пошло бы.

С наступлением весны, когда начались настоящие работы, разговоры стали более пестрыми и длинными. Андрий был как в лихорадке. Ему казалось, что все идет слишком медленно, что стройке конца не будет. Это была его винокурня, это он ставил ее, и даже Маланка, заразившись его настроением, часто бегала смотреть, как подвигалась работа. Она даже забывала свои мечты о земле и жила с Андрием одной жизнью.

Наконец однажды, так после троицы, высокая заводская труба дохнула клубами дыма, и из бывших развалин сахарного завода донесся до деревни гудок.

Андрий сорвался с места. Он наклонился вперед, вытянул шею и ловил ухом этот зов «машины», долго, торжественно, словно боялся пропустить хотя бы одну ноту.

Потом обернулся к жене, весь сияющий; лоб его сразу вспотел.

— Слышишь, Маланка?

Маланка слышала.

— Это тебе не земля, которую еще когда-то будут делить... Это тебе, пане добродзею, не шутка, а завод...

Маланка вздохнула. Она только взглянула на свои черные, сухие руки, просившие другой работы, и почувствовала, как ее мечты упали куда-то глубоко, на самое дно сердца.

В тот же вечер Андрий пошел на ночную смену.

Хотя с мясоеда, когда женился Прокоп, немного времени прошло, но Гафийке казалось, что Прокоп вырос и даже постарел. Он стоял перед нею, говорил, а она глядела на его широкие плечи, спокойное лицо, на котором неожиданно как-то выросла борода и запечатлелась

серьезность женатого. Ей казалось, что его серые, немного холодные глаза, смотрели не столько на нее, сколько куда-то внутрь, в себя, и потому все, что он говорил, было крепко и полновесно, как доброе зерно. Она тоже слыхала, что богатеи сердиты на него.

— Больше всех злится на меня Пидпара. В воскресенье кричал на сходе: «Таких, как Кандзюба, в Сибирь. Завел газеты, книжки голытьбе читает: мутит народ. Бумажки разбрасывает». А сам как встретит, сейчас же спрашивает: «Что там слыхать? Что про войну нового пишут?» Мать тоже попрекает: «Жжет свет, а он дорог».

— Ну, а Мария?

Прокоп взглянул на нее испытующим взглядом. Гафийка стояла крепкая, обожженная солнцем; с тонким пушком на руках и ногах, она походила на золотую пчелку. Опустила глаза и старательно ловила двумя пальцами ноги какой-то стебель.

— Мария? Что ж, молодница как молодница.. ей лишь бы люди, лишь бы разговоры слушать, да свое вставить. Не так сложилось, как думал. Мне бы товарища надо, да ты не захотела.

Стебель не давался, выскальзывал.

— Оставь, Прокоп, довольно.

— Да я ничего. Не кличешь тоски — сама приходит. Все ждешь Гуцу?

Гафийка подняла на Прокопа глаза.

— Этой ночью Марко мне снился.

— Ага! Я и забыл. Дядя Панас встретил меня утром: «Приду к вам, говорит, послушать, что там умные люди советуют...»

— Снится мне, только я будто кончила разносить листки и уже последний вынимаю, чтобы засунуть Петру в сарай, кто-то меня — хватать за руку. Я так и похолодела вся. Смотрю — Марко. Такой сердитый. «Я, говорит, сижу за вас в тюрьме, а ты так слова мои сеешь? Покажи руки». А мне стыдно — страх, что руки пустые, глаза поднять не смею, не смею показать ему руки. И хочется похвастать — и голос меня не слушается... Слышишь, Прокоп, когда новых дашь? У меня больше нет.

— Нет и у меня. Пойду на неделе в город, так принесу. А ты заходи.

Прокоп обнимал взором Гафийку. Упругая, сильная, аккуратная, она сияла на солнце, как доброе поле, как полный колос, а глаза у нее были глубокие и темные, как колодезь.

Эти глаза его очаровывали. Прокоп вздохнул.

Но, вздыхай не вздыхай, — иначе не будет.

Он хотел по крайней мере словом облегчить душу, подобно тому, как гуча ощущает необходимость излить свою грусть, и говорил, что своя неудача — пустое. Мирское горе велико. Он наглядился на него. И дома и всюду. Везде бедные внизу, богатые сверху. В долине слезы, на вершинах издевательство. Люди в пыли, как спорыш придорожный, затоптаны сильным, богатым. И некому крикнуть: подымись, народ, протяни руку к своей правде. Сам не возьмешь — никто не даст. Не народился еще, видно, тот, кого услышат. Надо иметь большой голос, а что можем мы? И где наш голос? Только шопотом скажешь: вставай, Иван, умой лицо. Поднимись, Петр, нас больше будет. Хотя бы удалось это сделать — нескольких разбудить, а те уж других. Запеклась неправда в каждом сердце — прикоснись к болячке, и заноеет.

Что-то было тихое, покорное в этих жалобах, точно река грустно звенела на мелких камешках.

Нет, Марко не такой. Он, как бурный поток, вырывал бы камень, рыл берега, с корнем выворачивал деревья. Его слушали бы все.

Теперь для Маланки настали лучшие времена. Андрий работал и хотя не весь заработок приносил домой, но все же голодными они не сидели. С Андрием она редко и виделась: он ходил на ночную смену, а днем спал или бродил где-нибудь с Хомою вдвоем. Маланка с Гафийкой тоже зарабатывали, и дни их проходили на чужой ниве. Но Маланка не знала покоя. Слухи о земле ожили с весной, будто взошли вместе с озимью и с ней разрастались. Что ж из того, что, выбросив узелки с семенами, она отказалась от своих старых надежд; они теперь снова просились к ней в сердце. Из уст в уста, от хаты в хату, из деревни в деревню катилась радость: будут землю делить. Кто сказал первый, кто

последний — никто не спрашивал. Слухи плыли, как облака, сами собой, носились в воздухе, как пыльца цветущих хлебов.

— Слыхали? Будут землю делить.

— Наделят людей. Кончатся беды.

— Земля уже наша. Скоро начнут делить.

— Даже паны говорят: отдадим землю.

— Паны? Не верьте.

— А как же!

— Известно, боятся.

У Маланки глаза блестели.

А тут еще — сама земля зовет ее.

Поет Маланке колос, смеется луг утренними росами, звоном косы, зовут огороды синей сочной ботвой, тучная земля дышит на нее теплом, как некогда материнская грудь.

А на ее зов отвечает Маланкино сердце, откликаются руки, сухие и черные, отдавшие силу земле и получившие от нее свою силу.

Иногда среди работы она останавливалась и смотрела на землю. Катились низом нивы, стелились по холмам, полные, свежие, богатые, но все чужие. Сколько глазом окинешь — конца-краю нет. А все чужие. И даже не крестьянские, а господские. Зачем пану? Куда все денет?

Сердцу было больно смотреть на нивы, а поле потихоньку шептало и утешало:

«Не печалься... поделят... поделят...»

Думы о земле будили Маланку по ночам.

Она просыпалась вся в поту, взволнованная. Ей вдруг начинало казаться, что это невозможно. Не отдаст своего добра богач мужику никогда, никогда. У богача деньги, у него сила, а что у мужика? Четыре конечности — руки да ноги. Ничего из этого не выйдет; все будет, как было; до самой смерти будет бедняк на чужом тратить свои силы, до самой могилы не увидит Маланка лучшей доли, а Гафийкина красота и молодость увянут внаймах, почернеет Гафийка, завянет на чужой работе, как ее мать. Только и земли твоей будет, что лопатой бросят на грудь.

Волнуется на солнце нива — это божья постель; лен цветет синим, — сказал бы, небо загляделось в озерцо;

на сенокосе — воз. Гафийка кормит ребенка, а другой рядом с Маланкой: «Бабушка!..» И все это, — богатая нива, телега, лошадь, семья, — все это свое, родное, от сердца не оторвешь. «Что ж это я надела сегодня сапожки красные, как в праздник... видишь, цветут в поле, словно мак...»

Утром Маланка — кого встречала — спрашивала:

— Не знаете, будут землю делить?

Кузнечиху — и ту остановила:

— Слыхали, сердце, скоро землю нам должны давать?

— А как же, Малася, слыхала... А как же. Только у людей разговора, одним и живут, одним и дышат. Мой еще земою купил у пана десятину, задаток дал, а больше не хочет платить. Зачем, говорит, выбрасывать деньги, если все равно земля будет моя? Пусть пропадет задаток. А мне жалко и задатка. Вот еще! За свое да платить. И копейки не дам. Требую от своего, чтобы отобрал, а он не хочет. Что с воза упало, то, говорит, пропало. Будут, будут делить. На вашу долю больше придется, ведь вы безземельные. Если б только справедливо делили, чтоб люди не дрались меж собой...

— Ой, если б дал господь... А люди, известно, — божьи собаки, грызутся. Спасибо вам, сердце, на добром слове. Пусть вам господь помогает на всех путях ваших...

Маланкино сердце таяло, как воск... Ей даже странным казалось, что с кузнечихою они так часто ссорятся.

Мария всплеснула руками.

— Глядите, и дядя Панас пришли послушать!

— Разве нельзя? Разве тут что плохое говорят?

Приземистая, корявая фигура остановилась на пороге, переставила длинную палку с неободранной корой через порог и, опершись на нее, шурилась. Казалось, верба вытащила из земли корни и приковыляла к людям, — крепкая, битая непогодой, с запахом земли, на которой росла. Старая Кандзюбиха звала брата:

— Заходи, заходи в горницу.

Все повернулись к Панасу, а чужой вдруг замолчал, положил руки на стол и заморгал.

Панас все еще присматривался.

— Что-то у вас свет плохо горит, сразу не разберу, кто тут есть.

Но он уже всех разглядел. Рядом с Гафийкой сидел Олекса Безик, которого в деревне называли «Полтора Несчастья». У него было столько детей, сколько маковых росинок в маковке, и ни клочка земли. В углу подпирал стены высокий Семен Мажуга, с впалой грудью и долгорукий, весь как складной нож. Он только и жил тем, что на колченогой кобыле возил евреев на вокзал. Были тут Иван Короткий да Иван Редька, Олександр Дейнека да Савва Гурчин — все безземельные либо такие, которые не могли прокормиться на своей земле.

Тогда Панас переставил через порог сапожищи, в которых, наверно, больше места занимали портянки, чем ноги, и устроился рядом с Марией.

— А кто ж тот, чернявый, за столом?

— Из Ямищ, — объяснила Мария и обратила к чужому заинтересованное лицо.

— Рассказывайте дальше, — попросила она.

Тот перестал моргать. И все повернулись к нему.

— Ну, значит, собрались мы, староста с нами, так и так, пишите приговор. Мы, ямищане, согласились на том, что никто из нас не будет работать у пана по старой цене. Теперь пеший работник — рубль, а конный — два. Рабочий день должен быть короче на четверть...

— Ого!

— Тише! пусть говорит...

— Жать — за шестой, а не десятый сноп, молотить за восьмую, а не тринадцатую меру...

— Вот это хорошо! — головы по углам закивали, а долгорукий Мажуга, в знак полного согласия, складывался и раскрывался, как перочинный нож.

— А если пан не согласится?

Старая Кандзюбиха протолкалась сквозь толпу и осторожно убавила в лампе огонь.

Действительно, что будет, если пан не согласится?

Человек из Ямищ помолчал минутку, взглянул вокруг и отрубил:

— А не согласится — забастовка.

Мария всплеснула руками.

— Забастовка! Господи милосердный!

Панас Кандзюба качнулся, словно верба на ветру.

— Забастовка? Как это так?

— А так. Пан зовет косить — хорошо, рубль в день. Не хочешь — коси себе сам. Никто на работу не выйдет. Настали жнива — давай нашу цену; не согласен — надевай сам постолы и айда с серпом на поле.

— Ха-ха! Вот ловко!

Смех прокатился по хате из угла в угол. Целые ряды колыхались от него. Люди ложились от смеха, как трава под косой. Пан в постолах! Ха-ха!

Полтора Несчастья даже взопрел, представя себе это: его потная лысина ловила и отражала свет лампы. Пан в постолах!..

Перед глазами Панаса неотступно стояла смешная фигура толстого пана в постолах, одна среди поля, неловкая и беспомощная. И не легкое веселье играло в Панасовом сердце, а давняя мужичья ненависть, которая, наконец, нашла свое слово.

Обуть пана в постолы.

В этом слове заключалась целая картина, роскошный план, справедливость — человеческая и небесная.

Обуть пана в постолы!..

Но как это сделать?

Да, как это сделать? Пан не дурак. Свои не захотят, чужих позовет. Панское всегда сверху.

При одной мысли, что чужие могли бы помешать, пошли бы против общества, загорелись глаза.

Заговорили все разом.

Мажуга поднял руку, будто оглоблю.

— Чужих не пускать! Разогнать! Кольями!

Го-го! Такой не пустит.

Мария всплеснула руками.

— Ясно, если не послушаются — бить.

Ведь уже некуда дальше — все одно погибать. Хоть в могилу, — хуже не станет. Народ изголодался, а никто не позаботится, есть никто не даст. Не даст! Хочешь есть — пей воду... Отведал беды, так напейся воды... Один роскошествует, а другой... Беда прежде роскоши родилась. Обуть пана в постолы!..

Однако понемногу фантазия Панаса увядала, будто червь точил ее. Где там! Разве так легко спорить с паном!

Пан не хотел уже надевать постолы, не хотел сам жать. Он снова был сильным и хитрым врагом, с которым трудно было бороться, который всех победит. Лучше подальше от пана и от греха. Разве ему, Панасу, земский не выбил зуба?

Панаса никто не слушал.

Тогда он начал стучать палкой.

Что ему нужно?

Нет, пана не запугаешь. У него сила. Нагонит тебе полное село, и у кого сзади было гладенько, узорами разукрасит. Теперь кричат, а тогда что? В стае и беззубая собака зла. Захотели голыми руками ежа убить. Не убьешь, уколет.

Старая хозяйка снова убавила огня. Когда там еще что будет, керосин дорог.

Иван Короткий хотел знать, все ли подписались.

Человек из Ямищ из-за крика не мог ничего сказать.

— Тише, тише, пускай говорит...

Известно, не все подписались. Богатеи отказались.

— Чего захотели! Один чорт, что пан, что богатый мужик.

Все ж к ним присоединились деревни: Пески, Береза, Веселый Бор.

— Вот! Слышите, слышите, сколько присоединилось... Теперь наша очередь. Постоим за них, они за нас постоят.

— Подписать! Подписать!

В хате становилось душно. Дым стлался по хате, как низкие облака, и синие волны, смешанные с криком, тянулись к раскрытым окнам.

Разве заставляет кто работать у пана? Не хочешь — не иди. Пусть увидит, — не в богатстве сила, а в черных руках. Надо всем присоединиться, всем.

Панас Кандзюба шел против общества.

Он не согласен. Это будет бунт.

— Тю! Какой бунт?

— Такой бунт. За это не похвалят. Лучше ждать прирезки.

— Жди, дожدهшься.

— Скоро будут землю делить.

Мария всплеснула руками.

Разве она не говорила!



На Панаса насели:

— Кто будет делить? Может, паны?

Однако Панас крепко стоял на своем. Твердый и серый, как груда земли, в тяжелых сапожищах, он знал одно:

— Будут землю делить.

— Да хорошо, хорошо, а покамест...

— Это будет бунт.

Загнать лошадей к пану на поле, увезти тайком бревна из лесу, поставить верши на панском пруде — одно, а бунтовать против пана всем селом — на это нет согласия.

Достаточно с него и одного зуба, выбитого земским.

— Вот видишь... вот!

Раскрыл рот и тыкал пальцем, грубым и негнушимся, как обрубок с корою, в черную дырку на бледных деснах.

— Видите!.. Вот!

Так Панаса и оставили.

Гром все грохочет, рыжая туча левым крылом обнимает небо. Всюду от капель пузыри на воде, а по оврагам текут потоки и подмывают сено. Погибло сено. Маланка подоткнула подол и лезет в воду, и как раз тогда Гафийка говорит:

— Мама, кто-то стучит в окно.

— В окно? Какое там окно?

Верно, стучат.

Маланка слезает с лавки, нащупывает стены, а в окно кто-то барабанит.

— Что там? Кто стучит?

Маланка открывает окно.

— Идите на завод. Несчастье. Андрию руку попортило.

— Несчастье... — повторяет за ним Маланка.

— Сильно попортило?

— Не знаю. Кто говорит — оторвало руку, а кто — пальцы.

— Боже мой, боже...

Маланка мечется в темноте, как мышь в западне, а

что хотела сделать — не помнит Наконец Гафийка по-  
дает ей юбку.

Вот тебе и гром!

Какая бесконечно длинная деревня! Там, на вино-  
куренном, несчастье. Андрий умер, может, он лежит,  
длинный и недвижимый, а тут эти хаты, сонные и ти-  
хие; одну оставишь позади — другая встает, и нет им  
конца. За тыном тын, за воротами ворота... Слышно,  
как скот в хлевах тяжело сопит да Гафийка неровно  
дышит рядом с Маланкой. А завод еще далеко.

Только теперь замечает Маланка, что за ней бежит  
хлопец с завода.

— Ты видел Андрия?

Кто-то чужой спросил, а хлопец сейчас же говорит.  
Нет, он не видел, его послали.

Рассказывает что-то нудно и долго, но Маланка не  
слушает.

Вот уже дохнула ночная сырость пруда, и вдруг, за  
поворотом, ряд освещенных окон резнул сердце. Завод  
выбрасывает клубы дыма и весь дрожит, яркий, боль-  
шой, живой среди мертвой ночи.

Во дворе группа людей, среди нее свет. Андрий по-  
мер. Она кричит и всех расталкивает.

— Молчи, старуха!..

Сердитый голос ее останавливает, она внезапно за-  
молкает; лишь покорно, как побитая собака, переводит  
взгляд с одного на другого.

Ей объясняют:

— Он, видите, был в аппаратной..

— У машины, значит..

— У машины, — говорит Маланка.

— Держал масленку, а шестерня вдруг и того... и  
повернулась...

— И повернулась, — говорит Маланка.

— Он тогда правой хват, чтоб удержать масленку,  
а ему четыре пальца так и отхватило.

— По самую ладонь.

— Жив? — спрашивает Маланка.

— Жив... там фершал.

На землю ложится свет, а что там делают, какого  
Андрию, — Маланка не знает. Только теперь услышала,  
что стонет. Значит, жив.

Наконец тот же сердитый голос кричит:

— Тут жена? Ну, старуха, иди...

Рабочие дают ей дорогу. Она видит что-то белое, вроде подушки, и только, подойдя ближе, замечает желтое, как воск, лицо, какое-то ссохшееся, маленькое, темное, перекошенный рот.

— Андрийко, что ты наделал?

Молчит и стонет.

— Что с тобой, Андрий?

— Откуда мне знать... Калекой стал... Собери мои пальцы.

— Что ты говоришь, Андрийко?

— Собери мои пальцы, закопай... Я ими хлеб зарабатывал. Ой... боже мой, боже...

Подошли двое рабочих и увели Андрия. Не дали Маланке поголосить.

В аппаратной Маланка искала пальцы Андрия. Гри желтых в масле обрубка валялись на полу, у машины, четвертого так и не нашла. Она завернула найденное в платок и захватила с собой.

Утром Андрия отвезли в больницу, в город, а Маланку позвал сам панич Леля. Он долго сердился, кричал на нее, как на Андрия, но, спасибо, дал пять рублей.

Через три недели Андрий вернулся. Худой, желтый, поседел. Рука на перевязи.

— Болят у меня пальцы, — жаловался Маланке.

— Да где те пальцы?

— Как пошевелю ими, — а пошевелить хочется, — так и заболят. Ты их закопала?

— Как же. В огороде. Что будем делать? — жаловалась Маланка.

— Как что? Пойду на завод, пусть поставят на другую работу.

Но в конторе сказали, что калек не принимают. К паничу Леле и не пустили.

— Хорошее дело! — кричал Андрий. — Работал, пане добродзею, на сахарном двенадцать лет, — не чужой он был, твоего же тестя; теперь у тебя руку при машине испортил, а ты меня выбрасываешь, как хлам.

Тогда ходила Маланка. Просила, умоляла, не могло. И так, говорит, большие расходы: за больницу платили, пять рублей дали, а сколько возни было...

— Вот тебе, Андрийко, и винокуренный завод, — шипела Маланка, отводя душу.

— Мама... что я вам скажу...

— А что, Гафийка?..

Гафийка в нерешительности молчала.

— Да говори уж, говори...

— Пойду я в работницы.

Маланка подняла руки. Она опять свое! Все ее сердят, раздражают, хоть помирай.

— Вы не печальтесь, мама. Так было бы лучше. Та-то уже не смогут зарабатывать, куда им? А настанет зима...

— Молчи! Что ты пристала! Я уже и так похожа на тень.

Гафийка замолкла. Ей было досадно. Вот — мать плачет, а кто знает, чего?

Долго Маланка сморкалась и вытирала слезы.

Гафийка подумала вслух:

— Как раз Пидпара ищет девку.

Маланка упорно молчала.

Так ничего и не вышло, как всегда.

А Андрий злился. Голос его стал еще более визгливым, бабьим. Когда он сердился, краска заливала ему лицо, отчего усы становились совершенно белыми.

— Богачи! заводчики! сделали из меня калеку, а тогда и прогнали. Отняли силу, выпили кровь, и я стал им не нужен.

Каждому встречному Андрий совал искалеченную руку.

— Вот посмотрите, что со мной сделали. Двенадцать лет выматывали жилы, двенадцать лет я их кормил... Разве такая должна быть правда на свете? Так тебе перетак...

Андрий у Хомя научился браниться.

Он хвалился:

— Это им даром не пройдет. Чужая обида вылезет боком.

Похвальба эта дошла до пана, и он перестал посылать Андрия на почту. Теперь на почту ходил уже другой.

«Что ты сделаешь ему, толстому? — думал Андрий. — У кого сила, у того и правда Мы как скот у пана. Да где там! Он скотину пожалеет скорей, ведь за нее деньги плачены. Правду говорил Гуша...»

Гафийка взглянула на отца дружелюбно. Вот когда он вспомнил про Гушу!

О наймах не было больше разговора, но все знали, — придется Гафийке служить. Маланка болела, осунулась сразу и не каждый день выходила из хаты. Гафийка отправлялась на работу одна. Старая беда к ним возвратилась. Горько было Маланке.

Вот взрастила дитя, берегла, заботилась о нем, рада была для него небо склонить и звездами укрыть, а теперь отдай людям на поругание.

Она знала, что значит служить. Это хорошо знали ее натруженные руки, ее душа, заглушенная в наймах, как сорняками цветов.

Одно утешало Маланку: вот-вот будут делить землю. Тогда Гафийка оставит работу и вернется домой.

А как пришлось отводить Гафийку к Пидпаре, Маланка была как с креста снятая. Кланялась и просила не обижать ребенка.

У Пидпары Гафийка работала с утра до вечера. Хозяйка была больной, немощной женщиной, которая все стонала и едва шаркала по полу истоптанными башмаками на босую ногу. Вся домашняя работа выпала на долю Гафийки, больше всего хлопот доставляли ей свиньи. Кабаны лежали в свинарнике, а боровы, матки и поросята рыли двор. Утром, пока Гафийка готовила им еду, все это визжало, верещало, хрюкало и тыкалось пяточками в дверь. А над головой надоедливо стонала хозяйка, скрипел ее голос и шаркали ее башмаки по полу. Гафийка радовалась, когда, наконец, попадала к свиньям. Свинное стадо, назойливое и обжорливое, сразу набрасывалось на нее, рвало из рук, оглушало визгом и едва не валило с ног. Она ничего не могла сделать и только смотрела, как свиньи опрокидывали поило, месили ногами корм и гадили. Те, которых откармливали, вели себя лучше. Чистые, тяжелые, они не хотели тревожить свой зад и только приподымались

на передние ноги. Их надо было просить есть. Они не хотели. Щурили сонные маленькие глазки, подымали вверх чистые кругленькие рыльца и так нежно стонали: ох!.. о-ох... — будто хозяйка Гафийка почесывала им животы, такие розовые, полные; тогда они отставляли еще и заднюю ногу, а завитой хвостик, словно живое колечко, все время вздрагивал... Ох... о-ох!..

Сюда любил заходить и сам Пидпара. Когда его высокая фигура появлялась в дверях и на загородки падала тень, Гафийка вздрагивала. Она боялась Пидпары. Он был неласковый, суровый; вечная забота таилась у него под густыми бровями, блестела серебром в черных волосах. Он тыкал палкой в кабанов, заставляя их подыматься, и щупал хребты. Не глядя на Гафийку, говорил ей строго:

— Смотри у меня, девка, чтобы чисто ходила за свиньями... Божье создание любит, чтобы заботились о нем.

Кроме Гафийки, было еще два работника. Пидпара выжимал из них все соки. Ему все было мало работы. Он сам работал за двоих. Когда голодные работники ели много, он ворчал жене: «Как ест, так взопреет, а за работу примется — зябнет... Стук-грюк, лишь бы с рук...» Когда же еда была плоха и работник откладывал ложку, Пидпара сердился: «Нищие! чем они кормились дома? водой да картошкой!»

Гафийке казалось, что это он про нее говорит.

Особенно ненавидел Пидпара бедных. Сдвигал густые брови и с презрением целил сквозь зубы: «Голоый, что у него есть... Работал бы лучше, лентяй, так и было бы у тебя. А он только на чужое глаза таращит...»

Хоть то было хорошо, что хозяин редко сидел дома. Он вечно был в поле, на сенокосе, в клуне, у свиней. Всюду от его высокой фигуры падала тень — и гам, где она падала, работа, казалось, шла быстрее.

Иногда, в воскресенье, Пидпара снимал с вешалки жупан и подпоясывался широким поясом.

После ухода Пидпары хозяйке становилось не по себе, будто она умирала.

— Пошел на сход... ох, ох... что-то колет в груди.. Моего люди слушают очень... Что скажет, так и будет... Страх как уважают. Хотели старостой выбрать, да мой

не хочет. Чтобы не остаться добру без хозяйского глаза... Ох, мое горюшко... ох!

Но было не совсем так.

Пидпара возвращался сердитый.

— Чорт его знает, что случилось с народом, — жаловался жене. — Прежде скажешь — тебя слушают, а теперь хоть молчи... такая распушенность. Уж эти мне верховоды... Голь! тьфу!..

Под его бровями ложилась тень.

Иногда собирались гости. В праздник, когда спадала жара, приходил Скоробогатко Максим, староста сельский, которого дразнили «волчком», и тесть Пидпары, Гаврила. Они располагались во дворе, на зольном воздухе, а Гафийка выносила из хаты сало и рыбу. Хозяйка, хотя было тепло, натягивала кожух и тоже присоединялась к компании.

Они ели и обсуждали, где что выгоднее продать. Кто сколько чего собрал. Кто кого и как обманул. У рыжего Максима была привычка собирать со стола все крошки в щепотку и бросать в рот, а после сала облизывать пальцы. И не потому, что был голоден, а чтобы не пропадало. Он беспокойно моргал, вечно смеялся и поворачивал во все стороны широкое лицо, густо усеянное веснушками; он любил степенный разговор перевести на скользкие темы.

— Вот скоро начнет голода землю делить... Ха-ха... Зачем богатым столько земли? Чтобы, значит, «всем по семь...» Ха-ха... у тебя сколько? Тридцать? Вот двадцать три и отберут. Ха-ха...

Пидпара не любил шуток. Но Максима не легко было остановить, он уже подмигивал Гавриле:

— А вам, кум, не грех и больше отдать. К чему вам, в самом деле, вы уже старые, пусть голода своего добьется, покушает хлеба.

— Конечно! Что миру, то и бабе, — криво усмехался Гаврила. — Еще придется на старости за сноп работать.

— Ой-ой! Еще и как. Разве уже забыли жать?

Пидпара сердился. —

Чорта лысого возьмут. Он ничего не даст. Что деды-отцы кровью добыли, то нерушимо. А что приобрел — то его труд. И всяческие лодыри пусть помалкивают.

— Уложил бы на месте, как собаку, если бы кто решился, не побоялся б греха.

Пидпариха куталась в кожух и стонала:

— Ты хоть бы получше ружье купил. Ох, ох... боже милостивый. Твое негодное, бечевкой перевязываешь...

— И такого хватит... зачем деньги тратить...

«Ну, этот и клочка земли не выпустит из рук, пока жив», — покачивала головой Гафийка.

После таких разговоров Пидпара хмурился еще больше.

Готовясь ко сну, он поправлял на стене ружье и клал рядом с собой топор.

Гафийке делалось страшно.

С неба сквозь густое сито сеет мелкий дождик, а Мажуга накрыл плечи мешком и ходит по деревне. Сгибается, выпрямляется — похожий на складной ножик.

— Слыхали, пан не хочет прибавить цену?

— Откуда ты знаешь?

— Только что Прокоп с людьми был у пана.

— Что же пан?

— Как было до сих пор, так, говорит, будет и дальше. Дороже не даст.

— Так. Что же нам теперь?

Мажуга подымает руку, будто оглоблю, сжимает кулак, и слова вырываются из его впалой груди, будто из бездны.

— Бастовать будем.

— Не захотим мы, наймут ямищан.

— Ямищане не пойдут. Они тоже подняли цену.

Олекса Безик выходит со своего двора, а за ним по грязи скачут ребятишки, словно цыганята.

Он на все согласен. Забастовка так забастовка. Хуже не будет. Мажуга идет дальше. Его фигура в сетке дождя становится то длиннее, то снова короче, будто рыба в неводе бьется. Маланка спрятала руки под фартук и злобно сверкает глазами.

— Так, мужички, так. Лезьте в ярмо, жните за тринадцатый сноп. Послужите пану.

И поджала сухие, увядшие губы.



— Не дождется. Пускай сам жнет.

— Да жнивье колетя...

Олександр Дейнека нехорошо бранится. Тяжелая брань гремит всюду, как цеп на току.

Дейнека мокнет, а в хату не идет. В толпе ему легче.

— Уперся пан, будем держаться и мы.

— Против общества ничего не сделает.

— Не заставит жать.

— Понятно.

— Бастуем — и всё, — решает Полтора Несчастья.

А Мажуга уже на другом конце села людей поды-  
мает.

— Слыхали?

— Да, слыхали.

— Ну, что ж?

— Как мужики?

— Бастуют.

— Раз бастуют, и мы присоединимся.

А панская нива дремлет, как море в серо-зеленом тумане, и снится ей серп.

Хома сидит на холме, Андрий рядом с ним. Солнце печет. Плышет марево над селом, над нивами, и танцуют в нем — налево завод, направо усадьба.

Голос у Андрия тонкий, плаксивый. Словно мило-  
стыню просит, заглядывает в глаза Хоме.

— Видите, Хома, что со мной сделали?

Но глаза у Хома мутные, точно мыльная вода. Уставились куда-то в пространство и только изредка, как на мыльном пузыре, мигнет в них зелено-красный огонек.

— Куда я теперь? На что я годен без рук?

— Х-ха!

— Им такие не нужны. У них есть здоровые.

Хома молчит.

— Что ж мне — пропадать?

— И пропадешь.

— Где ж правда на свете?

— Молчи, Андрий! Молчи и гибни.

— Живой не хочет погибать.

— Теперь он плачет, а прежде радовался: винокуренный завод! Диво какое!.. Чтоб у того глаза играли, а зубы плясали, кто его ставил!

Андрей сразу гаснет и уже скорей для самого себя говорит:

— Съели меня, пане добродзею... Взяли да и съели...

— А ты думал — они пожалеют? Гляди сюда!

Хома берет Андрия за плечо и поворачивает налево:

— Видишь тех, что там! — Потом поворачивает его направо. — И тех, что здесь, богачей, князей... Они на людей капканы ставят, как на волка. Попался — следуют с тебя шкуру, освежают начисто, а что не нужно, выкинут в навоз.

— Правду вы говорите, Хома, ой, правду.

— Ты думаешь, завод ставят, фольварк строят? Они цепи куют людям, ставят ловушку, чтобы человеческую силу поймать, кровь человеческую выточить, чтоб вас черви источили, как шашель бревно...

Андрю душно. Старые слова говорит Гудзь, а они режут сегодня душу, как острый нож, будто бельма с глаз снимают. На одно мгновение его взор проник сквозь стены завода, сквозь стены панской усадьбы, и смотрит вглубь по-новому.

— Запоганили землю, точно парша, — слышит Андрей. — Сколько их — горсточка, а смотри, как насели земле на грудь, как далеко протягивают руки. Сдавили они деревню своими полями, будто петлей шею, загнали в щель — видишь, вон лежат деревни, как кучи навоза на панском поле, а над ними дымят сахарные и водочные заводы да людскую силу перегоняют в деньги...

Андрю удивительно, что он впервые сегодня заметил, какие действительно небольшие, затерянные в полях деревни... Будто кто-то обронил на площади немного соломы с воза. И еще ему удивительно, что панский пастух словно вырос сразу вот тут, перед ним. Гудзь здесь рядом с ним, точно дуб, врос в землю, и к его ногам покорно катят желтые волны поля, и даже солнце, повинувшись ему, стелется низом!

Андрей забыл свои жалобы. Он только смотрит и слушает.

— Погляди на меня, а я на тебя. Ты мне седой волос покажешь, свое увечье, а я тебе что? Может, душу свою, которую зарыл в навоз, когда пас панскую скотину! Я в навозе все зарыл, чем горела душа, а ты и другие смотрели и молчали. Чтоб у вас языки начисто отсохли, кроты слепые...

Вот это так! А что смог бы сделать Андрий? Чем виноваты люди?

Хома вонзает в Андрия глаза свои мутные. Резкий, колючий смех высекает из них искры, и в серо-желтой глубине их начинает все кипеть.

Андрий не может моргнуть, ему не по себе.

Хома молчит, но Андрий слышит, что смех клокочет в Хоме, как вода в котле.

Смех вырвался наконец, и потемнело солнце.

И вдруг большое горячее лицо придвинулось близко, к самому уху Андрия, дохнуло жаром. Слова полетели так быстро, что он их едва ловил.

— Не смог бы? Врешь, смог! Видишь — поля... пшеница, как море... панское богатство... А ты взял спичку — одну из коробка спичку, — и полетел в небо дым, а на земле остался только пепел... Видишь — дома, дворцы, полно скота, добра... а ты пришел маленький, серый, как мышинная тень, — и за тобой одни головешки...

Хома говорит все быстрее и быстрее, комкает слова, свистит и клокочет:

— А ты идешь от пана к пану... с винокуренного завода на сахарный... от усадьбы к усадьбе... всюду, где людская неправда гнездо себе свила, пока не станет голой земля...

У Андрия глаза лезут на лоб, по спине мурашки.

— Слышишь? — свистит Хома. — Одна голая земля да солнце.

Хома сумасшедший. Что он говорит?

Андрию надо что-то ответить, но его язык, трусливый как заяц, прячется куда-то в горло.

Наконец дар речи вернулся к Андрию, но выходит совсем не так, как нужно.

— Бог с вами, Хома. Разве это можно?

Хома глядит молча, потом цедит высокомерно, будто в глаза плюет:

— Хам ты... Червяк... Гибни, истлевай, чтоб и следа от тебя не осталось, будто ты никогда и не жил...

— Вот это так! Какие же вы, Хома...

Но Хома не слушает. Встает, высжий, злой, и входит в пшеницу, как в воду, а Андрий прилип к земле, словно прошлогодний гнилой лист.

Эконом стоит без шапки перед паном; на бронзовом лице, по которому всегда бродило солнце, пан видит какую-то тревогу.

— Что такое, Ян?

— Прóшу пана, сегодня нельзя начинать жать.

— Это почему? Разве Ян не распорядился вчера?

— Все село оббегал, прóшу пана, да никто на работу не вышел. Не хотят жать по нашей цене.

— Как не хотят?

Пан встрепенулся. Забастовка? У него? Пан оскорблен. Ему известно, что по деревням были забастовки, но чтобы бастовали у него,— ведь он всегда был добр к хлопам, прощал ему потравы, а жена его никогда не отказывала больным в порошке хины, касторке и арниковой примочке. Он хочет услышать еще раз:

— Ян говорит — не хотят?

— Да, прóшу пана.

Обычное дело. Мажь хлопа хоть медом, а он тебя ужалит, как змея.

Пан смотрит в окошко. Солнце только что встало.

— Ну, хорошо. Вот что... сейчас же на лошадь и одним духом в Ямище. Нанять ямищан. Не захотят — набавь цену.

— Слушаю пана.

— Лодыри!

Но еще не успела утренняя тишина поглотить цокот конских копыт, как со двора влетает в дом глухой гомон, и только высокий женский голос разрывает его, как пламя дым.

Что там?

Пан открывает окно.

Все работники на дворе. Пастухи даже.

Стряпухи из людской на бегу шуршат юбками... Какие-то чужие люди.

— Что там за крик? Что за люди?

Пан запахивается, закрывая грудь; старается понять, что случилось, но на него не обращают внимания.

— Максим! Кто там? Максим?

Максим, наконец, бежит, какой-то неуверенный, с испуганными глазами, за ним другие.

— Это, прошу пана, не наша вина... Жизнь важнее службы. Искалечат, что тогда дети будут делать?..

— Что такое? ну! Говори!

Работники отвечают хором:

— Как что? Забастовка. Не оставим работу — побьют.. Да что тут говорить, идем... Эй, хлопцы, айда... Это, пан, не наша воля...

Кровь заливает мозг пану.

— Куда вы! Сто-ойте!..

Заскрежетал злой голос, как железо о камень, и вдруг сорвался. Пан слышит, что упал его голос, разбился и нельзя слова сказать. Да это и не поможет. Работники уже у ворот. Сбились в них, как серая отара, которую гонят на луг. Из домов выбегают дивчата и только мелькают красным на солнце. Со скотного двора, опоздав, спешит, один среди пустынной усадьбы, гусиный пастушок. Поднял полы, картуз надвинул, кнут извивается за ним по земле, точно змея, и оставляет кривой след.

— Куда ты? Шельма! — топает ногой пан.— Назад!

Пастушок только прибавляет ходу. Пан стоит мигу и смотрит на пустыню.

— Бестии! Хлопы!

Поспешно натягивает штаны и выбегает во двор.

Пусто.

Идет вдоль строений. Странно. Не его усадьба. Будто чужая.

Заходит на людскую кухню, толкает ногой дверь и кричит:

— Марина!

Никого.

— Олена!

Тихо.

На людской кухне — как в кузне. Закопченные стены, выбитый пол, а кислый запах пота и закваски, как

кот ленивый на печи, крепко залег на кухне. Охапка дров около печи, начали чистить картошку. И все это брошено как попало.

Пан идет дальше. По двору разбежались гуси; гусята переваливаются с боку на бок, словно ветер гонит по мураве желтые пушинки. Не погнал, значит, пастись. Пан качает головой. Коровы так и остались в хлеву. Ворота каретного сарая открыты, и черная пустота глядит оттуда, как из беззубого рта. Бричка стоит на дворе, а около нее валяется упряжь. Ах ты скотина, быдло! Пан берет шоры, чтобы отнести в сарай, но сейчас же бросает. Неужели никого нет на конюшне?

— Мусий! Эй!

Снова тихо.

— Мусий! Ты тут?

Странно падает голос в окрестную пустоту и без ответа исчезает.

Пан складывает руки на животе и осматривает двор.

— Что ж это такое?

Сон это или действительность?

Вот только что усадьба была, как сердце, которое бьется и гонит по телу кровь; теперь все замерло, остановилось, и каждая закрытая дверь, каждая черная дыра — будто загадка.

Собаки увидели пана и с визгом кидаются ему под ноги, скачут на грудь.

— Прочь!

А, бестии, хлопы!

Возвращается в дом. И там всюду пустота. Жена еще спит. Он проходит через пустые комнаты, заглядывает в столовую, ищет горничную — ни души. Злоба душит его. Хлопает дверьми, опрокидывает стулья и хочет так крикнуть, чтобы по всем комнатам заскакала пока еще сдерживаемая брань.

А, бестии, быдло!

Где Ян?

Останавливается и прислушивается.

— Ян!

При этом слове сразу зашумели вокруг него поля, заволновалась спелая пшеница, а жать нельзя!

Где Ян?

Вот и получай. Он сам послал Яна в Ямище жнецов

нанимать. Ямищане, конечно, придут, и всё кончится. Но эти хлопы!

Пан не может сидеть дома. Его тянет во двор. У этого мертвого двора какая-то притягательная сила. Пан еще раз проходит по нему из конца в конец, одинокий и беспомощный, мимо закрытых сараев, мимо раскрытых темных конюшен, мимо влажных и блестящих коровьих глаз.

А Ян, обливаясь потом, весь в туче пыли скачет обратно. Конь тяжело дышит, и тяжело дышит эконом, трясясь на седле.

Его встречают криком:

— Что, панский холуй, нанял ямищан?..

— Где твои жнецы, много их? ха-ха!

Ян скачет, не оглядываясь, и только молча грозит нагайкой в поднятой руке.

Деревня ушла в себя, ждет. Глаза ее все видят, уши все слышат. Усадьба — как мертвец посреди деревни: в ней все тихо и недвижимо, но она возбуждает тревогу.

Известие, что ямищане не хотят наниматься, мчится скорее, чем лошадь эконома.

День рабочий, а все дома. У ворот группы людей, двери хат раскрыты. На огородах остановилась работа. Стоят люди между грядками сложа руки и разговаривают с соседями через плетни.

— Слыхали? Ни души в усадьбе. Ушли все...

— Они давно бы уже присоединились, ждали только, пока мужики начнут.

— Что ж это будет?

— Пойдет сыпаться зерно — набавит цену.

— Смотрите, чтоб не нанял чужих.

— Где там, не пустят. Наши не пустят чужих.

Прокоп уговаривает:

— Держитесь. Будем друг друга держать — и одолеем.

Его слушают, глядя ему прямо в рот.

— А как же, гуртом, говорят, и отца бить сподручно.

Богачи ворчат. Они по колени вошли в землю, им тяжело.

— Забастовка! Будет вам забастовка... не один почешется... вот, чорт знает что.

Впрочем, не очень бояться.

Молодежь смеется.

— Ловко?

— Ловко.

К полудню дети приносят весть: пан пошел на завод. Сквозь стекла окон, с огородов, из-за плетней движутся вслед за паном сотни глаз. Пан идет среди глаз, как под звездным небом.

— Пошел на завод к зятю.

— Обедать пошел, дома ничего нет.

— Само-то не наварилось.

Даже Панас Кандзюба вкусно чмокал губами.

— Обуть бы тебя в постолы.

Вскоре опять новость: панич Леля послал в усадьбу рабочих с завода.

— Наши побили рабочих.

— Неправда. Никто их не бил. Не пустили — и всё.

— Пусть пан сам за скотом смотрит.

— Мы не запрешаем.

Прокоп просит Дейнеку и двух хлопцев встать на страже и никого не пускать в усадьбу.

Немного погодя из усадьбы выезжает пани на лошадях, присланных с завода Лелей.

День тянется долго, будто год. Кажется, что пшеница на поле сыплется, что пан не выдержит, — вот вот позовет жать, согласится на требования мужиков.

После полудня снова сломя голову скачет по деревне эконо́м. Стегает лошадь и подпрыгивает на седле, будто хочет коня обогнать.

Едва успеваешь увидеть круп конский да экономову спину.

— Понесло куда-то в Пески.

— Не разживется и там. Не наймет.

— А что?

— Бастуют.

Вечер уже близко, а перемен никаких. Только в господской усадьбе режут коровы.

Тихо садится солнце, небо зелено, — должно быть, к ветру. Что-то гнетущее, тревожное растет на земле незаметно. Рдеют, как угли, окна, и рев скота разрывает густоту воздуха.

— Хоть бы накормил кто скотину.



— Разве она виновата? Стоит, бедная, не евши, не пивши...

Усадьба все громче ревет. Коровы не мычат уже, а хриплым скрипучим рыком, полным отчаянья и муки, зовут на помощь. Лошади сердито ржут. Неистовствуют в стойлах, бьют землю копытами, ноздри их раздуваются от гнева.

Женщины с тоской выбегают из хат.

— Ой, слушать не могу, как плачет скотина.

— Ей-богу, сама побегу кормить...

— Тоска-то какая, господи... У меня дети даже плачут...

Смеркается. Тени выползают из своих убежищ и тайком, исподтишка ложатся земле на грудь.

Из усадьбы упорно и нестерпимо катятся в деревню волны дикого рева, точно корабль гибнет на море и в предсмертном отчаянье надрывает горла сирен.

Тогда Прокон посылает хлопцев в усадьбу.

Скот не виноват.

Пан молчал — и люди тоже. Ходили на поле, жали свой хлеб и посмеивались злорадно, когда панский эконо́м ни с чем возвращался из соседних деревень. Солнце пекло, пшеница сохла и готова была течь. Приезжал становой. Почтовые колокольчики, лай собак, грубая брань и крики — все это пронеслось, как туча в летнем небе. Так и уехал ни с чем. Только Хому взяли, — он станового обругал.

А пшеница текла.

Тогда эконо́м стал податливей. Ставил водку и все уговаривал. Кто выругается, а кто и выпьет. Пили водку — почему не выпить? А работать не шли. Может, кое-кому и хотелось, да боялся. А пшеница текла.

Маланка пошла на поле. Припала ухом к безбрежной ниве, словно чайка грудью к морю, и слушала, как тихо сыплется зерно перезревшего колоса, мягко капает на землю, точно плачет нива золотыми слезами. Маланке жаль ее, как ребенка, хотя она и панская. Становится на колени, раздвигает колосья и собирает красные зерна так осторожно, нежно, любовно, точно младенца вынимает из купели. Хлебец святой!..

Кое-кто из постоянных работников вернулся к пану. А жатва не начиналась. Наконец через неделю пан набавил цену. Не такую, как люди хотели, а все же значительно большую, чем прежде.

— Становиться?

— Станем.

Прокоп тоже радовался.

— Дошли до предела.

Люди сразу припали к господскому полю, как к воде в зной, наставили копен, скирд.

А Хому Гудзя скоро отпустили, он возвращался как раз через господское поле. Только взглянул на жнецов и криво усмехнулся.

Низко стелятся тучи, растут, сбиваются в груды и опадают. Ветер, будто сено сгребает в ночном небе, ставит копны.

На лугу тяжело дремлют черные стога, будто пацуют сытые волы. Они расплываются и исчезают в темноте, но Хома видит их всюду: вот тут, с правой стороны, позади и слева над головой. Сено такое скользкое, гладкое, так хорошо пахнет, что хочется засунуть в него руку, расшевелить мертвые стебли и выпустить на волю заглушенный запах материнки, горошка и донника.

Острый колючий смехок шевелится в груди у Хома, подкатывается к горлу. Ха-ха!..

Поработали руки, находились ноги, пока собрали такое богатство.

И вот один миг...

И не кончает. Он будто видит: ставят копны. Пан прохаживается, как аист. Нагнулся, сунул в сено нос: «Доброе сенцо?» — «Как золото чистое...» — «Сгребайте, люди, сгребайте, чтобы дождь не смочил...» — и смотрит на небо. Засунул руки в карманы, штаны на нем черные, а куртка белая, и вновь зашагал по лугу, как аист.

И смех танцует в груди.

Хома лениво засовывает руки в карман и не вынимает.

Еще успеет.

Ветер шумит среди стогов, пьяный от запаха сена,

тучи ложатся на луг; ночь — будто озеро в берегах неба; а Хома снова видит: стоит перед паном эконо́м, ара́пник — сбоку.

— В этом году у нас больше сена.

— Да, про́шу пана, хватит на зиму, будет и на продажу.

— Будет и на продажу,— говорит сам себе Хома.

Он осторожно надергал сена и встряхнул им. Потом достал из кармана спички.

Ветер гасит огонь, но Хома нагнулся, прикрыл огонек ладонью и загляделся, как лепестками розы зарозовели его руки.

Сено не хочет гореть. Потрескивает и дымит прямо в глаза. Это сердит Хому. Однако сено начинает гореть.

Тогда деловито, спокойно Хома отходит к другому стогу. Сверкнет на мгновенье светляком и вновь сгинет в темноте.

Кончил наконец.

Теперь он хочет смотреть.

Ложится на живот в отаву, кладет голову на ладони и ждет.

Стога отчетливо чернеют; даже закрыв глаза, Хома их видит. Когда ж раскрывает глаза, стога уже окутаны дымом, и такие легкие, подвижные.

Маленькие огоньки начинают играть под ними, как дети в красных юбочках. Они скачут по их бокам и лезут вверх, а черная масса то пригибается под ними, то вырастает вдруг, словно старается сняться и полететь.

Голова Хо́мы тяжело лежит на ладони. Удивительное спокойствие разливается по его жилам, только глубоко где-то, на самом дне, в груди червячком извивается смех.

Стога тем временем растут. Дым расправляет крылья и увлекает за собой огонь. Это уже не дети в красных юбочках, а что-то огромное, упорное, как сердитый зверь, который хочет сбросить с себя груз, протягивает из-под стога лапы в синих жилах, сжимает и подминает под себя, будто медведь. Раскрывает кровавую пасть и пожирает. Рвет зубами и злобствует.

Стога уже вянут, оседают, а он все еще брызжет звездами, как кот слюной, все дышит синим огнем и плещет пламенем в берегах черной ночи.

Хома смеется. Смешок вырвался из его горла и покатился по морщинистому лицу, а от этого Хоме легче на сердце. Пришел огонь и словно выжег в груди большое место.

Огонь! Красный, веселый, чистый!

Еще недавно лежал он в темном коробке, холодный и незаметный, как Хома среди людей, а теперь огонь мстил за мужицкие обиды.

Гори, гори...

Мутные глаза Хомы тоже мечут искры. Если б могли, все сожгли, все превратили в пепел — сено, хлеб господский, постройки, самую землю предали б огню.

Ведь все это грешное... Все грешное на проклятой земле. Все грешное, один огонь святой. А как же. Сам бог в гневе бросает огонь на землю.

Ты наживаешься на мужицком поте и слезах, на мужицкой обиде, поганя землю, а огонь упал — и где это все? Ищи в облаках, ройся в пепле... Ха-ха!..

Злобная радость наполняет сердце Хоме. Ему хочется встать, крикнуть, захохотать. Но что-то его держит, что-то связывает с огнем, и кажется, если встанет или не будет смотреть, стога погаснут, перестанут гореть.

Стога в конце концов покорились. Послушные, тихие, они равномерно пылают, как свечи в церкви. Туча розовеет в небе. Даль бьет черными крыльями, как летучая мышь.

На озаренное поле упали от стогов тени и боязливо дрожат. Вокруг тихо.

Сено дотлевают понемногу. Лишь иногда вырвется с треском сноп искр, либо ветер выхватит обгоревший клоч сена и разметет звездами.

Внезапно далекий шум долетает до Хомы. Верно, бегут спасать. Хома усмехается криво.

Бегите, спешите! Ему не хочется вставать. Все равно. Поймают? Пусть...

Голоса все ближе. Уже слышно, как тяжело дышат люди, как взлетает земля из-под копыт!

Тогда Хома подымается наконец. Потягивается, разминаясь, и лениво, медленно, взъерошенный и черный, уходит в темноту.

Убирали позднюю гречиху, когда в деревне неожиданно появился Гуша. Его не сразу узнали. Он оброс бородой, стал старше и казался немного чужим. Гушу приняли хорошо. Крепко и долго хлопцы жали ему руку, как-то по-новому смотрели в глаза. Даже Андрий был уже не тот. Потрепал по плечу, подмигнул хитро и засмеялся.

— Что, отсидел?

Мол, знаем за что.

Как-то иначе, не так как прежде, мужики говорили:

— Отсидел в тюрьме, больше нас знает.

Его спрашивали — как? что? Что слышно о земле? Что люди говорят и так далее. Он был желанный гость.

Гафийка узнала про Марка от Пидпары. Он сердито жаловался:

— И так от голытьбы житья не стало, а тут еще Гушу выпустили.

Гушу?

У Гафийки остановилось сердце. Хорошо ли расслышала? Едва дождалась сумерек и побежала домой.

Но по пути наткнулась на Гушу.

— Марко!

Не помня себя, протянула к нему руки.

Они горячо обнялись.

Случилось все так неожиданно и просто, будто только вчера расстались.

Гафийка смеялась звонким, отрывистым смехом, точно монисто нанизывала. Сама не знала почему. Рука Марка тепло лежала на ее талии. Борода щекотала лоб.

— Смотри, а у него борода, как у старика...

Они отошли под вербы.

Гафийка была какая-то новая, прозрачная, казалась старше.

— Ты меня не забыла?

— Нет, не забыла.

— Ждала?

— Ждала.

— И разбрасывала листочки?

Голос его дрожал.

— Тебе откуда известно? Конечно, разбрасывала.

Знаешь, Марко, другие люди стали И у нас была забавка.

— Это да!

Гафийка была страшно горда.

— А как же. Богатеи так испугались, так испугались. Мой хозяин ходил как ночь, даже есть перестал. Положит ложку — не могу, говорит. И все боится.

— А отцу твоему и до сих пор обидно, что я не в Сибири?

Гафийка вся встрепенулась.

— Где там! Как стряслась с отцом беда — изменился совсем. «Правду, говорит, сказывал Гуща...» Хорошо, что ты вернулся. Теперь нам легче будет.

— Кому это нам?

Тогда Гафийка рассказала Марку, как они целую зиму собирались, как Прокоп приносил из города книжки и листовки, сколько к ним присоединилось народу. Даже Прокопов дядя, Панас. «Расскажите, говорит, про этих демократов...»

Гафийка рассмеялась, вспомнив дядю Панаса.

— Такой потешный.

Марко взял ее руку в свою.

— Хорошая ты!

Гафийка покраснела, даже ночью видно было.

— Что — я...

Вокруг Гущи скоро стала собираться молодежь. Он всё знает, — сидел в тюрьме. От него впервые услышали, что деревни всюду организуются в союзы. Долгими осенними вечерами велись бесконечные беседы и споры. В своей небольшой группе он завел новость — общую работу. Вместе пахали и молотили — и все выходило лучше и скорее, чем у других. Почему-то сами собой прекратились в деревне пьяное озорство хлопцев, драки и ночная гульба. Те, которые недавно бесчинствовали, теперь втянулись в работу, в общее чтение. Даже старики хвалили Гушу. Они ходили к нему узнавать, скоро ли будет нарезка. Он, наверно, знает. Марко смеялся. Никто по доброй воле земли не отдаст. Как! не будут землю делить? Что ж тогда будет? Что им делать?

Только у господского пастуха Хомы на все был готовый ответ.

— Как что делать? Бить. Не оставлять и семени их...

Андрий из-за плеча Хома подымал искалеченную руку, грозил ею и взвизгивал:

— Бить и жечь! Хочешь, пане добродзею, отведаць меду — выкури пчел...

Кого им слушать?

Гуца говорил о союзе. Прокоп — о воле, а Хома советует бить и жечь.

Панас Кандзюба, тяжелый и серый в своей свитке, как земля, которую отвалил плуг, тоскливо спрашивал глазами: куда итти? где правды искать?

Он никому не верил.

— Разве мужик знает?

Если б пришел кто-нибудь другой, знающий, протянул руку, указал путь.

А мужик? Что знает мужик? Одна на нем шкура, да и та в заплатах.

Каждую ночь теперь пожары. Как только стемнеет и черное небо плотно укроет землю, далекий горизонт сейчас же расцветает красным заревом и до самого утра осенние тучи, как розы. Иногда зарево дальше, едва заметное, чужое, будто луна там восходит, а иногда вспыхнет под самой деревней, даже хаты розовеют и рдеют окна.

Выйдет Маланка из хаты, спрячет руки под фартук и заглядится на пожар. Что горит? Где? Люди не спят, хотя пора б уже им спать. Стоят у ворот, читают небесные знаки. Раздаются голоса из темноты, кто знает — чьи, и замолкают во тьме.

— Пан в Переорках горит.

— Где там! Ближе — вроде как в Млинищах или в Рудке.

— Поджог, видно...

Собаки воют по дворам, и уныло и страшно осенней ночью.

— Вчера сгорела экономия в Гуте.

— А позавчера клуню кто-то поджег...

— Сгорела, рассказывают, дотла... один пепел...

Случалось, огонь подавал весть огню. Как только

займется где-нибудь небо — с другой стороны встает сейчас же красный туман и расправляет крылья. Тогда черная деревня — как остров в огненном море. Ветер иногда доносит чад, далекий колокольный звон, тревогу.

Что делается, господи боже!.. Горят все господа, генералы, важные «особы», к которым прежде и подступиться нельзя было, и никто остановить не может...

Бродили ночью люди, как тени, плакали дети, и скот отвечал им из хлебов. Огонь то подымался, то опускался, будто дышала грудь, вставал сном, расплывался туманом, и цвели тучи на небе, будто розы.

Маланка трепетала.

— Иди спать, — сердился Андрий.

— Страшно, Андрий...

— Чего там страшно! Так им и нужно.

Но Маланка не могла спать. Еще долго раздавался топот ног на улице, слышались чьи-то слова, светились маленькие окна и тоскливо выли собаки.

Утром дым кочевал над деревней и шекотал ноздри. Люди дышали гарью и смотрели на панскую усадьбу.

Лукьян Пидпара даже почернел. Каждую ночь снимает со стены ружье и идет на поле под клуню. Ходит страшный, высокий, за ним волочится его тень, отделяющая от него огни пожара, а Пидпара все слушает. Из-под косматых бровей вдаль кидает взгляд, а уши чутко прислушиваются к малейшему звуку. Вот обошел он вокруг клуни и вдруг останавливается. Что-то чернеет в поле.

— Кто там?

Поле молчит, обессиленное летом, спит мертвым сном, рыжее, ободранное.

Пидпара снова ходит. Оттуда, из огненного моря, идут на него все страхи, все тревоги, а он крепко сжимает ружье и бросает в пасть ночи.

— Кто идет? Буду стрелять.

Стоит крепкий, как из железа, и целится в темноту. Нет никого или притаились?

Стреляет.

«Ох-ох-ох...» — стонет тьма над полем, и громче завывают собаки в деревне.

А Пидпара снова ходит, стережет клуню, суровый



бесстрашный, готовый защищать свое не ружьем только, а и зубами.

Дожди шли ежедневно. Выскочит солнце на миг на голубую полянку, чтобы обсушиться, глянет на себя в лужу, и снова ползут на него тяжелые растрепанные тучи. Какие-то желтые мутные дни рождались после беспокойных ночей. А люди прятались под свитку и под рядно, выворачивали шапки козым мехом вверх и меси́ли грязь. Прежде непогода загоняла их в хату, теперь что-то гнало их оттуда к людям. Каждый хотел видеть человеческое лицо, услышать голос. Мало спали по ночам. Одни не могли оторвать глаза от далеких пожаров, другие выгоняли скот на панское поле и не спали, чтобы быть наготове. Правда, после того как эконом едва убежал с поля в разорванной одежде, никто уже не решался задерживать лошадей и они с аппетитом грызли молодые всходы, омытые дождями.

Люди словно забыли свою ежедневную работу. Движение в деревне было необычайное. Свое поле интересовало мало. Оно казалось таким небольшим, жалким, недостойным внимания и лежало запущенным, незасеянным, невспаханным даже.

В сборне было тесно: свитки так жались к свиткам, что от мокрой одежды валил пар. Слухи и пересуды, неведомо откуда появившиеся, соединялись в одно, росли на глазах, как тесто в квашне. Сухие бессонные глаза глядели каждому в рот, ухо внимательно ловило каждое слово. Что будет? Как будет? Всюду подымается народ, бунтует, хочет чего-то, рабочие бастуют, бросают заводы, чугушка не ходит. Что же им сидеть сложа руки, ждать, чтоб о них кто-нибудь позаботился.

У сборни толпились пришедшие позже и старались попасть в дверь.

— О чем они там кричат? Надо, чтобы все слышали.

— Видите ж — тесно. Не поместятся все...

Когда проходил кто-нибудь из богачей, Мандрыка или Пидпара, те, которые мокли у крыльца, точили лясы на их счет.

— Заходи, услышишь, как твою землю делят.

— Не слушай, похудеешь с досады.

— Ничего с ним не будет. Бедный работу клянет, а у богача дузо растет.

— Бедный теряет, богат подбирает.

— Ничего. Все переменится. Доведется и свинье глянуть на небо...

— Как станут смолить.

Мандрыка невесело усмехался и мелко перебирал ногами. Пидпара хмурился и бранился.

Гуща часто где-то пропадал. Возвращался в грязи, мокрый, но веселый. Гафийка встречала его за огородом Пидпары.

— На станции был. Бастуют. Уже второй день машина не ходит. Рабочие собрались и советуются. Ну и народ. Надо и нам созвать людей.

— И Прокоп то же думает.

— Нельзя терять времени.

— А где собраться?

— Может, в лесу? По ту сторону балки...

— Ямищан зовите.

— Позовем всех.

Марко хотел уходить.

— Постой, я что-то покажу...

Гафийка вдруг покраснела, она стояла в нерешительности.

— Что там? Показывай.

Гафийка отвернулась от Гущи и что-то вытащила из-под корсетки.

— Держи.

Он взялся за один конец, и тогда развернулась красная китайка. «Земля и во...»

— Еще не кончила вышивать.

Она застыдилась, даже слезы выступили на глазах.

— Я так... Марийка распоролла новую юбку и вышила тоже, еще лучше...

И замолчала.

Виноватые глаза несмело искали глаз Марка.

Теплый туман стлался по полю и наполнял балку до самых краев, так что деревья утопали в нем.

Ствол чернел в лесу или мелькал человек — трудно было угадать. Лишь там, где плечо касалось плеча или слышалось позади теплое дыхание, люди твердо знали, что они не одни. Только чувствовалось, что из тумана

льется в лес живая струя людей, как вода в долину, что волны прибывают и сливаются вместе.

— Кто там пришел?

— Это мы, ямишане.

И снова текли струи и мягко шелестело в лесу.

— Кто там?

— Не бойтесь. Свои.

Уже чувствовалось, что и вдалеке, так же как тут, дышат груди, тело касается тела и что-то живое объединяет близких и далеких, как волна объединяет отдельные капли.

Чиркнет кто-нибудь спичкой, на мгновение покажется из темноты десяток серых лиц, вздрогнет туман, и заиграет, как риза в церкви, желтая осенняя ветка.

— Чего молчат? Пусть говорят...

— Говорите... говорите...

Огромное тело колыхалось в тумане, и от края до края одна кровь переливалась в жилах.

Все равно кто говорит. Лишь бы услышать, наконец, то, что связало бы все разрозненные мысли, слило бы надежды в один поток и указало, куда идти.

— Земля!

Зазвенело слово, как высокая струна, и настроило сердца.

Старое, знакомое, близкое слово. Это не тот серый, сухой клочок, который, как пиявка, высасывает из человека силы, а сам родит один репей; это что-то чарующее, влекущее, что испокон веков манит истомившуюся душу, переливается, играет на солнце, как мечта, как нечто несказанное, отчего изменилась бы судьба и выше поднялись воды жизни, выступая из берегов.

Земля — дар божий, как воздух, как солнце...

Земля общая. А кто ею обладает?

А кто же ею обладает? Пан, богач.

Есть поле у богатых, но есть и бедный мужик, у которого ничего нет, кроме рук и ног. Только свои четыре конечности...

В тумане то тут, то там, как островки, возникали глухие голоса:

— Теперь скажем так: мне нужна земля — ведь своей нет — и тебе нужна... А пан это видит и подымает цены...

— Не пан подымает, а сами деремся из-за аренды, ведь не возьмешь — так возьмут люди. Никто не хочет с голоду пропадать — вот и платишь...

— Все равно пропадаешь... Земля и затраченного на нее не оправдывает, голодная не хочет родить. А что уродилось, все взял пан.

— Пропадает твоя работа... А на следующий год снова идешь к пану, себя обманываешь.

— Страшна неминуемая смерть...

— Слушайте, слушайте! Будет вам там!

Земля принадлежит трудящимся. Кто богатому дал его богатство? Мы, мужики. И откуда сила у него? От нас, мужиков... Деда наши, отцы и сами мы всю жизнь работали на пана. Разве мы не заработали себе землю?..

И опять в тумане звенели отдельные разговоры, как затронутые струны.

— Подати плати, солдата дай, чтоб землю нашу от врага защищал... А что же мне защищать, если у меня земля нет? Сделай сперва так, чтобы была у меня земля, тогда и бери солдата, если есть у него что защищать?..

— Разорим насиженные гнезда, как делают другие, выкурим богачей, чтобы не решались вернуться, тогда миру свободнее будет, тогда у нас будет земля...

Панасу Қандзюбе очень хотелось высказаться. Он уже несколько раз крикнул: «Люди! Крестьяне!», но ему не давали говорить:

— Молчи, мешаешь.

А он уже лез на дерево, неуклюжий в свитке, как медвежонок, даже хрустели ветки.

— Люди, христиане!

— Кто там говорит?

— А кто его знает...

— Христиане, мы долго терпели. Оно верно, что паны толстобрюхие за людей нас не считают, словно львы рыкают на мужика; народ разорили, да еще и охотятся за нами с солдатами и полицейскими всякими. Точно за зверем. Но потерпим еще немного. Подождем великой милости и справедливости.

— От кого?

— Знаем! Ждали!

Вздоргнул туман будто, и всколыхнулось что-то внизу и вот-вот плеснет в берега.

— Нет терпения! Лопнуло...

Панас слез уже на землю и виновато обращался к соседям:

— Да я что? Я согласен... Я на все согласен... Как люди...

— Отыскался умник, потерпим, говорит.

— Тише, пусть продолжает, кто начал.

— Говори, Гуца.

Внизу шумело, точно поток весной катил камень и рыл берега.

А из тумана, как из облака, возникал голос и падал среди людей.

— Вся земля наша, испокон века, ведь каждый комочек, каждый вершок полит потом, удобрен потом трудящихся. Отберем землю, и тогда у каждого трудящегося будет вдоволь хлеба себе и детям.

Вот настоящие слова: отберем землю...

Они упали среди такой тишины, что слышно было, как устраивалась птица в гнезде или спросонья была крылом на верхушке дерева.

Отобрать землю!

Эти два слова до сих пор лежали на дне каждого сердца, как сокровенный клад, а теперь, добытые оттуда, стали чем-то живым и звали: идем за нами, мы поведем.

Не разорять и не жечь, а отобрать. Огонь что возьмет, того уже не отдаст. Идем и отнимем свое, неправдой взятое у нас и у отцов наших. Отберем хлеб свой кровавый, для роскошества оторванный от голодного рта.

Груды так глубоко вздохнули, что даже лес ответил.

Огромное тело разрасталось, будто бы выпрямляло затекшие ноги и руки. Ощущало силу. И благовестило в нем, как колокол на пасху. «Будет земля... Отнимем землю...»

Ту самую землю, которая, как далекая мечта, только манила и не давалась в руки, которая играла перед глазами, как марево в зной...

Теперь она близко — протяни руки и возьми.

И не хотелось расходиться из лесу, рвать на части могучее тело...

Неспокойно было в селе. С той ночи, когда, собравшись в лесу, постановили отобрать господскую землю, прошла целая неделя, а люди колебались. Все напряженно ждали, а чего именно — никто хорошо не знал. Одни одно говорили, а другие другое. И эти разговоры плелись, как сеть, без начала и конца. Бастовала чугунка, бастовали рабочие, всюду было глухо, мутно, пусто как-то, и только грачи черной цепью крыльев связывали с остальным миром деревню.

Что-то творилось вокруг. Будто приближалась грозная туча, а откуда придет, где выпадет град и что побьет — неизвестно. Тяжело, тревожно дышала степь в эти хмурые дни, беспокойно проходили длинные, осенние ночи. Если бы кто-нибудь крикнул — спасите, караул, — раздался б неожиданно набат или прорезали густой воздух ружейные выстрелы, люди выбежали бы из хат и бросились очертя голову друг на друга!

Гафийка не могла спать по ночам. Как только смеркалось, Пидпара запирает дверь в сени, пробовал долго, крепки ли запоры, и, прежде чем ложиться, снимал ружье, клал возле себя топор.

Тушился свет, но Гафийка знала — хозяин не спит. Слыхала, как он беспокойно шевелился на лавке, тяжело сопел, садился и прислушивался.

Потом снова ложился и лежал, притаившись, но вдруг вскакивал и шарил по полу рукой, пока не находил топора. Снова тихо становилось тогда, под лавками пищали мыши, уже перебиравшиеся на зиму в хату, да тараканы шелестели по полкам. Но Пидпара не спал. Гафийке казалось, что она видит его открытые глаза, устремленные в темноту.

Наконец Пидпара вставал и выходил. Гафийкино сердце колотилось, и в такт его ударам раздавались шаги Пидпары около сарая, возле стожков или под стенами хаты.

Хозяин иногда выбирался на ночь в поле, под клуни. Тогда хозяйка снова бродила всю ночь, боялась, стонала, охала и шаркала башмаками от окна к окну.

С работниками Пидпара обходился лучше, не бранился, не подгонял, как прежде, но в спину им всегда глядел подозрительный глаз, или во время разговора

внезапно вставала за ними тяжелая, как колокольня, фигура Пидпары и отбрасывала тень.

Гафийке иногда становилось так тяжело, что она проспала на ночь домой.

Маланка ложилась не рано. Андрий вечно был где-то на людях и возвращался поздно. А Маланка весь вечер мечтала. Что-то будет. Придет что-то прекрасное и переменит жизнь. Что-то случится внезапно — не сегодня, так завтра. Ей не хотелось ничего делать, и сложив руки, как в воскресенье, она вышивала словами хитрые узоры. Вместе с Гафийкой она становилась на пороге в сенях и долго смотрела, как всюду светятся окна по деревне. Там, в каждой хате, чего-то ждут, готовые вспыхнуть, как сухой хворост. В каждой хате цветет надежда, растут ожидания.

И, наверно, никогда еще так много не выходило керосину, как в эти длинные тревожные осенние ночи.

Ветер прыгал с разбегу, рвал голоса и выл, а бледное солнце, показавшись на миг, высыпало из-за туч на землю свое последнее золото.

Гафийка ловила белье, разметанное ветром по двору, как стадо белых гусей. Хозяйская рубашка надувалась, катилась круглая, будто беременная, рукавами лова землю. Ветер свистел Гафийке в уши, и ей казалось — ее зовут.

Нет, в самом деле зовут. Она оглянулась.

У ворот махал ей рукой Прокоп.

— Чего ты?

Она не слыхала, что он говорит.

— Что там такое?

— Неси твой флаг.

За воротами было полно народу. Тут была и Маланка со своими высохшими руками, и неуклюжий Панас Кандзюба, и дети, скакавшие под плетнем, как воробы.

— Быстрее выноси!

— Что случилось?

Гафийка бросилась в хату.

Несколько рук протянулось к Гафийке, но Прокоп взял сам.

Он уже привязывал красную китайку к древку.

Народ нетерпеливо гудел. Все ж дождалось. Пришел манифест.

Пидпара стоял на пороге хаты, черный, как тень, подпер плечом косяк и молча глядел.

Наконец флаг подняли.

Красная китайка затрепетала на ветру, и запрыгали на ней слова, будто живые.

Земля и воля!

Все подняли глаза, и что-то прошло по толпе, словно вздох.

И двинулись дальше. Гафийка забыла о белье. Она шла вместе с толпой, точно во сне. Что-то произошло. Ожидаемое, правда, желанное, но неясное. Какой-то манифест.

Рядом с ней Прокоп, ей казалось, что он сразу вырос; его большие натруженные руки спокойно держали древко, ноги ступали твердо.

Из серого гомона вырывались отдельные слова:

— Слава богу, дождалось люди...

— Всем будет, всем хватит! — звенела Маланка. Ветер рвал эти слова и бросал назад.

— Всем хватит, наша земля...

— Теперь, пане добродзею, отольются волку овечьи слезы.

На красном лице Андрия седые усы белели, как два голубя.

Панас Кандзюба сиял:

— Обуем, Андрий, пана в постолы!..

— А как же!

Под плетнями красные детские ноги разбрызгивали грязь.

Дети забегали вперед и пищали:

— Земля и воля! Земля и воля!

Знамя трепетало, словно огонь на ветру.

Из хат высыпали люди. Они снимали шапки, крестились и присоединялись. Встречных заворачивали назад.

— В сборню! Там манифест!

Дорога заполнилась народом.

Было новое что-то в людях. Глубокие глаза горели на серых лицах, как восковые свечи в церковном мраке.



Гафийке казалось, что она понимает каждую душу и каждую мысль, как свою собственную. Что-то торжественное было в трепете знамени, в тихой грусти осеннего солнца, в взволнованно-светлых лицах.словно в темную весеннюю ночь пылали восковые свечи в руках и плыло к звездам «Христос воскрес».

Внезапно передние остановились.

Из-за угла показался другой поток и преградил дорогу. И там красный флаг был впереди.

Прокоп высоко поднял свое знамя.

— Земля и воля!

— Земля и воля! Будьте здоровы, с праздником.

— И вас также...

Все смешались.

Маланка уже обнимала кузнечиху.

— Кумушка, кума...

Не могла говорить.

Они целовались. Сухие Маланкины руки тряслись на толстых кузнечихиных боках.

— Слава тебе господи, слава...

Ветер сорвал у кузнечихи с кончика носа слезу.

Двинулись дальше. Теперь два знамени, соединившись, поплыли вместе. Они волновались, они изгибались, как окрыленное ветром пламя.

Народ облепил сборню так тесно, что свитки слились в одну общую волну и нечем было дышать. На крыльце читал что-то Гуца. Он уже устал, охрип, но те, которые пришли позже, тоже хотели слышать. Дальние вытягивали шеи, прикладывали ладони к ушам. Передние не хотели никого пропускать, чтобы еще раз услышать. А люди все шли и налегали друг на друга грудью.

— Что ж он читает — воля, свобода, а где же земля?

— Разве не слышишь? Он только про землю и читает.

Низенькую Маланку совсем затерли. В тепле, в испарениях человеческих тел ей совсем хорошо. Она не слушает. Зачем? И так известно. Это уже все знают, что землю отдали людям. Лучше б, чем тут стоять, пойти всем вместе на панское поле, пустить по нему плуг. Посмотреть скорее, как он взрезает безграничные

поля, отваливает пласт, наделяет людей. Вот твое, а это мое... Чтоб поровну всем. А они тут стоят! Смотрите! Даже Андрий поднял искалеченную руку, показывая ее мужикам, чтобы не забыли про него. А давно ль проклинал землю? Ну, это дело прошлое. Теперь она добрая, зла не помнит, не сердится на Андрия. Сама земля улыбается ей, говорит с нею. Вон как играет на солнце рыжим жнивьем.

У сборни собрался весь мир.

Село опустело. Одинокое извивались между хатами грязные дороги, словно ползли черные змеи, ветер выдергивал солому по стрехам, а на разрытые огороды спускались тучи ворон.

Какая-то баба, выбравшись из хаты, держалась за стены и сердито кричала в пустоту:

— Где люди? Горит что? А!

Никто не отвечал ей. Только ветер стучал дверьми покинутых хат, коровы блуждали по дворам да грязлись собаки в грудах листьев.

Народ понемногу возвращался из сборни.

Двое идут.

— Слыхал? Свобода, воля, а какая воля?

— Откуда я знаю? Бить панов.

— А я понял сразу. Дадена воля, чтоб черный народ истребил панов. Которых, значит, мужики кормят...

Бабы:

— Как будут отбирать экономию у пана, я возьму одну рыжую корову.

— А мне б только пару гусей на развод. Такие хорошие гуси...

— Будет что взять. Не возьмем мы — возьмут чужие, а пан-то ведь наш...

— Известно. Не дадим никому своего.

Хлопцы вдруг огласили улицу песнями.

Около хат богатеев они останавливались, подымали в воздух знамя и громко выкрикивали лозунги:

— Земля и воля!

— Если попрытались, пусть хоть услышат. Это им — как перец собаке...

Гушу и Прокопа едва не разрывали. Как же это будет? Скоро начнут делить землю? А купленную землю отберут?

Марко хрипел, едва успевая отвечать на все стороны, а Прокоп был спокоен, как всегда.

Маланка ловила его за полы.

— Прокоп, слушай меня... Это я, Маланка... Подождите ж, мужики, дайте сказать. Слышишь, Прокоп, слышишь... Чтоб мне отрезали поближе, там, где пшеница родит... Смотри, не забудь... Слышишь, Прокоп, а?

Она все кланялась, сухая и маленькая, охваченная одним непреодолимым желанием.

Каждый день приносил какую-нибудь новость. Там экономию разнесли до основания, там сожгли водочный или сахарный завод, а в другом месте рубили панские леса, пахали землю. И ничего за это не было. Паны спасались бегством, исчезали перед лицом народа, как солома в огне. Ежедневно ветер приносил свежий дым, а люди — свежие рассказы, и никто больше не удивлялся. Вчера это была сказка, сегодня действительность, — что ж удивительного в этом? Правда, винокуренный завод панича Лели, экономия пана мозолили глаза. Чего еще ждут?

— Разве мы хуже людей? Уже ж решили.

Недовольны были, но брали верх Гуша и Прокоп.

Однако по вечерам кое-кто запрягал лошадей и порожняком украдкой выезжал на ночь из села. Ходили и пешком. Засовывали топор за пояс, брали мешок подмышку и тянулись по полю в соседние деревни за панским добром. Ночью по грязным дорогам беспрестанно катились фуры, нагруженные мешками с зерном, картошкой, сахаром. Пешие возвращались конными, верхом на горячих лошадях, или гнали перед собой корову. На другой день спали до полудня, и только по колесам, запачканным в навозе, соседи угадывали, что тот или другой ездил ночью за добычей. Иногда дети играли новыми игрушками — осколками пузырьков, дверными ручками, или молодича шила на зависть другим роскошный очипок из материи, которой паны обивали мебель.

Ходила и Маланка.

Она едва приволокла мешочек муки, тяжело дышала и стонала.

Андрей уписывал вкусные паляницы да все похвалявал, но Маланка не ела.

— Почему не ешь? — удивлялся Андрей.

— Не могу. Чужое оно.

— Зачем же ты брала?

— Все брали, взяла и я.

Мука мешала Маланке, как покойник в хате. Она не знала, куда ее деть. Богатеи притаились. Их точно вовсе не было в деревне.

— Что-то наших верховодов не слышать, испугались, сидят по хатам, — смеялись люди.

Но там, где их было много, они не молчали. Панас Кандзюба, вернувшись от сестры из Песков, рассказывал:

— Прихожу в село, будни, а люди — в церковь. Остановили и спрашивают — что и почему, зачем пришел, к кому. Осматривают, будто я вор. Ну, хорошо. Зять тоже в церкви. Сестра едва на ногах стоит, идет, шатается, а глаза красные да мутные. Ах, боже... «Что с тобой, говорю, больна?» А она в плач: «Не больна, говорит, боюсь. От бессонницы извелась. Пятую ночь не спим, не гасим огня, опасаемся, как бы не задремать. Ждем, когда придут». — «Кого ждете?» — «Гольтыбы. Передавали — ждите нас, будем жечь. Чтоб не было ни бедных, ни богатых, одни средние. Страх берет людей. Днем еще ничего, видно — кто идет, кто едет, а приходит ночь — бережемся. Вчера вышел мой на улицу, уже солнце садилось, вдруг скачет кто-то верхом. Мой на колокольню, ударил в набат. У меня сердце так и упало. Это ж поджигатели. Сбежались люди, стащили верховых с лошадей, связали, повели в сборню. «Жечь хотите нас? Бей их!» Те кричат: «Мы сами гонимся, говорят, за поджигателями». Никто не верит. Да уж церковный староста спас. Если б не узнал, убили б». Рассказывает сестра, а сама вся трясется. Ах, боже...

А тут зять пришел из церкви. Синяки под глазами, видно уморился. Ну хорошо. Какой у вас праздник нынче? — спрашиваю. «Праздника нет, а люди молебен служили, чтоб отвратил бог беду. Одна надежда на бога».

— Ну, сидим, разговариваем о том о сем, а зять нет-нет и клонет носом — дремлет. Сестра тоже едва

продерет глаза, чтобы слово вымолвить. Уже смеркалось, — какой теперь день, — поужинали, свет горит. Пора бы и спать — не спят. Вышел из хаты — по селу огни, никто не ложится... Ах, боже... Так как-то не по себе стало мне, страшно. А наши сидят. Заскребется под лавкой мышь, а они уже наострили уши. Не рано, уже все сроки прошли ложиться, не спят. Слышим, петухи поют, а в окно видно, как среди ночи всюду мигает свет по селу. Когда вдруг что-то — бах! Стрельнул кто-то из ружья. Так по селу и покатилось. Ну, хорошо. Сестра застыла на месте, только руками схватилась за грудь, а зять вскочил — и в сени. Схватил железные вилы — и дальше. А я за ним. Бегу и вижу, как из хат выскакивает народ. Кто топор держит наготове, кто вилы, а иной ружье. Ах, боже... Куда бежать? Где? Кто стрелял? Выбежали за село, какие-то люди стоят. Не спрашивали, бросились бить. Били смертным боем, куда попало, пока не отогнали. До самого рассвета никто уже не спал, а утром пошли смотреть. Восемь лежало готовых, один был еще теплый, стонал... Ах, боже...

Назначено было сойтись на площади у сборни. Гуша пришел раньше. Он тревожно бродил под крыльцом и все посматривал. Прокоп уже был здесь.

— Не сходятся что-то, — тревожится Марко.

— Еще рано, придут.

Однако и Прокоп волновался. Нелегко было утихомирить народ. Вокруг были погромы, пожары, пронесшиеся по деревням огненным ветром, все захватившие своим вихрем. Люди не хотели отставать от других, от соседей, и немало потребовалось труда, чтоб остановить их. Но Гуша и Прокоп победили. Они доказали людям, что не надо жечь и разрушать народное добро. Не пан ставил дома, — мужичьи руки укладывали бревно на бревно, балку на балку; и все это должно было теперь служить мужикам. Сегодня должно было решиться, кто победил — они или Хома, подбивавший все уничтожить и все жечь.

Народ понемногу стягивался. Вот показался Семен Мажуга во главе целой толпы. Панас Кандзюба тоже вел мужиков. Площадь наполнилась и начинала шуметь.

Марко пожимал всем руки, ему было душно, что-то подкатывалось к горлу, и, услышав свой голос, он его не узнал.

— А знамя принесли?

— Вот оно, есть! — откликнулся Мажуга и, развернув, поднял.

— Все пришли?

— Все.

Можно было выступать. Но не выступали. Только когда флаг качнулся и тихо поплыл в воздухе, зашевелились и пошли. Ноги шуршали по грязи, словно шептались раки в мешке, а кособокие хатки, бедные, ободранные, как-то недоуменно глядели на этот поток.

Панская усадьба дремала сонная и пустая. Там будто никого не было. Только псы заворчали и попрятались.

Народ влился через ворота во двор, словно вода сквозь горлышко бутылки. Из конюшни показался кучер. Гуща велел позвать пана.

— Пана нет.

— А где же он?

— Сбежал ночью.

Волна прошла по народу.

— Сбежал! Ну, хорошо. Пускай выйдет приказчик.

Ян вышел из конторы бледный и без шапки. Его холодные глаза тревожно заметались по людям. Он бессознательно отступил назад. Но Гуща остановил его, выташил из кармана бумагу и начал разворачивать. Среди необычайной тишины слышалось только, как шелестели листочки. Казалось, что Гуща слишком долго это делает. Наконец он кашлянул, выпрямился и высоким, будто чужим голосом приступил к чтению. Все уже знали этот приговор, но теперь он казался новым, торжественным, как слова, слышанные ими в церкви. Так, так. Уже знали, что с нынешнего дня земля не панская, а мужицкая, что народ берет ее назад в свою собственность. Отбирает ниву, освященную трудом дедов и внуков.

Все слушали молча, затаив дыхание.

Гуща кончил и обратился к Яну:

— Ты нам не нужен. Укладывайся и убирайся.

Ян хотел что-то сказать, но не мог. И только беззвучно шевелились его побелевшие губы да чего-то искали дрожащие руки.

Он пошатнулся и, как пьяный, направился в контору. Но там не остался. Через минуту выскочил, испуганно взглянул на толпу и хрипло крикнул:

— Мусий! Запрягай бричку.

Панаса Кандзюбу это взорвало.

— Бричку! А телеги навозной не хочешь? Слышите, мужики, он хочет бричку!

Народ словно проснулся. Послышался смех.

— Вишь, захотел! Прошло его время...

— Не давать бричку.

— Готовь, Мусий, телегу.

— На которой навоз возят.

Мусий бросился к телеге.

Но Ян не захотел.

— Не надо лошадей. Пустите, пешком пойду.

— С богом!..

Эконом надвинул шапку и как-то боком прошел сквозь толпу. Его глаза, будто захваченные врасплох мухи, с ужасом встречали каждое лицо, руки готовы были защищаться, но никто его не тронул. Наконец, когда Ян очутился за воротами, всем стало легче, точно соринка выпала из глаза.

Нало было принимать экономию.

— Как будем принимать?

— Выберем троих. Пускай хозяйничают. Там будет видно.

— Довольно троих. Прокопа, Гуцу и Безика, может...

— Нет, лучше Мажугу...

— Пишите приговор.

Олекса Безик вынес на середину двора стол. Гуца устроился за ним.

Стояло серое осеннее утро. Все было серым. Небо, далекое поле, голый вишняк за домом, постройки и мужики. Запах конского навоза и свежих яблок крепко держался в воздухе.

Стался шум. Маланка никому не давала покоя. Надо б написать, чтоб скорее делили землю, чего ждать. И так довольно ждали. Пусть каждый уже знал бы, что принадлежит ему и где. Ее глаза горели, и она всем надоела. Запах яблок щекотал ноздри. Почему бы не отведать? Хотя оно и народное добро, как говорит

Гуща, но в доме, наверно, много любопытных вещей. Наливок, мягких подушек, посуды да всяких чудных безделушек, которых мужику и видеть не приходилось. Неужели все это и останется там же? Молодицы заглядывали в окна. Ключница будто догадалась, вынесла из погреба две корзины яблок и всех угощала.

Тем временем Гуща кончил. Народ подходил долго, и долго тяжелые рабочие руки выводили каракули или ставили крест, чтобы было крепко.

Прокоп созвал всех господских работников, отобрал ключи.

— Кто не хочет служить обществу, может уйти из усадьбы.

Не захотели ключница и кучер. Их не удерживали.

Усадьба понемногу опустела. Остались только избранные — Прокоп, Гуща, Мажуга. Панская усадьба перешла к народу.

Никто так искренне не заботился о «народном добре», как Прокоп. По целым дням он бегал от гумна к конюшне, от скотного двора к току, выдавал работникам харчи, лошадям овес, зерно птицам. Всюду сам смотрел, приводил в порядок. И все записывал в книжку, чтоб знали, что, куда и сколько пошло. Качал головой, удивлялся. Какой беспорядок! Нет, таки пан плохой хозяин. Гибло добро без хозяйского глаза. Надо хлеб молотить, а машина и до сих пор стоит в неисправности. Плуги заржавели, нет лемехов, на лошадях порванные шлеи. Все требует труда и денег, а денег не было. Тогда посоветовались, и Прокоп повез продавать пшеницу.

Все трое поселились в конторе, в тех комнатах, где жил эконом. Жена требовала, чтобы Прокоп ночевал дома. Ей было чудно без хозяина в хате, но он и слушать не хотел: его выбрало общество.

По ночам ему не спалось. Выходил из конторы, углублялся в густоту осенней ночи и прислушивался, как сторож колотил в доску. Было странно и радостно вместе с тем. Еще недавно мечтал об этом, теперь исполнилось. Жизнь к людям повернулась лицом. Справедливость взглянула в глаза. Не будет больше ни бедных, ни богатых. Земля всех кормит. Народ сам станет кузнецом своего счастья, лишь бы не мешали. Вот эти дома, панские покои, по которым прежде бродил один ненасыт-



ный, жадный человек, теперь пойдут под школы. Тут станут собираться мужики, там будет чтение. Ему рисовалась новая жизнь, ночь расступалась, сияли огнями окна, шум раздвигал стены, распрямлял грудь...

Еще не светало, а Прокоп будил работников, звенел ключами.

В руках у него вечно белела книжка. Он заносил в нее каждую народную копейку, каждый колос.

Из деревни приходили люди.

— Ну, как там экономия наша?

Всем было интересно, как ведется хозяйство, что управители делают; лучше ли разделить землю среди людей, или, может, сообща обрабатывать поля и тогда уже делить хлеб. Маланка чуть ли не во весь голос кричала, чтобы скорее делили. Им объясняли, водили на ток, на скотный двор, советовались, подо что пускать постройки.

— Тут бы стоило школу устроить,— говорил Прокоп.

Но Гуша шел дальше:

— Школу имеем уже, устроим лучше народный университет.

Люди соглашались на всё — на школу и на университет. Пусть учатся мужики, не все же одним панам.

Панас Кандзюба смотрел на поле, начинавшееся у ворот и упиравшееся в горизонт, и все вздыхал. Ему было досадно, что пан сбежал, что он не увидит «пана в постолах».

А в поле вечно бродили какие-то фигуры и чернели на сером небе. Это нетерпеливые меряли землю, чтобы узнать, сколько придется на душу.

Маланка, подоткнув юбку и согнувшись, переставляла, как цапля, ноги по глинистой пашне.

Хома смеялся, и нехорошо смеялся:

— Стережете панское добро? Ха-ха! Охраняйте, охраняйте, чтоб не пропало. Поблагодарит пан, когда вернется. А как же...

Зеленоватые глаза его прыгали, как лягушки на болоте.

— Вы думаете, пан сбежал, так уже и конец ему? Как же! Такой не пропадет. Нагонит казаков полно

село, да и шась в теплый дом. Спасибо вам, мужики, что сберегли. На твоей спине запишет благодарность. Нет, если хочешь делать, делай так, чтоб у него не было охоты возвращаться, чтоб ему пустотой в нос било. Выкури дымом и огнем... Сравняй все с землей, чтобы было голо, точно ладонь...

Хома тыкал грубым пальцем в ладонь:

— Вот!.. Как ладонь.

Те, которым снились панские коровы, породистые гуси и другое добро, ловили слова Хома.

Верно. Если бы не выдумывал Гуша, у них все было бы так же, как у людей. Станут ли еще делить землю, или нет, кто его знает, а тем временем какая польза мужикам?

Андрий подымал изувеченную руку:

— Где ж правда? С нами так поступают, а мы что же им за это?

И посматривал на водочный завод. Его раздражало, что он еще стоит, гордо подымает трубу, из которой весело валит дым, будто издевается.

— Пан убежал, а панича Лелю на развод оставили. Пусть гонит пане добродзею водку. Хе-хе!

Хома сердился и тяжело дышал.

— Ясно. Так и будет стоять, что с ним сделаешь?

Но Хома знал, что сделать. У него разговор короткий.

— Сжечь.

И «сжечь», как ветер, со свистом вырвалось у него сквозь зубы.

Казалось чудом, что завод еще стоял. Только мозолил глаза. Всюду по деревням покончили с панами, всюду дымились развалины, а тут винокуренный завод. Куда ни посмотришь — он. То трубу увидишь, то дым, как черный косматый змей, трепещет в воздухе. Ночью гудит гудок, и горят окна, как волчьи глаза, и ничего не изменилось на заводе, будто ничего и не произошло. Что за напасть! Теперь мужицкое право, не панское. Всюду разгромили панов, — и все обошлось хорошо. Даже посторонние смеются. Если б не Прокон да не Гуша — давно б уже был всему конец. А панич Леля? Какая польза от него? Как сосал народную кровь, так будет и дальше сосать. Андрия обидел, неужели ждать, пока и с другими то же самое приключится?

Андрей, как и прежде, жаловался, но теперь его рука стала лозунгом.

— Смотрите, что делают с нами на заводе!

Брали его руку и внимательно рассматривали бесплатную культяпку, будто видели впервые.

Панский пастух шатался всюду, и везде, где он появлялся, его зеленые глаза волновали народ.

Даже сторонников Гущи.

— Чем мы хуже других?

В среду знали уже, что это будет в четверг. Хома ходил от хаты к хате.

— Как ударят в колокола — выходи. Кто не выйдет — сожгу.

Он был на все готов; видно было — не шутит.

Поздно под пятницу горел свет, как в пасхальную ночь. Люди молча готовили топоры, колья, железные лопаты. Детские глаза следили с печи за каждым жестом старших.

Иногда, когда звенела лопата, задетая кем-нибудь, или падал лом, — все пугались. Что, уже? Среди напряженного ожидания и тишины иногда вздрагивал воздух, словно гудел набат.

— Тс! Тише!

Настораживались и, не веря самим себе, открывали дверь в сени и высовывали головы за порог. Холодный мелкий туман сеялся с неба. Было сыро, неприветливо и тихо. Казалось, конца этому не будет. Пусть бы уже, наконец, подали знак, если это неминуемо. А может, Хома солгал, испугался и ничего не будет? Возвращались в хаты, бродили из угла в угол и еще раз осматривали приготовленное оружие.

Однако набат неожиданно раздался. Медь всколыхнула осенний туман и рассыпалась повсюду. Наконец! Всем стало легче. Выходили из хат, соединялись в группы и спешили. Внезапно разбуженные от холодного сна, колокола хрипло кричали и гнали вперед узловатые фигуры, искривленные непомерной работой, сливавшуюся с темнотой массу тяжелых, мешковатых тел, кривых ног, крепких, как кувалды, рук.

Перед заводом толпа остановилась. Большой каменный дом, где жил панич Леля и помещалась контора, тяжело серел на черном небе, холодный, темный, и только одно оконце неясно светилось, как полураскрытый глаз. Зато завод нагло смеялся рядом красных окон и гордо попыхивал дымом. Хома ходил среди людей, еще нерешительный, будто не знал, с чего начать. А около дома уже начиналось движение. Кто-то бежал под стеной, подымался по лестнице, и слышно было, как хлопнула дверь. Потом окно погасло — и снова осветилось. Мелкий дождь колыхался от набата, бился и разрывался, а в темноте ходуном ходила толпа. Внезапно открылась дверь и оттуда послышалось тревожное:

— Кто там? Что вам надо?

— Это панич Леля... Леля.

— Что вам надо?

Хома вышел из толпы.

— Ага! Это ты? Нам тебя и надо. Иди сюда! — и скверно выругался.

Небольшая, одинокая на серой стене фигура Лели отступила.

— Не подходи. Буду стрелять.

И сейчас же под домом блеснул, точно спичка, огонь; сухо треснуло что-то и раскололо тяжелым раскатом ночь.

Толпа замерла и отхлынула. От волнения на миг заколотились сердца, но Хома поднял упавший дух:

— Го-го! Он еще стреляет? Бей его... бей.

Это «бей» обожгло тело, как кнутом, оторвало ноги от земли, погнало, лишая соображения, вперед — в тесноту, в общее дыхание, в движение силы, пробудившейся вдруг от дремоты, подобно тому, как подо льдом пробуждается река.

Темная прихожая застонала от топота ног, и под тяжестью тел, сбившихся в груды, задрожала лестница.

Где Леля? Никто не знал. Тут ли он, или, может, убежал, бьют его или только ловят. Тело навалилось на тело и чувствовало позади себя горячее дыхание, гнавшее вперед. У дверей произошла давка, а снизу все напирало. Двери были заперты. Хома бил в них плечом, и в густой темноте, в которой не видно было лица соседа, раздавались глухие удары, трещали сухие доски. Вдруг

дверь подалась, и пахнуло оттуда, будто из бездны. Люди бросились вперед — в черную пропасть.

— Пойдите, сейчас! — крикнул Хома.

Прошла минута.

И произошло чудо, короткий сон, ослепивший всех. Электрический свет внезапно залил большую комнату, словно кто-то махнул серебряным крылом, и отразился в паркете, в ряде больших зеркал, в золоте рам. Белая кисея, как облачко на весеннем небе, слегка покачивалась на окнах, зеленые деревья склонялись над шелком мебели, этажерки с игрушками блестели, как царские врата, а трехногий рояль, словно черный сказочный зверь, открыл широкую пасть и скалил блестящие, белые, здоровые зубы. Эта перемена была так неожиданна, что взволнованная толпа застыла, и лица, заполнив все зеркала, едва помещались в рамах.

Но Хома одним махом смазал картину.

Он схватил кол, размахнулся и опустил на рояль. А-ах!..

Трехногий зверь затрещал, взревел дикой гаммой струн, от жалобных до грозных. А высокие комнаты подхватили этот рев и разнесли по всему дому. Люди очнулись, ожили, зашевелились. Волна хлынула сквозь двери в комнату и ударила в стены. Тогда вдруг упали колья на тихие воды зеркал, и со звоном брызгали на пол вдребезги разбитые лица, в них отраженные.

А дом все наполнялся новыми людьми. Ослепленные светом, оглушенные звоном стекла, они лезли из прихожей, словно осы из гнезда, и набрасывались вслепую на все, что попадало под руки. Какое-то неистовство овладело всеми.

Бей!

И набрасывались на все. Старались разодрать стулья за ножки, а когда не удавалось, били стульями об пол, наваливались на них грудью, как на живое существо, молча, стиснув зубы. Колья сметали фарфор с этажерок дождем черепков, стекла под ударами молотков сыпались из рам, как с дерева цвет. Пьянели. Хотелось слышать только дребезг, стук, треск, предсмертный хрип каждой вещи, тяжело умиравшей, как и живое существо.

Про Лелю забыли.

А рояль не давался Хоме. Черные блестящие бока его кололись и куда-то проваливались при каждом взмахе кола, но он все еще держался на ногах и только выл дико, как зверь, истекающий кровью.

Потревоженная пыль, до сих пор покоившаяся в мебели, теперь дымились, клубилась в воздухе, отчего освещение становилось желтым и мутным. Все слилось в одном безумии. Люди пили его друг у друга из глаз, теряя рассудок от предсмертного страха искалеченных вещей, от криков стекла и металла, от стопа струн. Все эти отломанные ножки, свороченные спинки, черепки под ногами, ключья бумаги, пустота разрушения пробуждали еще большую жажду уничтожать, ломать, бить; и ноги топтали без памяти уже сломанное, а руки искали нового.

Андрий здоровой рукой ломал ветки живых растений, рассыпал землю из вазонов. Ага! Ты растешь! — и упивался хрустом горшков под каблуками.

Хома, с перекошенным ртом, весь мокрый, блестел от пота.

— Гуляйте, дети! Пришел наш день.

Панас Кандзюба старался поднять большой шкаф, но не рассчитал своих сил. Шкаф навалился на него и придавил. Панас вертелся под ним, кряхтел, волок к окну. Ему помогали другие. Шкаф лег на окно, задрал ножки и белый низ, покачулся и исчез. Панас высунулся в окошко, чтобы услышать, как шкаф греснетя грудью о землю.

Во дворе, в беспросветном тумане, кишели люди, как гусеницы.

— Чего стоите? Идите помогать. Теперь наша воля!

Комната наполнилась новыми людьми, едва пробравшимися через груды обломков. Люди рассыпались повсюду, по всему дому и каждую комнату наполнили криком. Гремели колья и молотки, точно в большой кузнице; трещала мебель и двери, скрежетало железо, а стекло звенело и звенело беспрестанно и сыпалось вниз, как груши с дерева в бурю.

Весь дом трясся от вопля, кричал «спасите» в пустые проемы окон, в черный туман, его окружавший.

Отодвигались комоды, и оттуда выбрасывались тонкие сорочки, такие чудные и легкие, словно пушинки, со

свистом раздирались куски материи, летали как паутина, кружева.

У кузнечихи глаза горели, она трясла жирными боками, рылась в грудях и все кричала:

— Не рвите всего! Оставьте мне...

И сдирала со взломанной мебели шелк — желтый, красный, блестящий.

Панас Кандзюба бегал по комнатам, как сумасшедший. Из-за пазухи у него торчала тонкая женская сорочка без рукавов, а руки осторожно держали и прижимали к груди коробку со старым, ржавым железом. Он сам не знал, куда ее деть.

Олекса Безик сиял. Он спас от разгрома банку с вареньем и прижимал ее к сердцу, точно ребенка.

Комнаты были уже ободраны, разбиты, переполнены пылью, как дымом, простирившим руки к холоду за окнами. На окнах колыхались от ветра разодранные белые занавески, словно перебитые гусиные крылья. Только лампы и канделябры уцелели и упорно заливали все это разрушение светом, нестерпимо ярким.

Грязные, растерзанные люди остановились и смотрели, что бы уничтожить еще, но ничего не было. Голые стены умирали, дыша последним дыханием содранных обоев.

В углу Хома старательно ломал простой кухонный табурет, грязный, в помоях, наполовину сгнивший.

Андрей прикоснулся к плечу Хома.

— Ну, а завод?

Хома поднял на него бессмысленные глаза.

— Коль бить, так бить всё.

И приканчивал недоломанный табурет.

— Довольно, оставьте! — кричал Андрей. — Пора жечь.

Хома пришел в себя. Жечь? Его глаза на мгновение остановились, и в них как бы мелькнул отдаленный отблеск пожара.

— Жечь? Давай.

Они сложили под лестницей обломки мебели, ножки стульев, обрывки бумаги и подожгли

— Тикайте из дому, горит! — кричал Андрей

Люди, как мыши, оставили комнату и в дыму скакали по ступенькам.

Андрей вынул из канделябра свечу и поджег занавески. Огонь охотно полез по кисее, и черные проемы окон в красных подвижных рамах стали еще глубже. Две Андриевы тени заметались на прощанье по стенам и вместе с ним исчезли.

Андрей искал Хому.

— Теперь завод. Слышите, Хома? Завод, говорю. Они последними выбежали из дома.

Ночь стояла темная, еще более черная после света. Но внизу она шевелилась, жила, двигалась и волновалась волнами черного народа, невидимым прибоем тел.

Только завод блистал рядом освещенных окон и вздрагивал от хода машин, словно в огромной каменной груди, ожидая чего-то, тревожно колотилось сердце.

Рабочие оставили работу и чернели около стен и дверей. Свет из окон играл по лужам нитями золотого ожерелья.

Толпа и завод стояли друг против друга, словно мерялись силами, словно еще решали, кто победит.

Между ними вдруг возникла тяжелая, корявая фигура Хомы.

— Чего ждете? Жгите!

Окна Лелиного дома дымились. Огонь полз по занавескам, проворный, веселый, и уже облизывал оконные рамы со стороны двора.

Безликая в темноте толпа вздрогнула и пошла на завод. Андрей бежал впереди. В левой руке держал какую-то железину, а правая, беспалая, высоко подымалась над головой, будто кому-то грозила.

Вот аппаратная. Теплая, вся в витых железных трубках, колесах, машинах, точно внутренность живота, она тряслась, как в лихорадке, и молниеносно сверкала широким приводным ремнем. На миг ноздри Андрия уловили знакомый запах масла, пара, сухого жгара огненной печи — и перед ним возникла его рабочая жизнь, его увечье. Вот как встретились они — машина и ее жертва Андрей ощутил отрезанные пальцы, и злость затуманила его мозг. Он бросился на приводной ремень и сбил его сразу.

Заколыхавшись, приводной ремень со свистом упал, плавно и лениво, как мертвая змея. Аппаратная в последний раз вздрогнула и застыла, а маховое колесо



завертелось в таком неистовом полете, что, казалось, подхватит с собой и машину Паровик тепло и тяжелодохнул, полный сил. Черные блестящие бока его раздражали Андрия. Ему хотелось бить эту сытую, толстую скотину, услышать, как она застонет, крикнет, начнет умирать, испустит последний вздох. Он сбил манометр и ударил железной в бок. Потом пустил пар в гудок. И когда паровик крикнул тем же самым криком, который будил Андрия едва ли не всю жизнь, криком, казавшимся вблизи острым и блестящим, как шило, ярость лишила его памяти, разума и соображения. Он бил машину изо всех сил, помогал правой рукой левой, сворачивал головки гайкам и ломал все, что удавалось сломать. Забыл даже про опасность. Он не видел, что делалось вокруг, не видел всех этих свиток, желтых кожушков, бород и волос, склеенных потом, горящих, полусумасшедших глаз, израненных рук, не слышал, как ударялось железо о железо в этой адской кузнице, которая все перековать хотела в ничто, которая работала, как неумолимый дух разрушения, и наполняла откликами на тысячи звуков высокие стены завода.

Хома был всюду. Он, казалось, забыл человеческий язык и лишь, как шлак сгоревшей души, выбрасывал из себя:

— Бить! Жечь!..

Где только ни появлялось его лицо старой бабы, глубоко вспаханное плугом жизни, на что только ни падал взгляд зеленых глаз, властный и неумолимый, — там дух разрушения заставлял напрягаться жилы и силы людей становились нечеловеческими.

Хома не чувствовал утомления. Его руки, точно железные клещи, сворачивали медные трубы, и чем неподатливее они были, тем больше разгоралось желание их победить. Ободренные, в ранах, его руки давно обливались кровью, но он даже не замечал. Знал только, что должен разбить и поджечь.

Наконец! Крышки с дребезгом упали с цистерн, огонь коснулся спирта, и легкое голубое облачко заколыхалось над ним. Люди сбежались смотреть. Синеватый огонь, такой легкий и невинный, что, казалось, ожечь не может, мягко изгибался и выпрямлялся, будто плавал на спирте, и только иногда подымалась волна с красным гребнем,

Недовольный шопот прошел по толпе.

Это же горит спирт! Не что иное, как спирт.

Было досадно. При одной мысли жгло в горле, разливалось тепло в груди. Зачем было поджигать, не дав даже попробовать! Теперь ни паничу, ни людям. Огонь все пожирает.

Олекса Безик едва не плакал. Неужели погибнет?

Он решил спасти спирт. Ему пришло в голову — нельзя ли зачерпнуть снизу. Ведь горело лишь сверху. Он нашел ковшик и протиснулся сквозь толпу.

— Куда ты?

Его хотели остановить.

Но Безик уже не мог остановиться и сунул руку прямо в огонь.

Синее пламя качнулось, плеснуло в черные края цистерны и упало на пол несколькими огненными клубками.

— Ой, братцы, печет! — крикнул Олекса.

У него горел рукав.

Это была попытка неудачная, правда, но, казалось, не безнадежная. Огонь лишь сверху; внизу чистый, хороший спирт, надо только достать.

Толпа заволновалась.

Тц! Тц! Сколько добра пропадает!.. сколько водки..

Во рту сохло, душа просила окропить ее спиртом, хоть разок глотнуть, хоть обмочить губы, сухие от жажды. Разбить посудину? Пробить сбоку? Запах спирта щекотал ноздри: горло, сводимое спазмами, глотало слюну.

Горящие глаза ощупывали цистерну, готовые влить в себя, осушить всю посудину, прочную, неприступную, покрытую огнем. Толпа даже затихла от безумной жажды, слитая в одно желание и в одну мысль. А перед ней все выше и шире пылали чаши, полные огня, как жертвы неведомому богу.

Внезапно сзади послышался крик:

— Расступитесь! Дайте дорогу!

И не успели еще расступиться, как сквозь толпу пролетело что-то мокрое, все в жидкой грязи, забрызгало всех и кинулось прямо к огню. На мгновение только минула перед глазами черная фигура, и поднятая рука уже протянула людям ведро огня, дымившееся как сердце, только что вырванное из груди.

— Пейте!

Но как пить?

— Лей воду! Дайте воды...

Кто-то принес и плеснул ее в ведро.

Огонь затих, согнулся, испустил последний вздох и умер.

— Ура! Еодка!

Руки подымались и тянулись — дрожащие, но настойчивые — с одним непреодолимым желанием быстрее добыть, выхватить и оторвать от чужих уст теплое противное пойло.

— Давай! Сюда! Оставьте мне! Будет, нам дайте...

Стоявшие ближе к дверям не надеялись получить водки. Им надо было самим ее раздобыть. Они вбегали во двор, бросались в лужу, как были, в одежде, и катились в грязи в каком-то лихорадочном беспомоществе, чтобы лучше вымокнуть и не бояться прыгать в огонь.

Из густого осеннего тумана беспрестанно врывались на завод и лезли в огонь, точно ночные бабочки на свет, дикие, получеловеческие фигуры, мокрые, покрытые корой жидкой грязи, из-под которой блестели одни глаза.

Голубые огни все разрастались и уже цвели на гребнях красным цветом, как тучи на закате. По лицам разлились мертвые, синеватые тона. А среди отброшенных сломанными трубами и машинами теней, жадно бившихся по стенам, черные, в грязи люди скакали в дилом танце и черпали огонь из пылающих чаш.

— Кто хочет? Пейте!

Дом, где жил Леля, уже догорал. Падали балки в пропасть проемов и рассыпались снопами трескучих искр. Завод равномерно пылал, весь налитый огнем, истекая пламенем через окна и двери, как рана кровью.

Широкие крылья осенних туч рдели тихо над ним, простершись в бездне ночи.

На другой день всюду было тихо. Люди ходили вялые, будто опустошенные, ленивые. Черная, закопченная труба торчала на холме вместо завода; невольно она привлекала глаза, и было странно, что глаз не упирался, как до сих пор, в стены, а устремлялся куда-то дальше, в пустолю поля и рыжих холмов.

Андрей пошел осматривать развалины. На еще дымившемся пожарище попадались любопытные. Белый

дымок лениво вился над завалившимися стенами, точно пар в холод из ноздрей скота. В широких проемах окон белели кафельные печи, словно зубы в челюстях скелета. Босые дети рылись в теплой земле, находя всякие обломки и мелкие полуистлевшие вещи. Дети ссорились и дрались, как воробьи.

Андрей вошел внутрь. При темноватом свете серого дня, лившегося сквозь дыры окон и через потолок, все казалось чужим, странным, непохожим на то, что было вчера. Вчера тут были машины — теплые, живые, крепкие аппараты, которые упирались и не давались, когда их ломали. Сегодня они лежали сломанные, пустые, согнутые вдвое, с пробитыми боками, рыжие, облезлые. Медные трубы бессильно протягивали согнутые концы, сплющенные, смятые, точно раздавленные кишки, и красная ржавчина от огня выступала на них кровавым потом.

Андрей удивлялся. Неужели это он одной рукой смог нанести железу такие глубокие раны? Он переводил глаза от своих рук на машины и только пожимал плечами. Неужели это он? Уже не чувствовал злости, как прежде, она куда-то исчезла в одну ночь. Ему даже жаль стало этих аппаратов, он так долго ухаживал за ними, будто нянька за ребенком.

Андрей тихо вздохнул и вдруг почувствовал, что рядом кто-то шевелится.

Панас Кандзюба стоял среди мусора тяжелый и серый, как груды обгоревшего кирпича.

— Начисто все сломали, — откликнулся Андрей.

— Разве это мы?

Андрей удивился.

— Как же не мы? А кто же?

— Нечистая сила.

В глазах Кандзюбы была такая уверенность и такой ужас, что мороз прошел по коже у Андрия.

— Никто, как нечистая сила.

К заводу подъезжали подводы и отъезжали полные железа, кирпича, обгоревших балок.

— Разберем все, сравняем с землей, — говорили друг другу мужики, но уже оглядывались, какие-то неуверенные, и в занесенных над лошадьми кнутах и в поспешном грохоте колес чувствовалась тревога.

Под вечер по деревне разнеслось, что идут казаки.

Кто пустил слух, откуда он взялся, никто хорошо не знал. Рассказывали только, что станут обыскивать, и у кого найдут — тому не миновать расстрела.

Повидимому, это дело панича Лели. Выпустили живым, а теперь людям беда. Надо было сразу убить, а тогда и поджигать. Да уже поздно. Не поможет.

Что делать? Как спастись?

Беда так внезапно подкралась и так неожиданно разразилась, что никто даже не решался думать, как предотвратить ее. Известие принимали как что-то предрешенное, как нечто неминуемое, словно во время болезни смерть.

Некоторые надеялись спастись. Они тайком бросали в пруд взятое железо или зарывали в землю, что у кого оставалось. Да разве это поможет? Разве, если что случится, не выдадут люди?

Однако ночь прошла спокойно, а ясный холодный день и совсем успокоил деревню.

Кто-то выдумал, видно. За что же будут наказывать, если вокруг то же самое? Всюду сожгли и разгромили панские усадьбы, — ведь такое право настало.

День перевалил за половину, а в деревне тихо, ничего не произошло.

Прокоп хозяйничал на панском поле, пахал под яровое, кончал поздний сев; работа шла своим порядком. Пан не возвращался отбирать землю, у панича Лели тоже, видно, не было охоты смотреть на пожарище. Всюду было спокойно, и слухи глохли. Никто им больше не верил.

Прошла и другая ночь. Те, которые выбросили в пруд добро, теперь жалели.

Однако весть грянула, как гром среди ясного неба. Теперь уже точно. Олекса Безик ездил в местечко, но с дороги вернулся. В деревню Тернивку прибыли войска. Согнали людей, кого расстреляли, кого зарубили, остальных забрали в город. Обыскивают, вяжут, бьют.

— Ждите и к нам. Теперь и нам не миновать.

Теперь это неминуемо. Это было ясно.

Панас Кандзюба долго, упорно почесывал за ухом.

— Значит, и нас перестреляют?

Его испуганные глаза, полные недоумения, тщетно искали помощи.

Олекса Безик будто ничего не знал. Он пожимал плечами.

— Я не жег — мне ничего не будет.

— Разве ты с нами не был?

— Я? Сохрани боже. Я сидел дома.

— Вот как. А я тебя видел собственными глазами.

— Кого? Меня? Лопни у того глаза, кто меня видел. Сам поджигал, а говорит на других.

— Я поджигал? А ты докажешь?

— Я докажу.

Виноватых не было. Одни сваливали вину на других, а те на следующих. Выходило так, что все были дома, а если кто и забегал на завод, то так только, поглядеть. Кто же не смог отрицать своего участия, тот всех обвинял. Все разбивали, грабили и жгли. Село виновато, село и ответит. Но село не хотело отвечать. Упреки и ссоры возбуждали старую вражду, всплывали забытые обиды и грехи. Наиболее сдержанные всех успокаивали. Замолчите. Ничего не будет. Теперь наша сила и наше право.

В полдень от проезжих услыхали про Осьмаки. Там казаки подожгли деревню, так как мужики не хотели выдать виновных. Деревня горит.

Тогда пошли нарекания. За что всем пропадать? Разве не Хома подговаривал? Не он созывал народ? Хома и Андрий. Панскую землю им тоже припомнят. Пока не было Гуши, в деревне было спокойно. Что тут говорить. Гуша и Прокоп взбунтовали народ, они во всем виноваты. Говорили: народное право, наша земля! А теперь — казаки.

Панас Кандзюба волновался больше всех.

— А что? По-моему вышло. «Обуть пана в достолы...» Вот и обули!

Под вечер в деревне появился Пидпара. С того времени, как вышел манифест, Пидпары никто не видел, он точно исчез. Теперь шел спокойный, высокий, хмурый, словно немного постарел. Его не задевали. Наоборот, провожали завистливым взглядом.

— Такому ничего не будет. Он сидел тихо.

Его считали хитрым, умным и осторожным.

Что ж теперь делать?

Тревога охватывало село. Пересудам не было конца. Рассказывали, что в Осьмаках от пуль казацких полегли

не только взрослые, но и дети. Недобитых складывали на телеги, будто снопы, и так везли в тюрьму. Сквозь щели в телеге всю дорогу капала кровь. Женщины голосили так громко, что слышно было на далеком шляху.

От поджогов сгорели скот и хлеб. Ужас рисовал картины одна другой страшней. От волнения люди не могли усидеть дома. Что делать? Как спастись? Кто знает? Беды не миновать. Представлялись огонь, развалины и кровь. Дети следили за дорогой, которая вела в село, малейший шум возбуждал тревогу.

Известно, такие, как Хома или Андрий, могли не бояться. Что с них возьмешь? Ни кола, ни двора. Оборванцы, нищие. Довели до беды и попрятались. Сегодня сожгли завод, а завтра подожгут у кого-нибудь хлеб. Не зря говорит Пидпара: не жди добра от поджигателя.

Олекса Безник советовал вернуть пану землю. Все же будет меньше вины.

— Ну, а завод?

Правда, его не выстроишь заново. Черные развалины угнетали, как нечистая совесть.

Они спрашивали, не лучше было бы выйти навстречу войскам с хлебом и солью, упасть в ноги, покориться.

Другие советовали драться, не пускать казаков.

Но все это было не то.

Один только Пидпара спокойно ходил среди людей и прислушивался, а его глаза, глубокие и суровые, что-то таили под шатрами бровей.

Всем казалось, что Пидпара что-то знает.

Но Пидпара молчал.

От кого пошла эта мысль, кто первый ее подал, трудно было сказать. Может, Пидпара посеял ее своим суровым взглядом, а может, она сама родилась и легла глубоко в сердце, как камень на дно. Довольно того, что люди молча ее приняли, как последнюю надежду, как единственное спасение. Пусть лучше погибнет несколько мужиков, чем вся деревня. Тяжелое тайное согласие воцарилось между людьми. На миг открылся тайник, кое-что объяснилось, и тайник закрылся вновь. И в нем, как семя в женском чреве, росло что-то и зрело и заставляло хмуриться замкнувшихся в себе людей.

В осенней пустоте, обнимавшей деревню, ощущалось зловещее дыхание какого-то несчастья, нечто неумолимое, неминуемое, жестокое, требовавшее жертв.

У Пидпары перед образами светилась лампадка. По-праздничному сияли иконы, и сиянье их озаряло лицо Пидпары. Он говорил медленно, тяжело, будто отсчитывал деньги, и мужики узнавали прежнего Пидпару. Народ толпился в горнице и в сенях. К нему пришли, он снова был нужен. Страх отнял у всех разум, ослепил их, один Пидпара не боялся ничего. Он был, как скала среди растревоженных волн, надеявшихся остановить около нее свой бег и найти успокоение. Он знал, что посоветовать.

Панас Кандзюба утвердительно кивал. Так, так. Пусть приходят войска, когда все уже будет кончено. Виноватых нет. Само общество их покарало. Тогда не за что будет карать других. Не деревня бунтовала, одни главари. Если б не они, все было бы спокойно. Кто объявил забастовку? Они. Кто захватил господскую экономию? Они. Кто завод сжег? Тоже они. И всем гибнуть из-за них? Лишиться хаты, да что там хаты, может и жизни!..

Он волновался.

Пидпара хмурился.

— Теперь он панское берет, а подождите немногo возьмет и ваше. У тебя, скажет, есть десятинка лишняя отдай. Тот скопил какую-нибудь сотню — лишайся денег. Возьмет у меня, у тебя, Максим, а тогда и у того, кто победней. От них житья не будет.

Гаврила, Пидпарин тесть, запустил в седую бороду желтую костлявую руку.

— Что там! Перестрелять — и точка.

Жестокое слово, брошенное впервые, звякнуло, как нож среди тишины.

Горница тяжело замолчала. В молчаливом согласии, замкнувшем уста, страх рождал подлость.

Как бы не было чего за это!

Тогда рыжий Максим, староста сельский, вытащил из кармана бляху и прицепил на грудь.

— Я отвечаю. Вот бомага. Приказ стрелять всех бунтарей. За это ничего не будет.

Одной рукой он хлопал себя по карману, другой поправлял бляху.



И все блестело на нем: рыжие волосы, частые веснушки, начищенная кирпичом медь.

А если так, чего ж ждать? Собирайте сход. Пусть рассудят...

Голая земля, исхлестанная крыльями ветра, серела под оловянным небом. Рядами истомленных хат, будничных и неприветливых, смотрела деревня на своих хозяев, собиравшихся на сход. Шли ленивые, серые, тяжелые, точно комья тощей земли, их породившей. Несли дедовские ружья, перевязанные бечевками, тяжелые ржавые колуны, палки, колья. Всех их гнал страх, привычка слушаться начальства. На сход созывали весь «мужеский пол», а кто не придет, того ждала смерть. Жены провожали мужей с плачем, с воплем, как на тот свет. Кто знает, что будет?

Маланка не пускала Андрия:

— Не ходи, чтоб еще чего, упаси боже, не случилось.

Андрий не слушал.

— Мне, пане добродзею, знак отличия выдан паном, я своих не боюсь.

— Хвались, хвались, Андрийко, увечьем, очень оно нужно кому-нибудь, — шипела Маланка, но и сама пошла за ним.

И сном площадь зачернела от народа. Посередине мужчины вокруг, до самой канавы, женщины.

Смешанный гомон заглушал слова Пидпары. Видно лишь было, как он, высокий, в жупане, махал рукой и сводил острия бровей. Дуло ружья торчало у него сбоку.

— Ой, боже что-то будет! — пугалась Маланка.

— Погромщиков станут судить...

— А кого именно?

— Показывают люди на Хому Гудзя, на Гурчина Савву... Смотрите, чтоб не было чего и Андрию...

— Господь с вами, — ужаснулась Маланка. — Мой так же был на заводе, как и ваш. Ведь так полсела пришлось бы судить.

А сама оглядывалась: где Андрий?

Максим Мандрыка, с бляхой на груди, ходил среди народа.

— Все пришли?

— Все.

— Не пришел Безик Олекса

— Я тут...

— Надо всех переписать.

Но только стал записывать, как к сборне подъехал верхом на панском коне Семен Мажуга. Привязав коня, он протянул руку Мандрыке.

— Здорово, Максим, у меня дело к тебе.

Староста взглянул на него.

— Недостоин ты моей руки. Вот тебе, получай!..

И ударил Семена по лицу.

Семен оторопел:

— За что ты ударил? Меня общество выбрало.

Мандрыка не успел ответить, как Пидпара стал между ними и поднял ружье.

— Расступитесь там, поскорей!

Народ отхлынул назад, словно плеснула волна, и одновременно ахнули люди и ружье.

Окутанный кисеей белого дыма, Семен согнулся и схватился за бок.

— Ой, братцы, за что же мне такое?

Он шатался и безумными глазами искал страшной разгадки на серых лицах, живой стеной нависших с обеих сторон.

Там не было разгадки и не было надежды. Тогда животный страх заставил его подняться, и он бросился бежать очертя голову, истекая кровью, которая красила его пальцы и стекала по штанам на землю.

Олекса Безик догнал Семена и ударил сзади колом. Длинное тело сломилось пополам, как складной нож, и упало на землю.

Панас Кандзюба уже был тут. Беспомощное тело, еще теплое, которое так покорно легло к его ногам, всколыхнуло в нем ненависть, какой он не испытывал к живому. Его охватило непреодолимое желание заставить страдать, втоптать в землю и уничтожить. Без надобности он выстрелил в Семена и уже хотел ударить тяжелым сапожищем в грудь.

— Довольно, готов! — откликнулся Безик.

Они взяли за ноги тело Семена, оттащили к канаве и бросили в воду.

Все произошло так неожиданно и быстро, что люди окаменели.

Кровь была пролита. Одна только минута отделяла прошлое от только что случившегося, а казалось, что промелькнула вечность, что прошедшее внезапно упало в пропасть и что-то оборвалось и освободилось от пут.

Из толпы отделились Иван Короткий, Дейнека и еще несколько человек и стали рядом с Пидпарой, готовые на все.

Пидпара вытянулся во весь свой рост.

— Хома Гудзь тут? Выходи!

Головы повернулись, и тревожно-жестокие взоры скрестились, как мечи

— Где Хома Гудзь?

— Нет. Не пришел.

На минуту легла тишина и натянулась, как струна. Кого теперь? Чье последнее дыхание вылетит из уст, на чью голову упадет смерть, как камень? Было слышно, как дышала толпа.

— Прокоп Кандзюба!

— Как? Прокоп Кандзюба? А его за что? Его ж выбрало общество.

Староста объяснял:

— Я за ним послал. Он сейчас будет.

— Хорошо. А пока... Андрий Волык! Ведите!

— Волык... Андрий... — прокатилось эхо. — Тут... Вот он...

— Ой, боже, чем он перед вами виноват? — крикнула Маланка. — Не трогайте его!

Ее голос заглушило тонкое, резкое, неумолкаемое верещание, похожее на визг поросенка под ножом, и только изредка вырывались отдельные слова.

Толпа тем временем двигалась, кипела и выбросила из себя, как похlebка пену, сухую, растрепанную фигуру калеки.

— Иди... иди... Вот он... вот тут... Не поможет.

Его толкнули, и он упал на колени перед Максимом, бледный, весь измятый, беспомощный, как чучело в конопле, со своей культияпкой вместо руки.

— Смилуйтесь... мужики... я ни в чем не виноват.

Он поклонился, коснувшись лбом земли.

Максим поставил Андрия на ноги.

— Крестись!

Андрей сейчас же послушно поднес ко лбу искалеченную руку.

— Бейте его!

Так он и упал. С ним покончили сразу.

И снова по кровавой дороге потащили тело к воде.

Но сейчас же принуждены были бросить. Их остановил гомон. Толпа содрогнулась от глухого стога ужаса, от шума поднятых рук.

— Смотрите... вон там... вон там... подымается... Он еще жив... Семен... Семен...

В канаве из воды поднялась спина, как островок, на мгновение показалась рука, словно ловила воздух, и снова упала. Еще два-три движения, колебания — и длинная фигура разогнулась медленно и закачалась на нетвердых ногах, как привидение, в черной сетке стекающих вод. Большие Семеновы руки, будто рачьи клешни, напрасно искали, за что бы ухватиться.

— Он выйдет... Он сейчас выйдет из воды!..

Те, которые волокли тело Андрия, вскочили в воду и одним ударом топора уложили Семена назад, на место.

И снова жестокая тишина сдавила сердце в кулак, снова болезненная жажда кровавого слова превратила минуту в вечность. Чья теперь очередь? Кого позовет смерть? Каждое новое имя давало остальным возможность передохнуть во время короткой отсрочки.

Однако напряженную тишину ничто не нарушало. Пидпара шопотом советовался с Максимом, и только за плечами толпы билось и разрывалось причитанье Маланки да женский плач.

Внезапно все встрепенулось. Толпа вздохнула огромной грудью, и словно рябь пробежала по ней, как по воде.

— Ведут! Прокоп идет!..

Прокоп подходил спокойный и деловитый, как всегда. Аккуратно лежала на нем одежда; как обычно, медленны были его движения. И невероятным казалось, что этот человек идет на смерть. Вот сейчас подойдет, остановится, достанет из кармана засаленную тетрадку и прочитает обществу, сколько вспахал, засеял и что продал. Иначе не могло и быть.

Все глаза вонзились в него. А он спокойно приближался.

Ему попало под ноги пятно свежей крови. Он заколебался на мгновение, точно боялся вступить на кровавую дорогу, побледнел и поднял глаза. Они остановились на ружьях, вилах, топорах, на Пидпаре и группе людей, уже стоявших наготове. Он все понял.

Однако поздоровался.

Пидпара махнул на него остриями бровей.

— Почему сам не пришел? Еще посылашь за тобой...  
Готовься. Дашь ответ перед богом.

— Разве ты поп? Я дам ответ обществу. Оно выбирало меня.

— Поздно уже, братику. Сейчас помрешь.

— За что?

— некогда разговаривать с тобой. Сам знаешь. Быстрее говори, что имеешь сказать.

— Общество так присудило?

— Общество.

Прокоп взглянул вокруг. Рядом с Пидпарой стояли Олекса Безик, Иван Короткий, Олександр Дейнека, дядя Панас. Все единомышленники.

— И вы против меня? Что я сделал?

Они молчали.

Спасенья не было.

Дядя Панас прикоснулся к его плечу.

— Может, позвать Марию?

Прокоп безнадежно махнул рукой:

— Позовите.

Она едва протиснулась сквозь толпу — в новом жестком кожухе, в который кутала ребенка, — и сейчас же упала на оба колена на мокрую от крови землю.

— Помилуйте нас, пан староста, и вы, честной мир... Если б его не выбрали, он бы там не был.

Она кланялась низко, вместе с ребенком, то в одну, то в другую сторону.

— Довольно, Мария... вставай... — останавливал ее Прокоп. — Слушай, Мария...

И на минуту замолчал. Забыл все сразу.

— Слушай, Мария... вот что... коня продайте... зачем он вам...

— Ой, боже! — голосила Мария.

— Молчи. Из тех денег отдай десятку Пилипу. я у него брал... Хлеб, как намолотишь, не продавай, чтоб

была своя мѹка... Мою одежу оставь сыну, вырастет — сносит...

— Скорей там, — торопил Пидпара.

— Ой! — голосила Мария.

— Кланяйся маме... пусть простят... ну и все... И ты прости.

Он трижды, как перед говением, поцеловался с нею, приложил холодные губы ко лбу ребенка.

— Готов? — спрашивал Максим.

— Еще у меня деньги общественные... ключи.

Он полез за голенище и вытащил оттуда грязипу.

— Посчитайте... Тридцать восемь рублей двенадцать копеек.

Потом вспомнил:

— Еще две копейки.

И вынул из кармана вместе с ключами.

Максим взял.

— Чего хочешь еще?

— Позвольте снять жупан.

Он расстегнулся и остался в одной сорочке.

Вокруг него сочувственно шумели:

— Добрый жупан!

— Жаль было б запачкать кровью.

Пидпара забивал патрон в ружье, остальные ждали наготове

— Стойте! — остановил их Панас Кандзюба. — Я сам.

Он все еще около Прокопа топтался.

— Крепись, сын. Служил до сих пор миру, послужи ему напоследок. Страшно нам... войско идет... не всем быть в ответе... тебе заплатит бог... Перекрестись.

Прокоп перекрестился.

Мария все голосила и рвала на себе кожу. Ее оттащили в толпу.

— Прощайся, сынаша...

Прокоп поклонился на все четыре стороны.

— Простите меня, мужики... Может, перед кем в чем провинился. Прощайте...

— Бог простит... Прости и нам...

Панас Кандзюба снова прикоснулся к племяннику.

— Куда тебе стрелять?

Прокоп уставился на него уже мертвыми глазами. Подумал.

— Стреляйте в рот.

Белый, как сорочка на нем, он старался раскрыть рот, но не мог. Нижняя челюсть тряслась, твердая и неподвижная, точно деревянная.

Панас приставил ружье почти к самому лицу и выстрелил.

А в ответ на выстрел лицо плюнуло стружкой крови и залило Панасу руки и грудь.

Прокоп упал на колени. Пидпара добил его сзади.

Народ пьянел от запаха крови, смертного крика, запаха пороха. А Гуша? А Хома Гудзь? А Иван Редька? Как! Он еще жив?

Однако ни Хома, ни Гуши не было. Они куда-то исчезли. Пидпара послал желающих искать их.

Старавшихся потихоньку скрыться за спинами остальных уводили в сборню. Оттуда их выпускали поодиночке между двумя рядами, и пуля или кол их приканчивали. Так погибли Редька младший с братом и Савва Гурчин; последний за то лишь, что когда-то разбил окна у Гаврилы, тестя Пидпара.

Трупы мокли в канаве, точно конопля, и кровью окрашивали воду, а над народом протянулись полосы синего дыма, будто руки упыря искали жертвы.

Короткий день кончился. Ветер развеял дым, рассеял последнее теплое дыханье убитых, разогнал тучи. С черного поля он неся дальше в черную безвесть и колыхал звезды, сверкавшие, как мелкое монисто, в кровавых водах канавы.

Маланка едва дотащилась до своей хаты. Упала впотьмах на лавку и на колени опустила бессильные руки. Весь день была на ногах, весь день вбирала в себя муки и кровь и столькох людей похоронила в сердце, что оно наполнилось мертвецами, как кладбище. Даже онемела. Нет ни страха больше, ни жалости, Маланка — вся странно опустошенная, лишняя на свете, ненужная. Хорошо еще, что темно, ведь глаза ее не могли бы больше ничего вместить. Она ничего не хочет. Лишь бы темно было, как сейчас, и тихо.

Всё от нее бежит, все чуждаются ее. Был у нее Андрий — весь век грызлась с ним, а теперь нет уже и

Андрия. Лелеяла мечту о земле, а земля восстала против нее, враждебная, жестокая, взбунтовалась и ушла из рук. Как марево, поманила и, как марево, исчезла. Лежит, холодная, и сосет теперь кровь...

Маланке больше ничего не нужно. Лишь бы темно было и вечно длилось молчание, как в могиле.

Скрипнула дверь.

— Кто там?

— Я.

Странно. Прожила жизнь, которая вдруг провалилась в бездну. Хотя бы след оставила, хоть бы память какую. Все охватил мрак. Все черное. Даже нынешний день отодвинулся далеко, так далеко, что кажется давним, давно забытым сном. Было ли что сегодня, или ничего не было? Одно только отчетливо светлеет в темноте: отрезанные пальцы Андрия. Три желтых обрубка, в машинном масле, с налипшим песком. Искала — где-то должен был быть четвертый — и не нашла.

— Что бы поискать лучше!..

— Где ты была?

А пальцы извивались, как черви. Синие ногти мутно блестели, как мертвый глаз, пожелтевшая кожа сморщилась, и между морщинами чернела грязь. Маланка их похоронила, только забыла где. Голова у нее начала болеть оттого, что не могла вспомнить.

— Где ты была?

— Марка спасала.

— Убежал?

— Убежал.

— А отца убили.

Больше не было слов. Ничто уже не будило черной тишины, вливавшейся сквозь окна в хату.

Тяжелым холодным сном спала за хатой земля, а высоко над ней трепетали звезды, точно в аквариуме неба играли золотые рыбки.

На рассвете казаки вступили в село...

*31 марта 1910 г.*

Чернигов.



## ИЗ ГЛУБИНЫ

### ОБЛАКА

Когда я смотрю на облака, на этих детей земли и солнца, что, поднявшись высоко, все выше и выше уходят по голубому пути, мне кажется — я вижу душу поэта.

Я узнаю ее. Она плывет чистая и белая, жаждущая неземной красоты, прозрачная и легкая, с золотой улыбкой на розовых устах, трепещущая от желания петь.

Я вижу ее. Большая и тяжелая, полная тоски и невыплаканных слез, обремененная всеми печальми мира, темная от сострадания к несчастной земле, она перекачивается черными волнами, тяжело дышит переполненной грудью, прячет лицо от солнца и горько плачет теплыми слезами, пока не станет ей легче.

Я знаю ее. Она.. тревожная, вся насыщенная огнем, вся пылающая великим и праведным гневом. Мчитя неистово по небу и подгоняет ленивую землю золотым прутом.. Вперед.. вперед... быстрее вместе с нею... в миллион раз быстрее в простор... И взывает так, чтобы все услышали, чтобы никто не спал, чтобы все проснулись...

Я понимаю ее. Вечно неудовлетворенная, вечно ищущая, с вечным вопросом: «зачем? к чему?» — она опустила серые крылья над землей, чтобы не было видно солнца, чтобы утопала в тени земля, и сеет мелкий дождь грусти...

Поэт, я не удивляюсь, что любишь облака. Но я сочувствую тебе, когда с грустной завистью следишь за облачком, которое тает, расплывается и исчезает в голубой пустыне.

18 октября 1903 г.

Чернигов.

#### УСТАЛОСТЬ

Душа моя устала, и даже зависть, испытываемая мною, напоминает лишь усмешку, застывшую на лице мертвеца...

Я завидую небу, ведь облака, проходящие по нему, не оставляют там следа: оно вновь становится ясным и голубым.

Завидую земле: ведь тени, покрывающие ее, передвинутся и, где было сумрачно и грустно, вновь ляжет золото солнца.

С завистью гляжу на воду: как зеркало отражает она красоту мира и, когда неудовлетворена, даже стирает все линии и краски и творит свое.

И завидую я осенним деревьям: каждая почка таит в себе надежду жизни и даст новые ростки.

Тогда как я...

Тогда как пепел надежд моих недвижимым облаком повис надо мной, тогда как солнце счастья не прогонит теней из души, тогда как зеркало души моей померкло, потускнело, не отражает ничего, тогда как то, что облетело и стало голым, не распустится снова.

И почему не живу я, высшее существо, как это мертвое небо, как неживая земля, как вода, как деревья?

Спросить?

Не хочу... Устал...

9 декабря 1903 г.

#### ОДИНОЧЕСТВО

Я слушаю пение, какого никто не слышит: это поет моя душа.

Всегда и всюду слышу ее любимый припев:

— А ты одинок!

И ничто не заглушит, — я это знаю, — ничто не заглушит тихого пения: сквозь стон пурги, сквозь смех весны, сквозь хохот грома и плеск ливня я все слышу:

— Одинок!.. одинок!..

Вокруг люди Блестят их глаза, дрожат их голоса...  
Прядет серебряную нить разум и золотую — сердце; воды жизни выходят из берегов, шумят и играют, и когда уст моих касается кубок радости, я слышу уже знакомый реквием души:

— А ты одинок!..

Я плачу. Из моего сердца тоже льется ручеек в море человеческого горя. И хотя теплая рука моя протянута для дружеского пожатия там, где оно необходимо, хотя душа моя раскрыта для чужого горя, как цветок для росы, однако... вместе с тем — я чувствую — встает из глубины, как вечное проклятье:

— Ха-ха! Ты все ж одинок!..

И когда даже у сердца моего бьется любящее сердце, когда две искры соединяются в пламя счастья, когда кажется, что сфинкс разгадан уже, и тогда даже...

...И тогда даже черным клубком катится в груди моей мучительный и гордый клич:

— А я... одинок!..

7 января 1904 г.

Чернигов.

### с о в

Снилось мне — снилось ли? — что в груди у меня лишь половина сердца.

Где же другая? — мучился я.

А та, что осталась, билась тревожно в груди, и при ударе ее каждом слышал я страстный и повелительный голос:

— Ищи!

И я искал.

Широким миром, потоком жизни, среди толпы и тесноты мчал я половину сердца, и всюду мерещилась мне его вторая половина.

И радостно тогда раскрывались свежие края сердца, и лилась лучшая кровь в другую, казалось найденную, половину.

Но я ошибался. Края хоть срастались, но сердце оставалось разодранным, — разделенным надвое.

Ах, как было больно, когда разрывал и влачил, не мчал, а влачил окровавленное сердце, ибо все слышался голос:

— Ищи!..

И так было долго, и так было всегда...

И когда, наконец, настала зима, когда на голову мне опустился первый снег, я нашел то, что искал.

В последний раз встрепенулось опустошенное сердце и, бессильное, отказалось раскрыть увядшие края родной половине.

И тогда — вы понимаете? — тогда поднял я глаза вверх, к белому снегу, и взглядом затравленного зверя молил его: иди... иди... опускайся и закрой навеки...

Так снилось мне — снилось ли?

*27 октября 1904 г.*

Чернигов.

## В ГРЕШНЫЙ МИР

### *Новелла*

Там, за горами, давно уже день и сияет солнце, а здесь, на дне ущелья, царит еще ночь. Простерла синие крылья и тихо укрыла вековые боры, черные, хмурые, неподвижные, которые обступили белую церковку, словно монахини малое дитя, и взбираются кольцом по скалам все выше и выше, один за другим, один над другим, к клочку неба, такому маленькому, такому здесь синему. Бодрый холод наполняет эту дикую чащу, стремятся по серым камням холодные воды и пьют их дикие олени. В синих туманах шумит Алма, и сосны купают в ней свои косматые ветви. Спят еще великаны-горы под черными буками, а по серым зубцам Бабугана, как густой дым, ползут белые облака.

На дне ущелья тихо, пасмурно. Лишь слабые, жалобные звуки монастырского колокола печально раздаются в долине...

Монастырь уже не спит. Из кельи матушки-игуменьи выбежала келейница и металась по подворью, как угорелая. Сестра Аркадия, скромно опустив ресницы над постным лицом, спешила к матушке с букетом роз, еще мокрых от росы; ее провожали недобрые взгляды встречающих монашенок. Из летней кухни столбом валил дым, а послушницы, в темных одеждах, бродили по двору, ленивые и заспанные. В белой часовенке, где в каменную чашку стекала чистая целебная вода, ровно горели, словно золотые цветы, свечи, зажженные кем-то из богомольцев.

Две послушницы гнали коров на пастбище. Старый монах, оставшийся на приходе с того времени, как монастырь был превращен в женский, худой, сгорбленный, иссохший, точно вырытый из земли, тащился в церковь. Едва передвигая дрожащие ноги и стуча по камням посохом, который ходуном ходил в его сухой руке, он метал последние искры из потухших глаз и бранился:

— У-у, проклятые!.. нагадили... женского пола!..

И тыкал посохом вслед коровам.

Послушницы посмеивались.

Из окна матушки-казначей выглянуло к ним бледное, виноватое лицо с большими глазами, окруженными синевою, с растрепанными волосами, без клобука

— Опять матушке Серафиме видение было,— тихо сказала младшая послушница, переглянувшись со старшей.

Синие глаза у той грустно улыбнулись.

Гнали коров высоко, к вершинам, на горное пастбище. Слегка раскачивая рыжими боками, взбирались по крутым тропинкам коровы, за ними шли сестры. Впереди младшая — Варвара, крепкая, коренастая девка, за ней Устина, тонкая, хрупкая, в черной одежде, совсем как монахиня. Лес обступил их, холодный, печальный и молчаливый. На них надвигались черные буки, одетые трауром теней, седые туманы со дна обрывов, росистые травы, холодные скалы. Над головами катились волны холодной черной листвы. Даже синие колокольчики сеяли холод на травы. Каменная дорожка, словно тропа дикого зверя, петляла по склонам горы гуда и сюда, все выше и выше. Пестрые мраморные стволы буков сползали с дороги вниз, точно обваливались, и расстилали темную крону уже у самых ног. Цепкие корни сплетались в клубки и ползли по горам, как змеи. Монашенки шли дальше. С одного места им удалось увидеть дно ущелья, маленькую церковку и белые домики, где жили сестры. В церковке пели. Женские голоса, чистые, высокие и сильные, словно ангельские хоры, тянули священную песню. Она так странно звучала вверху, под черным куполом.

Устина остановилась. Затихшая, просветленная, слушала пение.

— Пойдем,— сказала Варвара,— уже поздно... Матушка-игуменья велела малину собирать, когда возвратимся из лесу...

Устина вздохнула.

— Когда то и я так пела... пока голос не пропал от простуды... — грустно сказала она.

И понесла в груди дальше, в черную тишину леса, чапевы, которых не могла уже извлечь из слабого горла

А тишина, правда, стояла великая. Камешек, скагившись из под копыта коровы, сухая ветка, задетая ногой, издавали такой треск, словно что-то огромное рушилось в горах и рассыпалось. Эта тишина раздражала: хотелось вскрикнуть, зашуметь, хотелось ее спугнуть

Дальше попадались уже сосны, старые, рыжие, косматые. Их длинные ветви спускались в провалы, как руки. По сухим иглам скользила нога. Сосновые шишки, большие и пустые, катились под ноги или глядели из травы десятками глаз на поникшие головки синих колокольчиков

— А матушка-игуменья и сегодня сердитая,— сказала Варвара... — Давно ли помирилась с матушкой-казначеей... плакали, целовались и снова подняли шум... Зовут вчера к себе матушку Серафиму: «Ты, говорит, снова за свое? Ты снова против меня бунтуешь сестер? А а! я знаю, они тебя больше любят, чем меня, я, видите ли, деспот, мучу всех, на работе изнуряю, голодом морю... Я лучше ем, я себе рыбу покупаю, я все варенье с чаем съела... я... я... Я всем покажу! Я здесь игуменья. Всех прогоню, расточу мерзкое племя, расстелю по свету...» А сама даже пожелтела, палкой стучит об пол, и клобук, прости господи, съехал набок... Ну, матушке Серафиме сразу же ясно стало чьих рук это дело. Она говорит «Это все Аркадия наплела...» Зовут Аркадию. Та — глаза в землю, голову набок — и я не я... это, верно, Секлета... Зовут Секлету. Га плачет, клянется... Потом Секлета при всех сестру Аркадию лгуньей и шпионкой назвала... Чуть не дрались...

— Да, слышала... Сестра Секлета дурно поступила... Для бога все надо стерпеть...

Устина закашлялась.

— Не быстро ли идем?.. Надо терпеть... Не стерпишь, если Аркадия на всех плетет матушке-игуменье. Та за работой стояла, а та ленится, а та есть не хочет за трапезой, отдельно в келье свое ест... а та матушку-ключницу судила, скупая, мол... Ну, матушка-ключница гневается, а обеды еще хуже, отошаешь на работе... Перессорятся все, перегрызутся, огнем друг на друга пышут, все злые... Слова не промолвят друг другу... Вот как Секлета с Мартой... Полгода не разговаривают... враги лютые... По целым дням кипит у нас, как в пекле; господи, прости прегрешения мои, а матушка-игуменья... Ах! Как же здесь хорошо!

Послушницы остановились.

Пока они взбирались наверх, ущелье все глубже и глубже уходило у них из-под ног, вращало в землю, в черную пропасть, а горы тем временем росли, вырастали и разворачивались. Из-под сосен, как-будто из окон, виднелись далекие и близкие горы. Словно острова на море тумана. Уже начало рассветать. Воздух стал прозрачным и чистым, и буки зазеленели в нем, как рута. А там, где солнце коснулось верхушек дерев, листья вспыхнули золотисто-зеленым огнем и стали прозрачными, как стекло. Казалось, они звенели. Рядом курилась туманом тяжелая гора, поросшая соснами, задымленная, вся спаленная огнем, который лизал еще красным языком верхушки стволов. А там снова буки и грабы, залитые синей тьмой ночи, словно увитые грезами, сбегали, как лестница Иакова, с неба в долину и сливались с далекими тенями гор, прозрачными и легкими, как дым камильниц. И вся эта гармония линий и красок, этот предутренний сон неба, эта песня тишины поднимали душу в небо.

— Какая красота, господи! — вздохнула Варвара.

— Хорошо.. а осенью лучше,— ответила Устина.

Она любила осеннюю пору, когда воздух так прозрачен, что горы, казалось, сдвигаются и стоят, как стены храма. Лес одевался тогда желтой и красной листвой, а солнце обращало ее в золото и огонь. Устине казалось тогда, что это сонмы священников в золотых ризах с зажженными свечами в руках совершают богослужение, а купы черных сосен, словно сестры-монахини,



благоговейно склонившись, слушают святые слова. Она слышала тогда песнопения.

Она любила холодные осенние ночи, полные лунного света, когда ревели в далеких горах олени и вели смертельные битвы, а горные леса, как море, катили черные валы, по которым плыла, словно лодочка с парусом, белая церковка.

Так страшно было в такие ночи.

Послушницы двинулись дальше, а за ними двинулись и горы, меняя формы и краски.

Коровы зашли уже далеко вперед, и надо было догнать их. Лес становился все гуще, чернее. Всюду громоздились сосны; буки уже не встречались. Тропинка делалась круче. Усыпанная хвоей, от которой шел прелый дух, она преграждалась подчас огромным деревом, вывороченным с корнем, сухим и колючим. Пахло чебрецом и диктамнусом.

Вдруг в чаще леса что-то мелькнуло и тут же исчезло. Словно ожили ветки. Это промчались стройные, тонконогие серны. И снова все тихо. Снова черный купол и влажный холод.

— Ты говоришь: терпи... — начала снова Варвара. — А где же правда? Вот хотя бы и ты. Такая тихая, спокойная, уже рясофорная, а ведь есть враги... Все знают, что ты больна, не можешь есть нашу пищу. А матушке-игуменье говорят, что ты привередничаешь... Кто пляшет около нее, льстит ей, тот и в милости, на тяжелую работу не ходит. А тебя посылают...

Устина молчала.

Коровы заревели, должно быть почувяли стадо. Пастбище было уже близко. Надо было спешить. И в самом деле.

Вдруг лес поредел. Сосны будто расступились и окружили поляну, свежую, хмурую, куда, как на ложе, падали синие росы. Древний дуб, посаженный посреди поляны святым Косьмою, черный, косматый, словно заменив святого, уже издали приветствовал гостей, просил отдохнуть.

Коровы бродили по пастбищу, а черные буйволицы, маленькие и горбатые, оставив еду, повернули к гостям свои мохнатые шеи и смотрели на них красными, злыми глазами.

Под дубом варил что-то на костре пастух.

Теперь можно было возвращаться домой. Но им не хотелось. Разгоряченные крутыми тропинками, напоенные воздухом гор, послушницы были веселы.

— Поднимемся дальше, наверх,— просила Варвара.

Она вся раскраснелась, ощутила вкус свободы и совсем забыла о малине.

Устина не сопротивлялась.

Вверху лес был гуще и еще чернее. Горы куда-то исчезли. Настала ночь. Косматые ветви, словно черные медвежьи лапы, протягивались над ними, ловили за спины и били по лицу. Варвара с Устиной то и дело кланялись им, будто принимали благословение. Запыхались, вспотели, едва переводили дух и все же карабкались дальше. Проходили мимо полян со свежевытопанной травой, где еще этой ночью лежали олени; проходили мимо невиданных в долине цветов, серых мхов, которыми, как косами, обросли деревья. Карабкались все дальше. Еще немного... вот уже скоро... еще...

И вдруг остановились. Слепли. Море света залило им глаза. Дрожащие, взволнованные, раскрыли глаза. Перед ними лежал тот далекий, грешный мир, из которого они бежали когда-то в тихую, черную яму, — заманчивый, веселый, весь в сиянии, как мечта, как сам грех. Далекое море открыло широкие объятия зеленой земле и радостно трепетало, словно живая небесная лазурь. А земля млела и смеялась в объятиях, как женщина, упоенная страстью, и блестели на солнце ряды белых домов, как мелкие зубы у ней, а зеленые долины стлались, как косы. И весь этот чудный край плыл куда-то в море теплого света в широком, беспредельном, синем просторе... С левой стороны грузно лежал на земле угрюмый Чатырдаг, а с правой — громоздилась на небо чортова лестница Бабугана, нагретые скалы, серые, голые, как мать-земля родила.

Послушницы застыли, как очарованные. И в то время как Варвара слушала какие-то голоса, сладкие, искусительные, какие-то призывы грешного мира, душа Устины раскрывалась в синем воздухе и пела молитву тем чистым голосом, какого никогда не могло уже издать ее слабое горло.

Варвара опомнилась первая.

— А наша малина! — вскрикнула испуганно, и этот возглас сбросил их внезапно с горы в долину, под белую церковку и тесные кельи.

Снова черная тьма, снова море листвы, та же дорога. И пока мчались по крутым тропинкам, как дикие серны, соседние горы, залитые уже солнцем, зеленые и черные, высокие и чуть пониже, скакали за ними, росли и падали, исчезали и вновь появлялись, чтобы гнаться за ними. Добежали до церкви.

Снуют по подворью монахини, словно лунатики. Туда и сюда. Из кельи в кухню, из кухни в келью. Словно ищут то, чего не теряли. Солнце уже припекает. Стоят богомольцы. Одна монашенка кричит другой:

— Сестра Макрина, неси самовар гостям...

— Неси сама...

И обе исчезают.

Горбатая сестра Анфиса сидит уже в лавке среди икон, злая, надутая, чем-то недовольная, словно паук вся опутанная паутиной злости, и следит недобрыми глазами за богомольцами.

Богомольцы ждут, сбились в кучу. Высокая, черная, важная, плывет в часовенку к чаше с водою сестра-казначей. В руках у нее сачок на длинной палке, весь в крестах; она будет ловить им не рыбку, а деньги, которые набросали в воду богомольцы. Даже денежный мешок на поясе у нее защищен святым крестом.

Останавливает Варвару

— Что же вы делаете? Почему малину до сих пор не собираете?.. Да ведь матушка-игуменья..

Молчат виноватые, хотят броситься бежать.

Матушка Серафима опускает очи долу и тихо говорит:

— В эту ночь снова мне видение было...

Теперь уже нельзя бежать. Матушка-казначей любит поделиться с младшими. Те ее больше понимают.

Она снова вздыхает, потом устремляет окруженные синевою глаза куда-то в пространство, в лесную тьму, и почти шепчет:

— Только задремала — слышу, снова он стоит над мной. Раскрываю глаза, а он такой благолепный, кудри вьются по плечам, щеки румяные, глаза — как свечи...

положил свою руку мне на плечо и говорит: «Зачем лежишь тут на моем ложе? Это моя келья, я жил здесь долго, спал здесь, молился...» А мне страшно, огонь идет по телу.. Не сатана ли это в образе прекрасном, посланный из ада во искушение.. Свят, свят, свят.. А он наклонился так, что кудри щекочут... «Вставай, Серафима...»

— Матушка, нельзя ли нам самовар? — перехватывают богомольцы какую-то монашенку.

— Надо бы сестре Марии... — и проходит дальше.

Сестра Анфиса появляется в дверях лавки.

— Вот так... друг на друга и сваливают... уж и ленивые, господи! — закидывает она сеть.

— А вам какое дело?

— А такое... Дух лености побеждается духом трудолюбия...

— А о духе сквернословия забыли?.. Прочитайте лучше для себя... Недаром о вас говорят...

— Пусть господь простит тому, кто говорит дурное. А кто говорил? Что говорил? Дармоедки. лгуны, трешотки... вот я матушке-игуменье скажу...

— Говорите!.. про вас все знают...

Из кухни выбегает сестра Мария. Глаза заплаканные, красные.

— Ссорились? — любопытствует сестра Анфиса. — Ах, и грех же...

— Помирились... Три дня молчали... Даже тоска взяла...

— Надолго ли?

— А господь знает...

— Тут богомольцы самовар просят... Чаю хотят попить...

— Самовар? Вот бы сестра Секлета... Да где же это Секлета?.. Секле-та! Секлета-а-а!..

Напрасно разносился этот зов по мертвому двору, напрасно бился о лес, о стены церковки, которая тихо дремала на солнце, вся белая, как вишня в цвету. Никто не откликнулся.

Тихо журчала в часовенке, стекая в чашу, целебная вода, а над нею пылали свечи, как огненные цветы.

— Сижу я, дрожу вся,— тянет свое матушка Серафима,— стыдно так мне, удивительно, а он наклонился

и гласом таким сладким, таким певучим... Вы смеетесь? — вдруг резко спрашивает она монашенка, наморщив лоб и вся побелев.

— Да нет, матушка... господи!..

— Вы смеетесь... я вижу... Да ведь это же был инок... инок, говорю вам, монах, а не кто-нибудь... У-у! маловерные, у них на уме один только грех... Марш сейчас же малину собирать!.. Прочь!.. Не надо мне никого... ничего... У-у!..

И, бросив на послушниц гневный, болезненный, как у мученицы, взгляд, матушка-казначей подняла вверх длинный сачок, как защиту от напасти, и пошла к часовенке.

На ходу она слегка покачивалась и гнусавым голосом бубнила:

— Святые бесребренники и чудотворцы Косьма и Дамиан, посетите и исцелите немощи наши, туне приясте, туне дадите...

Золотые кресты на ручке сачка блестели на солнце...

В малиннике тихо. Хотя сестра Секлета вместе с сестрой Мартой и собирали там ягоды, но они уже полгода не разговаривали друг с другом.

— А тут была матушка-игуменья, — окликнула подошедших послушниц Секлета, — о вас спрашивала... Сердится, что мало собрали малины..

Барвара с Устиной принялись за работу. Они тоже притихли. Сама ведь матушка-игуменья сердится!..

Как будто еще тише стало в малиннике. Молчали сестры, молча стояли зеленые стены гор, тишиной оделась глубокая долина, мягко устланная зеленым буком, налитая золотом солнца; семь черных вершин молча глядели в глубину, а по склонам их спускались рядами сосны, словно крестные ходы монахов. И только глубоко, на дне ущелья, прыгая со скалы на скалу, ревели и шумела быстрая Алма и расплескивала холодные воды по каменистому ложу.

Так тоскливо стало. Игуменья сердится!.. Все эти четыре монашенки, молча бросившие спелую малину на дно корзин, испытали уже гнев матушки-игуменьи. Все они были покараны еще этой зимой. Устине вспомнилась эта памятная зима... По целым дням и ночам сыпал и сыпал снег и наконец засыпал ущелье. Засыпал

дороги, засыпал леса, долины и Алму... От всего света отрезал... А когда тучи разорвались и осели на горы, пал с неба холод, словно гнев божий... Трещали в испуге деревья, трещала церковь, и вянули сестрички. Солнце спряталось за горы и ходило где-то там в короткие дни, а в ущелье осталась ночь... Долгая, бескрайняя и печальная, как плащаница. По целым дням горел в кельях свет, дремали над коврами сестры, гнули спины и портили глаза... Начались ссоры, росла распря, гнулась вражда, долгая, упорная, как эти дни — ночи. Когда же гасили свет и грешное тело шло на покой, сон бежал от глаз и замерзал где-то в келье. Нельзя было заснуть... Так было холодно...

По целым ночам дрожали сестрички, а дров не давали... Матушка не велела. И вот они согрешили. Она, Варвара, Секлета и Марта да еще две монашенки... Тайком, по ночам, проваливаясь глубоко в холодный снег, они собирали в лесу сухие сучья и согревали кельи. Дозналась матушка — из монастыря прогнала. Всех шестерых... Пошли они с плачем по снегу и холоду, в плохой одежде... Стыдно было, жалко... Но уже с дороги их вернули... Смилоствилась матушка-игуменья... Две не захотели, ушли в мир... С тех пор и голос пропал у нее, как простудилась.

— Где-то теперь Ганна, та, что не захотела вернуться? — подумала вслух Устина.

— Я видела ее, когда ездила в город, — отозвалась Марта. — Замуж уже вышла. Муж слесарь, она лавочку держит... Такая веселая, здоровая... Вспомнить, говорит, не могу...

— А вот Мария умерла... царство небесное... — вздохнула Варвара.

Все тоже вздохнули и замолкли.

— Одни говорят, что с горя, а другие, что простудилась, когда брела по глубокому снегу, — бросила Секлета.

Никто не ответил ей.

Снова стало тихо. Только гнулись стебли малины и дождем падали ягоды в корзину.

— Отчего это, скажите мне, сестры! — спросила Варвара и даже сделала большие глаза. — Когда раньше люди спасались, то добро другим делали... а теперь...

— Все от бога... Не судите, и вас не осудят, — строго наказала Устина.

Все понимали, на что Варвара намекает.

— Да будет вам! — крикнула веселая Секлета. — Чови, Варвара! — и бросила в нее спелую ягоду.

Варвара раскрыла рот, но ягода не попала.

— Ну теперь ты! — и в рот Секлеты полетела малина.

— Хороша малинка? — послышался сбоку знакомый голос.

Как из-под земли выросла сестра Аркадия с постным лицом, с набожно сложенными на животе руками:

Никто не откликнулся.

— А я еще не кушала... Дух чревоугодия побеж-дается... — и, видя, что ее не слушают, сестра Аркадия криво усмехнулась и тихонько пошла дальше.

— Христа продала бы, — сказала Секлета.

Они уже кончали работу, когда прибежала келейница.

— Несите скорей малину... и идите все к матушке-игуменье. Зовут...

«Ну, что-то будет!» — подумали сестрички.

\* \* \*

Зигзагом вьется белая дорога из святого монастыря в грешный мир. Вздвигаются над нею горы, шумят старые буки, клокочет в долине Алма...

Солнце было уже низко. Зелеными огнями горели на нем вершины буков, блестели, как серебряные колонны, стволы, и блуждали под ними их легкие тени. А там, где солнца уже нет, громоздились в небо темные стены, с некоторых глядели глубокие и черные сумерки.

Шли по дороге монашеники. Поникшие головы, красные глаза, узелки за плечами, палки в руках. Впереди Варвара, за ней Устина, а там две другие, что собирают малину. Брели из рая в грешный мир, так и не опомнившись, не придя в себя. Так быстро все это стряслось! Беда застигла их, как дождевая туча. Устина до сих пор еще дрожала, перед глазами у нее все еще стояла высокая черная матушка-игуменья: желтые мешки скачут под злыми глазами, палка трясется в руке, золотой крест скачет на груди. «Где малина?.. Сожрали?! Малина моя

где?.. Распутницы!.. Вон отсюда!..» Сестра Аркадия с постным лицом подает матушке святой водицы, просит напиться... «Прочь с глаз моих... Вон отсюда!.. Всех разгоню... я... я...» Льет на пол вода, палка ходуном ходит, крест скачет на груди, и скачут мешки под глазами...

Потом хаос, что-то смутное, чего и не вспомнишь... убогие узелки с убогими пожитками... дрожащие руки... слезы монашенок... Слова утешения украдкой, тайком, чтобы старшие не видали — и под ногами дорога, долгая, постыдная... А в мозгу точно топором рубит: «Сожрали?.. вон отсюда!..» Даже деревья шепчут в черных вершинах: «Сожрали? Вон отсюда!..»

Щеки у Устины пылали, и раскаяние жгло грудь. Какая-то малина!..

Сестра Варвара шагала твердо, упрямо, будто рвала цепи. Сдвинула брови, сжала губы и стучала палкой о землю. Ни разу не остановилась, не оглянулась. Вся фигура говорила: прочь от рая, ближе к грешному миру.

Позади — враги. Шли молча, одинокие, словно разделенные стеной. Даже тени их врозь плыли по дороге.

Сестра Устина была подавлена. Не в силах была ничего позабыть. Она не забыла своей кельи, тесной и тихой, как могила... Вечерних теней, трепещущих от света лампадки... маленького оконца, вмещавшего в себе высокие горы, и чистое небо, и ясное солнце... прекрасный мир божий... Ее душа не могла оборвать вдруг священные мелодии, чистые и прекрасные, как ангельские хоры. Забыть сладкие молитвы на каменном полу, в углу темной церкви... Черных сестричек, идущих рядами... Всего, к чему привыкла. Что с нею будет? Куда деваться? В широком, чужом мире, от которого отвыкла. Куда ведет эта белая дорога, петляющая в горах, чужих, неизвестных, холодных?

А лес молчал. Молча шли сестры, и каждая отдельно несла свои думы.

Вдруг что-то послышалось ей. Нет, только послышалось...

Так жалко, так грустно, душа исходит слезами.

— Сестра Секлета, где заночуем?

Ласковый голос... Кто это сказал? Тепло, сердечно, словно солнце вечернее?.. Это послышалось ей...

— Сестра Секлета, где заночуем?



— Сестричка Марта?..

Неужели это враг обратился к врагу?

Даже Варвара вздрогнула и остановилась.

Они оглянулись.

Сестра Секлета лежала на груди у Марты, и черные плечи ее сотрясались от плача.

— Прости!

— Бог простит!

Устина взглянула на Варвару. Бледные губы у нее дрожали, как у малого дитяти.

У Варвары текли слезы из глаз...

Что-то тяжелое, мучительное подкатилось Устине под сердце и вдруг пропало. Стало так легко, так радостно, как еще никогда. Она стояла и шептала бессознательно:

— Сестричка... сестра...

И это маленькое слово, сказанное так искренно врагами, здесь, на пути в грешный мир, слово, которое она прежде тысячи раз повторяла холодными устами там, в монастыре, вдруг приобрело для нее какую-то необычайную красоту, какое-то особое тепло и пело в душе, как песня.

Она словно впервые произнесла: сестра... сестричка...

Оно соединило их лучше, прочнее, чем раньше.. От него расступились черные боры и не страшным стал этот неведомый, далекий, этот грешный мир...

Всем стало легко. Все обнимались.

— Сестра Секлета!..

— Сестричка Марта...

Всем им хотелось как можно чаще произносить это слово — новое, только что найденное, простое и родное.

Всем им хотелось взяться за руки и идти так дальше, в мире и покое.

— Сестра Устина...

— Сестра Варвара...

Солнце пряталось за горами, и черный мрак вставал из мертвого бора. Но им было все равно. Они все знали, что там, в долине, куда они идут, еще светит солнце и бьется волна живой жизни.

*17 августа 1904 г.*

Чернигов.

## СМЕХ

Бледная, невыспавшаяся пани Наталя приоткрыла дверь из спальни в столовую, где Варвара уже вытирала пыль. Застегивая на ходу белую утреннюю блузу, она тихо и как будто со страхом спросила:

— Вы еще не открывали ставен?

Варвара бросила тряпку и собралась было бежать.

— Сейчас открою.

— Нет... нет, не надо... пусть будут закрыты весь день!.. — быстро и испуганно. приказала она прислуге.

Коренастая Варвара удивленно подняла на нее свое широкое, землистого цвета лицо.

— Сегодня, пожалуй, беспокойно в городе. Недобрые люди то и дело ходят теперь по улицам. Как бы еще к нам не забралась. Не ходите сегодня на базар. Найдется у нас что-нибудь приготовить?

— Мяса нет.

— Ничего. Обойдется... Готовьте, что есть. А на улицу не выходите и в квартиру никого не пускайте. Нас нет дома... понимаете? Все уехали. Разве кто-нибудь из знакомых, тогда другое дело.

Пани Наталя говорила эти слова приглушенным голосом, почти на ухо Варваре, светлые близорукие глаза ее при этом беспокойно блуждали.

Когда Варвара вышла, пани Наталя посмотрела вокруг. В комнате стоял полумрак, и только желтые полоски света пробивались сквозь щели закрытых ставен и разливались в воздухе мутными струйками. Пани Наталя подергала железные болты ставен, поправила гайки

и тихо пошла в другие комнаты, сторбленная, белая, как привидение. Осматривая все ставни со стороны улицы, она прищипывала иногда ухом к окну и напряженно слушала. Оттуда неслись какие-то неясные, смешанные звуки, которые казались ей иной раз необычными и тревожными.

Она думала о нынешнем дне. Чем-то он кончится? Мало еще давили людей казацкие кони, недостаточно пролили крови штыки и пули, — понадобилось еще натравить темный народ на интеллигенцию. Сколько она просила мужа: уедем куда-нибудь на это время, заберем детей, — не захотел... и вот теперь дождалась... Ах, боже мой! И за что же?

Она невольно вспомнила грязные, бессмысленные, грубые воззвания, которыми вот уже несколько дней засыпан был город. Призывали бить и резать всех врагов правительства... Там ясно стояла и их фамилия... Да, адвокат Валерьян Чубинский... Эта фамилия была ненавистна полиции, и теперь она стояла в списках...

В соседней комнате послышался детский смех и крик.

Пани Чубинская бросилась туда.

— Тс! Тише!.. Ах, боже мой! да перестаньте же кричать!..

Она отчаянно махала широкими белыми рукавами, как птица крыльями, а вокруг бледных губ легли у нее складки невыразимой боли. Она успокаивала детей и озиралась на окна, словно боялась, что эти живые голоса долетят сквозь них на улицу.

На помощь пришла Варвара. Спокойные движения, с какими она сновала по комнате, собирала платье и натягивала детям чулочки, уверенные, тяжелые шаги босых ног, серьезное лицо — от всего этого веяло на пани Наталью покоем. С таким верным, рассудительным человеком было как будто бы безопаснее.

— Варвара, вы были на улице? — спросила пани Наталья.

— Нет, не была. Постояла немного у ворот.

— Что же там... спокойно?

— Да так... Приходили какие-то люди, спрашивали пана.

— Люди приходили? Какие же это... люди?

— А кто их знает... люди...

— Что же у них... было что-нибудь в руках?

— В руках? Палки были.

— Палки?

— Я сказала, что пана нет... все уехали.

— Хорошо сделали, Варвара, хорошо... Так помните, Варварушка, дома, кроме вас, никого нет... Ах, боже!!.

— Варвара! Варвара!.. — услышался из столовой раздраженный голос пана Чубинского. — Почему до сих пор ставни не открыты?

Пани Наталя задержала рукой Варвару и бросилась в столовую.

Там стоял ее полуодетый муж и шурил подслеповатые глаза. Он еще не успел надеть очки, плохо видел, и лицо его, обрамленное русыми волосами, казалось растерянным и помятым.

— Валерьян, милый, пусть так будет. Это я велела... Ты знаешь, какой сегодня день! Я тебя сегодня никуда не пушу!..

— Вот глупости. Пусть сейчас же откроют ставни.

— Ах, боже мой... Ну, я тебя прошу... Ради меня... ради наших детей...

У пани Натали выступили на скулах красные пятна.

Пан Валерьян сердился. Что за выдумки! Все равно никуда не убежишь. Но в глубине души он чувствовал, что жена поступила правильно.

Вскоре Варвара внесла самовар. Все сели за стол.

В комнате было темно и как-то странно. Желтые зайчики света трепетали на стенах и на буфете, ветер рвал ставни и стучал ими. Дети — мальчик и девочка, — удивленные необычной обстановкой, перешептывались друг с дружкой, пан Валерьян раздраженно барабанил по столу пальцами. стакан чаю был перед ним, а он нетерпеливо закусывал свою русую реденькую бородку и смотрел куда-то поверх очков. Уже несколько дней он замечал каких-то подозрительных субъектов, которые следили за ним, куда бы он ни пошел. По ночам у окон маячили какие-то темные фигуры и жались к заборам, когда на них обращали внимание. А вчера, проходя по улице, отчетливо услышал позади себя ругательство, которое, наверно, относилось к нему. «Оратор, оратор», — злобно шипел какой-то здоровенный черный мужик и сверкнул на него глазами, когда он обернулся. Пан

Валерьян ничего не сказал об этом жене, чтобы не волновать ее, и вдруг перед глазами у него промелькнуло целое море голов... голозы, головы, головы... потные, разгоряченные лица и тысячи глаз, которые смотрят на него из тумана сизых испарений. Он говорил. Какая-то горячая волна била ему в лицо, врывалась с дыханием в грудь. Слова вылетали из груди, как хищные птицы, отважно и метко. Речь, кажется, удалась ему. Ему удалось так просто и ярко обрисовать противоположность интересов тех, кто дает работу, и тех, кто должен ее брать, что даже самому этот вопрос стал яснее. И когда ему рукоплескали, он знал, что это аплодирует разбуженное сознание... Да, но что будет сегодня? В самом деле, что будет сегодня?

Чубинский взглянул на жену. Она сидела, выпрямившись, и прислушивалась. На бледном лице застыло выражение испуганной птицы.

Эти закрытые окна и впрямь раздражают. Что там, за ними, на улицах, на этих неведомых реках, по которым плывет чужой тебе народ, готовый каждую минуту разлиться морем страстей и затопить берега.

Вдруг кто-то постучал в ставню.

Пани Наталя даже подпрыгнула на стуле.

На минуту все окаменели.

— Ну, чего ты пугаешься? — рассердился пан Валерьян. — Вероятно, дети шалили и задели ставню, как это часто бывает, а ты сразу же бог знает что подумала...

Из кухни прибежала Варвара.

— Что случилось, Варвара? — испугалась пани Наталя.

— Паныч Горбачевский пришли... Они через двор зашли в кухню.

— А-а!.. пусть заходит, пусть... — Студент Горбачевский уже высовывался из-за спины Варвары.

— Что там слышно, рассказывайте!.. — приветствовал его хозяин.

— Кажется, скверно. Всю ночь, говорят, у Никиты был черносотенный митинг. Пили и советовались, кого бить. Прежде всего будто бы решили уничтожить «ораторов» и «демократов».

— Ах, боже!..

— Вы не пугайтесь, пани, может быть, ничего и не будет. На улицах какое-то подозрительное движение. Бродят кучками по три-четыре человека... Лица сердитые, суровые, а глаза недобрые, злые, так и сверкают огнем, как увидят интеллигента... Дайте мне чаю...

Пани Наталя дрожащими руками налила стакан чаю и, расплескивая по дороге, подала студенту.

— Ну, что же дальше? — спрашивал пан Валерьян, срываясь с места и бегая по комнате.

— Спасибо. Прошел через базар. Народу много. Там раздают водку. Идут какие-то таинственные совещания, но о чем говорят — трудно сказать. Слышал только несколько фамилий: Мачинского, Залкина, вашу...

— Ах, боже!..

— Вы не пугайтесь. В воскресенье обычно больше народу и пьют водку... Нельзя ли попросить хлеба? Спасибо. А все-таки удивляюсь, почему вы не уехали на это время из города? Бегу сейчас к вам — вижу: ставни закрыты, значит, никого нет, забежал только спросить — куда и надолго ли, а вы, оказывается, сидите себе здесь.. Вы рискуете, вы очень рискуете...

— Вот видишь... Не говорила ли я, не молила ли я его — уедем куда-нибудь, возьмем детей... — чуть не плакала пани Наталя, прижимая руки к груди и глядя на гостя умоляющими глазами, как тогда на мужа.

— А, да что теперь об этом говорить, — раздраженно крикнул пан Валерьян и продолжал бегать по комнате. Он курил папиросу за папиросой и разбивал головой облака синего дыма, которые ползли за ним длинными волнами, как туман в горах.

— Ах, что творится... что только творится...

Это говорил кто-то другой, высоким женским голосом.

Все обернулись к дверям в кухню, откуда, впуская на мгновение свет, влетела в столовую маленькая, кругленькая женщина. Шапочка съехала у нее набок, рыжие волосы растрепались и пылали, точно она принесла на них пожар с улицы.

— Ах, как тут темно. Где вы?.. Где вы?.. — Она ни с кем не поздоровалась, подбежала к столу и упала на стул.

— Милые мои, дорогие мои... вы еще живы? А я думала... Уже началось... Толпа ходит по улицам с

царским портретом. Я только что видела, как били Сикача.

— Которого?

— Младшего, студента... Не снял шапки перед портретом. Я видела, как его, уже без шапки, красного, в изодранной гужурке, согнув вдвое, бросали с рук на руки и все били. Глаза у него такие огромные, красные, безумные... Меня охватил ужас... Я не могла смотреть... И знаете — кого я видела в толпе? Народ... крестьян... в серых праздничных свитках, в больших сапогах, простых, почтенных хлеборобов... Там были люди из нашего села, тихие, спокойные, трудолюбивые...

— Это худший элемент, Татьяна Степановна, — отзывался студент Горбачевский.

— Нет, не говорите, я их знаю, я уже пять лет учительствую в этом селе... А теперь сбежала оттуда, потому что меня хотели избить! Это старая дикая ненависть к господам, кто бы они ни были. У нас всех разграбили. Ну, пусть бы еще богатых... Но зот кого мне жаль, это нашу соседку. Старушка-вдова, бедная. Один сын в Сибири, другой в тюрьме сидит... Только и осталось, что старый домишко да сад. И вот уничтожили все, разобрали дом по бревнышку, сад вырубил, книги сыновей изодрали... Она не хотела просить, как другие. А некоторые выходили навстречу толпе с образами, с маленькими детьми, становились на колени в грязь и молили целыми часами, руки мужикам целовали... И гех гомиловали...

— Ах, ужас какой! — шепнула как-то механически пани Наталя.

Она все еще сидела, выпрямившись, напряженная, словно чего-то ожидала.

— Тс... тише... — нетерпеливо перебила она разговор.

С улицы донесся крик.

Все смолкли, повернулись к окнам и, вытянув шеи, замерли прислушиваясь.

Шум как будто приближался. Было в нем что-то подобное далекому ливню, глухому рыку зверей. А-а-а... а-а-а... — отражали высокие стены смешанные звуки, и тут, где-то недалеко, послышался топот ног по камням улицы.

— А, подлость... подлость... Я иду на улицу... — встрепенулся Чубинский и забегал в поисках чего-то по комнате.

Но на него набросились все. Они кричали приглушенными, изменившимися голосами, что он не должен выходить, потому что его только и ищут, что там он ничего не сделает, что нельзя оставлять жену и детей. Жена говорила, что умрет без него.

Тем временем крик все замирал и скоро утих.

Только напуганные дети плакали в углу, всхлипывая все громче.

— Варвара! Варвара! — кричал пан Валерьян. — Возьмите детей в другую комнату, утихомирьте как-нибудь...

Вошла Варвара, грузная, спокойная, с красными, голыми по локоть руками и заговорила с детьми так, что они сразу замолкли. Она обняла их этими грубыми голыми руками и забрала к себе.

В столовой тоже стало спокойнее.

— Какие вы счастливые, — сказала Татьяна Степановна, — у вас такая славная прислуга.

Пани Наталя обрадовалась, что среди этих страшных событий нашлась хоть одна светлая точка, на которой можно отдохнуть.

— О! Моя Варвара золотой человек... Это наш настоящий друг... Спокойная, рассудительная, верная. И представьте себе, мы платим ей всего-навсего три рубля в месяц.

— Характер у нее хороший, — добавил пан Валерьян. — Четвертый год служит... Мы к ней привыкли, и она к нам... И детей любит...

Поговорив на эту тему, гости стали прощаться, но тут Татьяна Степановна вспомнила, зачем она собственно пришла. Ей кажется, что пану Валерьяну после его речей на митингах опасно сидеть дома. Лучше переждать этот тяжелый день где-нибудь у соседей, в надежном месте.

Горбачевский возражал. Наоборот, лучше сидеть дома, не появляться на улице. Квартиры их хорошо не знают, потому что они недавно переехали сюда, а когда увидят закрытые ставни, подумают, что дом пустой.



— Нет, нет, я останусь дома... Будь что будет... — успокаивал их на прощанье пан Чубинский.

Муж и жена остались одни. Он бегал по комнате среди облаков дыма, словно хотел прогнать беспокойство.

Пани Наталя сидела подавленная.

Наконец Чубинский сел рядом с женой.

— Ну, не волнуйся же так, — заговорил он с ней, стараясь сохранить спокойствие. — Никто нас не тронет... Покричат немного, да и разойдутся...

— Я... я уже успокоилась... Ты не обращай внимания... так, нервы немножко... Я тоже думаю, что ничего не случится...

Она едва сдерживала дрожь.

— Я уверен, что хулиганов мало, народ не пойдет за ними...

— Да, конечно, хулиганов...

— И ведь не дойдет же до кровопролития...

— Ах, боже!.. конечно, не дойдет...

Теперь, когда они остались одни, без людей, в этой темной комнате, окруженной чем-то неведомым и грозным, и пытались в разговоре скрыть друг от друга свои мысли и свое беспокойство, тревога росла, собиралась вокруг них, как гремучий газ.

Разве может он оказать сопротивление слепой злобе дикой массы, которая не ведает, что творит, он, безоружный!

Она это знала.

Ну, а если придут к ним?

Что ж, если придут, они заставят двери мебелью и будут защищаться до конца. Они забаррикад...

Динь-динь-динь... динь-динь-динь!

Сильный резкий звонок раздался в передней.

Чубинский даже подскочил.

— Не ходи... не открывай, — умоляла пани Наталя, заламывая руки.

А звонок плясал, хрипел, бесился.

Чубинский бросился в кухню.

— Варвара! Варвара!

— Тс... не кричи так...

Но Варвары не было.

Что же делать? Надо что-то делать!

Где же эта Варвара?

Вбежала, наконец, Варвара.

— Это пан доктор звонят... Сейчас идут через кухню...

Доктор почти вбежал. Высокий, большой, он махал руками, как ветряная мельница крыльями, и еще на ходу кричал:

— Сидите себе, голубчики, и не знаете, что творится... Бьют, убивают... Перережут, говорю вам, как цыплят... Разбили квартиру доктора Гарнье, уничтожили все его инструменты. Жену таскали за косы, а Гарнье забрали с собой: носит теперь портрет перед хулиганами. Вот вам раз.

— Ах, боже!

— Иваненко стащили с извозчика и проломили голову. Вот вам два. Зализко должен был принести присягу самодержавию, потому что был жестоко избит. Вот вам три. Акушерку Рашкевич, говорят, убили насмерть. Полиции нет, пропала. Нас отдали пьяной голытьбе... Надо всем защищаться. Надо всем собраться на площади у думы. Слышите? Сейчас же. Сейчас же надо собираться и отбиваться с оружием в руках.

Доктор кричал так громко, точно на площади перед народом.

Пани Натале этот крик разрывал грудь. «Ах, тише... тише... услышат...» — молили ее глаза и болезненная гримаса на лице.

Прижимала к груди руки и все с ужасом шептала:

— О пан доктор... пан доктор... будьте добры... Ах, боже...

Но доктор не слушал.

— Берите револьвер, — кричал он, — и идем сейчас же!

— У меня нет револьвера! — сердито крикнул Чубинский.

— Фью-ю! — даже свистнул доктор. — Как, у вас нет оружия? Так мы умеем только с речами выступать, а как придется... Не-ет, голубчики, так нельзя. Так нельзя... Сидите же себе тут, пока не накроют, как курицу решетом, а я пойду...

— Куда? — кричал в свою очередь пан Валерьян. — Это же бессмысленно, вы ничего не сделаете.

Но доктор замахал руками и с криком выбежал из комнаты.

На Чубинского напал теперь страх. Постыдный, подлый страх. Он это понимал. Что же делать? Куда деваться? Он не хотел погибнуть такой бесславной, страшной смертью. Спрятаться? Не одному, нет, а всем, — это очевидно. Он посмотрел вокруг. Жена стонала почти в беспамятстве и сжимала руками голову. Варвара топталась у стола. Бежать? Куда? Десятки планов вспыхивали в его мозгу, как блуждающие огоньки, и сразу же гасли. Нет, не то... не то... Животный страх гнал его по комнате, от двери к двери, а он старался подавить его и весь дрожал. «Не теряйся... Не теряйся...» — говорило что-то в нем, а мысли так и бегали, как у зверя, попавшего в западню. А? Что такое? Чего она хочет? Что-о?

— Завтрак подавать?

Ах, это Варвара.

Это немного привело его в себя.

— Что вы говорите?

— Подавать ли, спрашиваю, завтрак?

— Завтрак? Не надо. Вы же слышали?

— Почему не слышала... Х-ха!

Это «х-ха!» остановило его посреди комнаты. Он заметил, как дрогнуло лицо у Варвары, точно спокойная вода от всплеска рыбы, и одна из волн докатилась до него.

— Панов бьют... — жалобно пояснил пан Валерьян и с удивлением увидел, что грузное тело Варвары трясется, точно от сдерживаемого смеха.

— Чего вы?

— Я да-а...

И вдруг смех этот прорвался.

— Ха-ха!.. Бьют... и пусть бьют... Ха-ха-ха! Хватит! Побарствовали... ха-ха-ха! Слава тебе, господи, дождался народ...

Она даже перекрестилась.

Лицо у нее налилось кровью, глаза сверкнули, она подперла бока красными, голыми по локоть руками и тряслась от смеха, как пьяная, так что большие груди ее ходуном ходили под засаленным платьем.

— Ха-ха-ха! а-ха-ха!..

Она не могла сдерживать смех, непобедимый, пьяный, клокотавший в груди и только, как пену, швырявший отдельные слова.

— Ха-ха-ха!.. всех... искоренить... ха-ха-ха!.. чтоб и на развод... всех!.. а-ха-ха!.. — она даже всхлипывала.

Этот дикий хохот один плясал по комнате, и было от него так больно и страшно, как от безумного танца острых ножей, блестящих и холодных. Словно дождь молний сыпал этот смех: что-то убийственное, смертельное, наводящее ужас было в его переливах.

Чубинский даже ухватился за стол, чтобы не упасть.

Этот смех бил ему прямо в лицо. Что она говорит? Что-то невозможное, бессмысленное...

Пани Наталя первая сорвалась с места.

— Вон! — крикнула она тонко и пронзительно. — Вон! Она еще мне детей перережет!.. Гони ее вон!..

Варвара уже не смеялась. Только груди у нее все еще ходили ходуном, а голова низко склонилась. Она поглядела искоса на барыню и, собрав посуду, тяжелыми шагами направилась в кухню.

Босые ноги шлепали по полу.

Чубинскому стало душно. Он весь дрожал. Сделал несколько шагов вслед за Варварой и остановился... Что-то невозможное... непонятное... Какой-то кошмар...

Побежал на кухню и открыл двери.

Там было светло.

Увидел Варвару. Стояла у стола, сгорбленная, увядшая, спокойная, и что-то вытирала.

— Вар...

Хотел говорить и не мог.

Только смотрел. Большими глазами, испуганными, острыми и необычайно зоркими. Охватывал ими всю картину и мельчайшие подробности. Увидел то, мимо чего ежедневно проходил, как слепой. Эти босые ноги, холодные, красные, грязные и потрескавшиеся, как у скотины. Тряпье на плечах, не дававшее тепла. Землистый цвет лица... синяки под глазами... Это мы всё съели, вместе с обедом... Синий чад в кухне, твердую лавку, на которой спала... среди помоев, грязи и чада... едва прикрытую... Как в берлоге... Как зверь... Надломленную силу, которая шла на других... Печальную, мутную жизнь, век в ярме. Век без просвета, век без надежды...

работа... работа... работа... и все для других, для других, чтобы им было хорошо... им, только им... А он хотел еще привязанности от нее.

Не мог говорить К чему? Все так ясно и просто

Выбежал из кухни назад в столовую.

— Ты видела? — набросился на жену. — Не видела? Поди посмотри...

— Почему она не бастует? — кричал каким-то необычным для него голосом. — Почему она не бастует?

Бегал по комнате, точно кто-то стегал его кнутом; ему было душно, нечем было дышать.

Подбежал к окну и, не сознавая, что делает, начал отвертывать гайку Быстро и нетерпеливо.

— Что ты делаешь? — кричала насмерть перепуганная жена.

Не слушал. Толкнул что было силы болт Железный болт со звоном ударился о ставню, даже эхо отдалось под высоким потолком. Окно отскочило, ударилось половинками о косяки, и в комнату влился желтый, мутный свет. Осенний ветер швырнул внутрь целую тучу мелкой холодной пыли и каких-то неясных хаотических звуков.

— Почему она не бастует?

Ловил грудью холодный воздух и не замечал даже грозного клокотания улицы.

А улица стонала.

А-а-а... — неслось откуда-то издали, как от прорвавшейся плотины.

А а-а... — катилось ближе нечто дикое, и слышались в нем и звон стекла, и отдельные крики, полные ужаса и отчаяния, и топот ног огромной толпы... Скакал по улице извозчик, и гнался за ним грохот колес, как безумный... Осенний ветер мчал желтые тучи и сам бежал из города.

А-а-а... а-а-а...

7 февраля 1906 г.

Чернигов.

## ОН ИДЕТ

### *Набросок*

Приметы были плохие. Становой, кажется, не удовлетворен был взяткой и хотя обещал, что не допустит погрома, ему верили мало. Хуже всего было то, что никто наверно не знал, отменят ли крестный ход с образом спаса, который должен был состояться завтра после церковной службы. Об этом с тревогой говорили в местечке, и лавочники, забыв о покупателях, оставляли свои лавки на волю божью, а сами собирались кучками на площади, посреди местечка. Здесь приглушенными таинственными голосами, тревожно озираясь вокруг, передавали друг другу о каких-то подозрительных чужих людях, которые появились недавно в местечке, о панках-черносотенцах, которые были бы рады погрому, и о том, что их «пурицы», купцы побогаче, с раннего утра начали убегать из местечка со своими женами и детьми. Иногда разговор становился горячим и бурным, слова гремели, как возы с железом, и белые руки лавочников то и дело мелькали перед рыжими бородами. Но когда раздавался вдруг грохот колес по мостовой и большая бричка балагулы подкатывала к одному из домов побогаче, всеми окнами глядевшему на площадь, разговоры стихали, и все хмуро и злобно смотрели, как выносят поспешно из дверей всякий скарб, сундуки и подушки и бричка до краев наполняется женщинами и кудрявыми детьми. Когда же бричка исчезала, наконец, в облаках серой

пыли, разговоры снова оживлялись и переходили в крик. Извозчик Иосель, крепкий, высокий мужчина, метался по базару с кнутом в грубых, узловатых руках и хвалился, что уже отправил все три своих фургона. Он уверял, что к вечеру в местечке не будет ни одной подводы.

Солнце еще не зашло, однако лавки уже начали закрываться. Всюду скрипели железные засовы, брэнчали замки и ключи, гремели двери, заслоняя черный зев, — и в одно мгновение серые древние стены рынка выбросили вон всех людей. Площадь на минуту ожила, стала людной. Старые балабусты собрали со столиков булки и баранки, покрытые пылью, весь свой жалкий товар. Охали, стонали и, сгибаясь под тяжестью корзин, спешили домой. Черные кучки понурых, охваченных волнением людей растекались с базара по тесным улочкам, — и на площади стало так пусто и тихо, точно весь гомон жизни обратился вдруг в серый камень.

Приближался вечер. Солнце росло, пламенело и медленно опускалось вниз. Красный туман поднимался на западе, и словно кровавые призраки надвигались оттуда на город. Сначала робко, поодиночке, а потом сплошными рядами. Беззвучной процессией прошли они между опустевшими стенами, оставляя на камне горячие красные следы и отражаясь в окнах своими кровавыми лицами. Древние стены дрожали от ужаса всеми своими морщинами, и только красные маки, которые росли вверх по карнизам, приветствовали гостей смехом. А когда солнце село и пришла ночь, как черная дума земли, красные гости исчезли и местечко совсем замерло.

В доме старого шойхета Абрума, при свете сальных свечей, шло совещание. Там собрались одни старые, почтенные люди, с морщинами опыта на бледных лицах, с белыми бородами, как у далеких предков. Все говорили разом, ибо всех одно волновало. Одни хотели собрать еще денег для станowego, другим приходила в голову мысль просить защиты у попов. Иные же советовали собраться в синагоге и в молитвах провести ночь. Великий бог, который вывел Израиля из пустыни и доньне не дал ему утонуть в волнах зависти других народов, еще раз отвратит от него руку врага. Все это было хорошо, но не могло ни объединить, ни успокоить. Когда же извозчик Иосель, у которого была крепкая грудь,

перекричал всех, и заявил, что молодежь решила защищаться, что она будет стрелять, и вытянул перед собой кнут, как револьвер, — ужас сковал всем уста и белые бороды, как увядшие, утлали на грудь. Потом поднялся шум. Старый шойхет Абрум, который на своем долгом веку спокойно перерезывал горло тысячам кур и гусей, побелел и закричал: «Как! Они хотят стрелять! Эти сумасшедшие, эти безумцы! Эти политики! Они хотят пролить кровь, которая падет на наши же головы. Они накличат месть, и месть, как волк, пожрет наших детей, весь мирный народ!.. Ай-ай!..»

И все кричали вместе с Абрумом, кричали беззубые рты, кричали морщины мудрости и опыта, тряслись бороды и белые худые руки. И от возмущения и крика всем стало душно, и все даже почувствовали облегчение, как будто криком они прогнали из дома тревогу.

Это яростное возмущение скоро, однако, прошло, и крики понемногу затихли. Снова возник все тот же вопрос: что же делать? Время шло, и каждая минута, умирая навеки, рождала другую, а та приближала страшную неизвестность. Никто уже ничего не советовал. Все чувствовали усталость. И чем яснее становилось, что ничем не поможешь, что нельзя даже бежать, потому что нет лошадей, люди начали верить в чудо. Случится что-нибудь такое, что отвратит беду, крестный ход пройдет спокойно и не затронет никого. Может, не так уж все плохо? Может, ничего не случится?

Кому-то пришла в голову мысль: что скажет слепая Эстерка? Ведите сюда Эстерку!.. Она все предугадает...

И все пожелали услышать, что скажет Эстерка.

Извозчик Иосель и зять Абрума поднялись, чтобы привести слепую.

Она еще не спала. На пороге темной, как и хозяйка, хаты она сидела черной глыбой и пела. Тихие жалобные звуки, словно плач дитяти, шли снизу, от черной глыбы, и так удивительно и даже страшно было слушать эту песню, что Иосель остановил своего товарища и не решился окликнуть старуху. Он не мог разобрать, поет ли она или плачет. Наконец решился и тихонько позвал:

— Бобе!.. бобе Эстерка!..

Внизу дрожали все те же звуки.

— Бобе!.. Послушайте, бобе!



Пение стихло, и послышалось продолжительное жалобное сморкание. Когда они рассказали ей, зачем пришли, она молча встала и простерла во тьму дрожащие руки, ища опоры. Ее взяли под руки и повели. Двери темной хаты остались открытыми настежь.

Всюду, где они проходили мимо освещенных окон и открытых дверей, к ним присоединялись женщины и мужчины; дети неслись за ними, как пыль. Друг другу шептали, что слепую Эстерку, которая предугадала смерть своих детей и потом выплакала по ним глаза, ведут к шейхету.

В комнате у Абрума набилось столько народу, что стало трудно дышать. Когда же открыли окно, чтобы впустить свежего воздуха, свет упал на целое море напряженных, взволнованных лиц, и в окно влетела стоющая тревога.

И все увидели Эстерку, ее окаменевшее от горя лицо и красные глаза, из которых непрестанно стекала слеза. Слово ветер овеял все лица. Ай-ай!

Абрум хотел ее посадить, но она не села. Только оперлась руками о подлокотники стула. Ее спрашивали, ей говорили, но она не слышала. Что ей было до этого? Она, носившая в сердце великое горе, которое не могло там уместиться и лилось из слепых глаз, видела только своих сыновей, о них говорила. Она описывала все подробности, которых никогда не видала, потому что была далеко, рисовала картину так, точно она была выжжена на ее красных веках, закрывавших глаза. И голос ее звучал, как у ветхозаветных пророков.

— Я вижу зверей... всюду звери... В глазах у них огонь, а на зубах кровь... человеческая... красная... А в сердцах их волчья жадность... Они несут своего бога, и на кольях, которые они держат, кровь... кровь сыновей моих бедных. Ай-ай!

— Ай-ай! — вырвался тихий вздох из десятков грудей в доме и под окном.

— А их попы поют и черными устами возносят хвалу господу богу, а на ризах у них кровь... человеческая кровь... И рычат с попами кровавые звери и разбивают о камень головы деточек малых... Ай-ай!

— Ай-ай! — вздох трепещет вокруг, и свет от него меркнет в доме.

— Вот под ногами у меня кровь... Черная, запекшаяся... большие черные лужи. Лежат женщины, белые, как стена, и глядят их мертвые глаза на мужей... на трупы детей... И скачут по детям опьяневшие звери и ревут: смерть! смерть!

— Ай-ай! — стонут в доме и плачут на улице.

— Огонь и смерть!.. Я вижу руки, я вижу глаза, они просят пощады... Я слышу крик... Рушатся стены... стреляют... Ад... Ох, душно мне... Ох, мое сердце... А теперь слышите? Ша! Бегут по лестнице... ломают двери... А там мои дети... мои сыны милые... Ай-ай!.. Спасите! Не бейте... Лежит мой Хаим... лежит мой Лейба, они же кормили старенькую маму... и больше не встанут... Ой-ой! ай-ай!..

— Ай-ай! ай-ай! — все подхватывают вопль, и становится тоскливо и страшно, как в судный день.

А бобе Эстерка все говорила, и слезы все текли из ее слепых глаз. Разбитый старческий голос иногда звенел, как голос пророка, и тогда тишина воцарялась вокруг и люди, затаив дыхание, на дно сердца слагали каждое слово старухи, как тяжкую скорбь. Может, это не Эстерка говорит, а сама их судьба, и красный туман, который навис над ними сейчас, обратится завтра в действительность. Может, дети, которые теперь прижимаются теплыми личиками к материнским коленям, завтра будут валяться на улицах мертвые, и их будут топтать тяжелые сапожищи пьяной толпы... Ай-ай!..

Народ навис над окном и все прибывал. Растрепанная, в одной рубашке, женщина пробивалась сквозь толпу поближе к дому и прижимала к груди кривой семисвечник из старого серебра, быть может единственную ценность семьи. Толстые жилы на ее руках голубели на свету. Испуганные дети начинали реветь, женщины их успокаивали и вытирали слезы руками. Крайние вздыхали; и всю эту скорбь, и все эти слезы собирала синяя ночь и громоздила их в тучу, которая поднимала уже чело на ночном небосклоне.

Когда же Эстерка замолкла и ее поникшую, опустошенную вывели под руки из дома, народ расступился, заговорил и двинулся за ней к ее хате.

Гости шойхета разошлись, унося с собою в ночь тревогу.

Неспокойную ночь переживало местечко перед христианским праздником. До утра светились в домах огни и сутились люди, готовясь к завтрашнему дню, как к пожару. Вязали узлы и прятали все, что только можно было спрятать. И стояли повсюду плач и стон.

А когда солнце взошло, ему улыбнулись лишь красные маки с карнизов рынка да дороги, заросшие маком, которые растекались, словно кровавые реки, меж зеленых хлебов от стен местечка. Дома были хмуры, все в тених, и тени легли у людей под глазами. Старая мечеть, наполненная сейчас зерном, как некогда правоверными при владычестве турок, была черна от черных воспоминаний о кровавых событиях, миновавших, казалось, навеки, а серый рынок стоял хмурый, весь в морщинах, как старик, который все уже видел и утратил надежды.

Местечко было безлюдно. По опустевшим улицам блуждали лишь козы. Когда солнце поднялось высоко, колокол ударил на колокольне, качнул воздух и, как нож, проник в сердце. Стали появляться люди, сперва изредка, как изредка раздавался и звон. Но когда все колокола, качнувшись разом, пустились в пляс, большие, средние, маленькие, и замелькали в водухе, как метель, отовсюду высыпали люди; точно звон притягивал их к себе. И сотни испуганных глаз смотрели вслед им сквозь стекла окон.

Бледный, невыспавшийся шойхет Абрум тоже слушал звон колоколов, хотя они давно уже смолкли. Его била дрожь, и он сам удивлялся, что у него так прыгают челюсти, так трясутся руки и ноги. Ведь еще не известно, пойдет ли крестный ход, или нет, будет ли что-нибудь, или не будет. Но ведь он важное духовное лицо и не может быть лишь свидетелем народного бедствия. Наконец он решился и переступил порог своего дома. Мелкими неверными шагами, озираясь и оглядывая каждого «гоя» так, точно впервые встретился с ним, он пошел сначала по боковой улице, безлюдной сейчас, а затем свернул к площади. Из окон и дверей на него смотрели его единоверцы; и он приветливо кивал им головой и кривил в улыбку свои бледные губы. Он даже пробовал что-то говорить хриплым, сдавленным голосом, но всякий раз замолкал — таким удивительным и странным казался ему собственный голос. Да и вообще ему казалось,

что это не он идет, а кто-то чужой, незнакомый, так странно ступает трясущимися ногами по какой-то странной, как будто легкой земле. И он даже видел, как тот «чужой» идет. По дороге он встречал молодежь, бежавшую с площади, от церкви. Ему казалось, что он спрашивает, но он только стоял и молча смотрел встречным в глаза. И ему рассказывали. На ходу, торопясь, коротко, отрывисто. Много народа... из сел... и с окраин. Идут к церкви... а собирают камни... кладут за пазуху... Кто-то видел топор... под полой... И бежали дальше.

На одной улице, где народ в тревоге высыпал из домов, он видел, как круглолицая кудрявая девушка (чья она?) металась с хорьковой шубой между людьми и всех умоляла спрятать ее. Девушку встречали болезненной улыбкой и отказывали, но своими молящими, почти безумными глазами она сеяла ужас.

Абрум пошел дальше. Мимо него проехал становой, слегка подпрыгивая на мягких рессорах. Абрум поднял руки и что-то закричал, чтобы остановить его. Но тот даже не оглянулся. Блеснул на солнце белым мундиром и золотом погон и исчез. И вдруг шойхет ощутил в сердце жгучую ярость. Его даже дрожь проняла. Теперь он пришел в себя и мог говорить. Он перехватывал встречных и всем кричал, что так нельзя... Надо защищаться. Надо стрелять из револьверов и всех перебить... Забросать поленьями, бить кольями, резать ножами... Поднял страшный крик. Запуганные люди выбегали из домов и умоляли его замолчать.

— Тише, реб Абрум, тише... ша!

Но он не мог успокоиться.

Бледный, с пеной у рта, со страшными глазами, он кричал на всю улицу; словно хотел заглушить криком собственный ужас.

— Зачем молчать? И до каких пор молчать? Мы всё молчали...

— Реб Абрум... ну, успокойтесь же... ша... Реб Абрум...

Те, кто не знал, отчего поднялся крик, думали, что уже началось. Они выбегали из домов наготове, с женами, с детьми, с узлами в руках, и задворками, через огороды, убегали в поле, в высокую пшеницу.

Около Абрума собирался народ. К нему простерлись руки, его окружали бледные, пожелтевшие лица, красные от бессонной ночи глаза. И все молили: ша... тише... не накликай беды... Абрум замолк. И в тишине ему стало страшно. Здесь, в этом местечке, где он родился и вырос, где столько лет, до самой старости, провел, трудясь для себя и других, он оказался как среди моря на корабле, который вот-вот потонет, а вокруг бушуют волны и ревет ветер в черном просторе. И нет ниоткуда спасения. Абрум обвел всех глазами. Тревожные блестящие глаза, с которыми встретился он, сказали тоже: нет спасения...

Все тело странно напряглось у него, и он сердцем услышал тот крик отчаяния, который глубоко таился в сердце его народа, даже вырваться опасаясь оттуда.

Ему стало страшно... страшнее здесь, среди людей, чем в своем доме...

И вдруг Абрум услышал, как что-то рухнуло на него и мелкими мурашками разбежалось по телу. Это среди молчания обрушился на голову звон колоколов и помчался по городу, приплясывая и хохоча. От площади неслся топот и слышался крик: уже идет... уже идет...

Может, там бьют, может, там кровь. Он ничего не знал. Может быть, там грабят и режут... Он только сознавал, что все вокруг него пришло в движение и какая-то сила вдруг подхватила его; что его со всех сторон толкают, что над ним тяжело дышат, что он бежит и слышит вокруг себя тяжелый топот ног и чувствует, как молотом бьет сердце в груди. Нечто огромное, стоногое, пышущее жаром бежало с ним вместе, а он видел перед собой лишь длинные полы чьего-то халата, которые смешно разлетались на ветру. За ним кто-то гнался. Он мчался по тесным улицам, месил ногами глубокую пыль, пробегал мимо домов, сворачивал в сторону, и пот заливал ему глаза. Вот дом Мойше Цвейлибе, а вот хата убогой Ханы. Снова какая-то улица... еще один дом — чей это дом? Чей же, это дом? А там уже поле... Только бы добежать, только бы добежать... Вот уже и дорога. И на ней кровь? Две длинные реки с обеих сторон? Ах, нет, это ведь маки, такие страшные, красные... как человеческая кровь... Если бы добежать, если бы спрятаться, чтобы не слышать больше звона колоколов, красного

звона, который мчится вдогонку, бьет в самое сердце, приплясывая и хохоча, как безумный.

Местечко опустело. Все, кто только мог, бежали в поле или в лес. Осталась только слепая Эстерка, которую забыли взять с собой, да голодные некормленные козы, бродившие вокруг нее с жалобным плачем. А в странной мертвой тишине местечка плясали колокола. Большие, средние, маленькие. Солнце смеялось и устилало дорогу звоном, как ковром.

Эстерка сидела на пороге своей хаты, закрыв лицо руками. Она знала, что ее бросят, слепую, ненужную, одну на все местечко. Она одна встретит то, от чего все бежали, что там, в Одессе, отняло у нее сыновей. Но она не чувствовала страха. Чего бояться, когда самое страшное огнем пронизало ей сердце и выжгло там все? Не страх, а ненависть закипала в ее груди, когда она слушала колокольный звон. Эстерке казалось, что это не звуки, а сотни кровавых рук простерлись от колокольной и жадно трепещут над домами своими длинными пальцами. И ей хотелось вступить в бой с этими руками и собственным телом отвести от людей беду. Она встала с порога, простерла вперед руки, подняла лицо, по которому текли слезы из слепых глаз, и пошла навстречу звону. Сгорбленная фигура старухи с простертыми руками, сухая и решительная, казалась страшной среди безлюдья. Она шла и жадно ловила звуки, обращая их в ненависть.

Вдруг Эстерка среди звона колоколов услышала нечто иное. Сначала как бы тихий плач, а затем будто вой ветра. С течением времени эти звуки становились грубее, хрипели, обращались в рычание. Словно скотина ревели в загоне или градовая туча мчалась по небу.

Это шел крестный ход.

Тысячи ног били землю, тысячи тел колебали воздух, шелестели на просторе хоругви, и грубыми нечеловеческими голосами ревели толстые попы, как из бочки, а длинные пряди волос, развеваясь у них на ветру, бились о жесткие золотые ризы. Высоко над ними хмурился почернелый лик убогого спаса, едва высываясь из кованых богатых риз, тяжелых и неудобных. И играли богу славу колокола, и пели ее от полного чрева жирные попы.

Эстерка сначала не понимала, откуда все эти звуки. Быть может, это туча, страшная и черная, надвигается над головой и хлынет дождь? Но потом, когда крестный ход был уже близко, она услышала знакомый напев и поняла. И вдруг вскипела от злобы: недоброй радостью налилось ее сердце.

— Ага! Он идет! Он идет!.. — кривились в усмешку ее уста, даже слезы перестали литься из глаз. Она спешила навстречу.

Крестный ход все приближался.

Когда же, наконец, ее овеяло духом человеческой массы и охватили страшные для нее голоса, слепая Эстерка стала, подняла руку, словно хотела остановить ряды, и закричала. Слова сливались у нее в горле в неясный крик. Она потрясала руками и стояла так, с открытым ртом. Сильное возбуждение, гнев отняли у нее речь. Она кричала что-то неясное, а ей казалось, что она говорит и извергает всю свою боль, все горе и всю ненависть.

— Слушай ты, еврейский сын! — кричала она слова, которые оставались у нее в горле. — Ты снова идешь? Ты, отнявший моих детей! Моего Лейбу и моего Хаима. Ты снова благословишь проливать кровь твоего народа!.. Слушай, отдай мне моих сыновей... Это я говорю тебе, я... слепая Эстерка, выплакавшая глаза... я, мать сыновей моих бедных... Слушай, куда ты идешь, погоди... Хватит крови...

И она трясла кулаками и кричала словами, которые оставались глубоко в груди. Слезы, стекая из незрячих глаз, заполняли старый черный рот с двумя пеньками желтых зубов.

А мимо нее топотали тысячи ног, дышали тысячи грудей, ревели басы и плясали, как безумные, колокола. Большие, средние, маленькие...

25 августа 1906 г.

Чернигов.

## НЕИЗВЕСТНЫЙ

*Этюд*

... К чему? и откуда желания? Жизнь осталась там, за каменной оградой, а здесь, в серых, холодных стенах, со мною замкнулась смерть. Я не боюсь ее. Я звал ее на правое дело, и она пришла. Взяла жертву, а потом, как благодарный пес, прилегла у моих ног... Теперь она со мною. Что же, смотри оттуда из черных углов на мою тень, подстерегай меня кровавым глазом... Это тебе награда.

Но я еще жив. Чувствую под собой жесткий тюремный матрац, вижу свое тело, вытянутое на постели, свои длинные ноги, обутые в башмаки, свои руки, которыми я... В углу мерцает лампочка, а над ней нависла серая и влажная враждебная тишина. Но я не хочу видеть этого... не хочу... Зажмуриваю глаза. Огненные круги. Пляшут и мечут искры... А теперь... теперь уже течет река жизни. И что из того, что меня заперли в этот холодный погреб, ведь весь пышный мир, все краски, весь ход жизни здесь во мне, в голове, в сердце... Ах, как мне хочется полными пригоршнями черпать золотой воздух... как мне хочется взять перо, обмакнуть его в небесную синеву, в бурные воды, в кровь своего сердца и все описать, в последний раз описать, что видел, что чувствовал. Клочок бумаги, лишь клочок бумаги... Эй, вы, тюремщики! Нельзя? Что? Человеку, который обречен на смерть? Ха-ха!.. Ну, что ж! Может, так лучше. Буду лежать и нить, как ожерелье, нить своих мыслей, без слов, без чернил и без бумаги. Ведь мысли быстры и легки, как птицы, а слова, как силок, в который их ловишь: одну пой-



маешь, а остальные упорхнут... Это будет моё творение, быть может самое прекрасное из всех, что читали люди, это будет повесть для единственного читателя, самого благодарного и чуткого. И это будет нить, соединяющая смерть с жизнью, и пока она прядется, я еще жив.

Как зазвучали вдруг все голоса... как хлынул вдруг поток жизни в эту могилу... Ах, как все теснится вокруг!.. Нет, не могу.

Подождите. Дайте припомнить. Ага!

Все были такими серьезными, такими бледными и решительными, когда спросили, кто возьмет на себя? — Я. — Это из моей груди жгучим льдом вырвалось «я». И сразу встала стена между мною и товарищами, между мною и жизнью. Щелкнул замок, и в сердце замкнулась решимость. Объятыя и поцелуи, а через несколько часов я уже ехал, тот «неизвестный», который... и т. д. Я был без имени, роду и племени, и только моего товарища каждый мог бы узнать. Он звался кратко: браунинг.

Было необычайно холодное утро, когда я приехал. Да, было холодно. С севера поднялся лютый враг, сверкающий и острый, как меч, и светил ледяным глазом и гнал своим дыханием дым по небу, а его черные тени по снегу. Солнце стояло какое-то робкое и беспомощное. Боялось даже моргнуть. Утопанный снег плотно прилегал к земле, гладенький, покорный. Бежали куда-то люди и лошади, бежал дым, бежал белый пар от людей и животных, словно жестокий враг гнался за ними. Мне не было страшно. Скорее — любопытно. Осматривал город, теперь ставший мне близким, как могила, город, в котором дома сбились в кучу, как овцы в стужу; от мороза мужчины казались седыми, а лица женщин цвели, как мак.

В тот же день отправился бродить. Смешался с толпой и ходил. Серый, чужой, неизвестный. Вдоль неизвестных улиц. Молчал, хоть надо было расспрашивать, хоть надо было много знать. Где он живет? Когда выходит и где бывает? Когда ест, спит, все его привычки. Какая у него внешность?.. Но постепенно. Не все сразу. Плана не было. Где? Как? Когда?.. Вернее, были тысячи планов, которые кружились и гасли в мозгу, как снопы искр от паровоза в темноте поля... Была лишь уверенность твердая, как скала: он будет *мой*. И я нашел дом, где он живет. Желтый, большой, холодный, Казенная

будка и казенный сторож, который согревал руки и скрипел по снегу взад и вперед, как пес на цепи.

— Ага!

Сказал я это?

Нет, только подумал.

Я сел на бульваре, напротив дома, и дом враждебно глядел на меня рядами черных, холодных окон. Мне хотелось глазами разрушить стены, чтобы увидеть его, по вине которого дымились деревни и истекали кровью люди, как затравленные звери. Ведь и он, и те деревни, и люди, и я, и браунинг были звеньями одной цепи. И чем дольше сидел я против этого дома, тем больше жгла мое сердце холодная льдина решимости.

— Так нужно.

Сказал я это?

Нет, только подумал.

И снова вокруг меня люди, снова поток. Какое сегодня голубое небо, какое высокое и чистое! А золотой смех солнца! От лошадей валит пар, куда-то бегут люди, а мороз высекает искры. И весело оттого, что на молодых лицах торчат молочные усы, как в маскараде, а лошади белые и мохнатые, словно ягнята.. Дзень-дзелень-дзень... Роняют колокольчики прозрачные звуки, а за быстроногой лошадкой плывут саночки. Бежит навстречу девушка. Щеки пылают, глаза горят и ловят мой взгляд с таким жаром, с таким порывом, на какой способны лишь те, что встречаются на мгновение, а расстаются навсегда. И этот роман на миг, прекрасный и короткий, подобен падающей звезде. Я благодарен тебе. Ты бросила цветок в мое сердце, а я поймал его и сохраню, быть может, до самой могилы. До могилы? Какой могилы? Ах, правда...

Теперь я всегда среди людей, серый, чужой, неизвестный. Вбираю в себя, как земля капли во время засухи, все, что мне нужно. Откуда? Здесь, там, в воздухе. Ведь все его знали, ведь всем он ненавистен, всем вредил, и все на него ворчали, как трусливые собаки, которые боятся укусить. По утрам он иногда гуляет. Ага!.. Но не один, при нем охрана. В двенадцать он принимает у себя, но незнакомых обыскивают. Я уже знал, что у него есть дочь, любимая дочь, но еще больше он любит театр. Знал его привычку — оглаживать бороду, и другую привычку — прятать кулак за спину. Знал, наконец, когда он

ест, ложится спать, встает, знал все, что было нужно и даже ненужное. Знал, словно собирался писать биографию или некролог. Самого не видел, однако театр привлек мое внимание. Стоял у столбов, читал афиши, старался угадать, чем может прельстить Фифи, какова из себя Сесиль, и кто из них красивее. Побывал даже в театре, Фифи видел, видел Сесиль — его не было.

И снова бродил. Одинокий, серый и неизвестный, словно далекая, бледная тень.

Наконец увидел. Однажды... помню... Утром шел снег. Ровный, густой и теплый. Маленькие существа, почившие в небе, слетали на землю, для вечного упокоения на тихое кладбище. Ряды домов, ряды деревьев белыми тенями уходили куда-то вдаль и расплывались в тумане. Белый потоп. Все звуки шли снизу, будто из-под воды. Глухо гудел соборный колокол, долго и жалобно плакали затопленные звуки. Шур-шур... шур-шур... — мерно шуршали шаги. Словно какой-то великан жевал под водой, жевал и проглатывал звуки. И все, что двигалось в тумане, становилось тенью, исчезало навсегда.

Вдруг в эту тишину ворвалось что-то дикое и бессмысленное. Как безумный промчался казак, припав к шее лошади, и, казалось, хрипел вместе с ней. Потом лошади, блестящие, черные, промчали карету, а в чистом окне, как в раме, отразился красивый восковой профиль, нависшие брови и белая борода. И пока я всматривался в этот образ, все исчезло, расплылось и стало тенью... Что? тенью? — Да... Тенью...

Мама!.. Тс.. тише... я неизвестный... Ха-ха! Разве кто-нибудь услышит тот голос, что кричит в сердце, глубоко в сердце? Разве будет кто-нибудь знать, что ты моя мама, а я твой сын? Мама, не плачь. Твой сын пойдет на смерть с поднятой головой и чистым сердцем. Ведь в его сердце сгустилась невинно пролитая кровь, ведь в нем слились все человеческие слезы и пламенем вспыхнул народный гнев... Убивай меня, палач. Ты убиваешь народ...

... Никогда прежде не думал, что мир так прекрасен, что клочок неба, дерево, смех, человеческий голос приносят глубокую радость и, как воздух, нужны людям. Словно обедневший богач, который поднимает с земли и целует кусочек хлеба, когда-то брошенный собакам. Вот теперь вижу — и сердце этому радуется — дрожит в при-

дорожной луже во время оттепели огонь фонарей, а снег весь черный, словно прокопчен дымом. Каплет с крыш, и каждая капля, летя на землю, играет огнями и звенит. Сияют, как жемчуга, матовые стекла магазинов, и над городом стоит серебристый нимб, как над святым. Святой, потому что мученик.

А я ходил — не мог сидеть в комнате, — и мои мысли все шли за ним, шаг за шагом, ревниво и неотступно. Я его видел. Вот он завтракает, прикрыв салфеткой широкую грудь и распутив по ней мягкую белую бороду. Его глаза улыбаются дочери и розовой редиске, которую он тоже любит. Деликатно берет восковыми пальцами редиску за белый хвостик, и ему так приятно, что все красиво, чисто, что в доме тепло и тихо, возле него красавица дочь и сам он красивый и важный. Он отдыхает... Подают рыбу — и он вдыхает ароматный пар и кладет на тарелку большой кусок. Как бы не подавился какой-нибудь глупой костью! Я так боюсь...

Вот кабинет. Нахмурил брови и углубился в чтение, а у глаз собираются и сердито скачут морщинки. На звонок прибегает чиновник, и как же он сердит начальство! Не случилось бы несчастья... я так боюсь... боюсь случайности, внезапной смерти, ведь все возможно... Ну, слава богу, день окончился благополучно...

Спальня. Мягкий зеленый свет ласково ложится на тяжелое тело, белую бороду и барский старческий профиль. Сон приходит не сразу, мысли блуждают, и глаза что-то видят там, в темноте... может быть, меня? Спи. Доброй ночи... быть может, до завтра?

Все больше и больше привыкаю к нему. Чувствую, что он вырастает в меня, как корень в землю, становится все более нужным для меня. Даже не отделяю себя от него. Не могу. Что-то таинственное, непонятное заключается в нашей связи, словно один из нас — тень другого: пока один из нас живет, другой тоже должен жить. И даже браунинг прячет две пули рядом: одну — для него, другую — для меня.

По ночам он снился мне, красивый, величественный старик с восковым лицом. А днем в груди бурлила тревога. Что-то дразнило, что-то сосало сердце, чего-то не хватало. Теперь уже знаю. Мучило желание услышать голос. Я *должен* был услышать его.

А время тянулось.

... Я снова встретился с ней. Той, что бросила цветок в мое сердце. Окинула меня таким приветливым, нежно-внимательным взглядом, что цветок ожил и я вновь почувствовал его аромат. И сразу настала весна, ожили солнце, радость и смех... мне хотелось схватить в объятия встречного с суровым лицом и прижать к сердцу: брат!.. Увидел тебя, моя мама, как ты чинишь свое черное платье при свете лампы... добрая и бедная... милая и бедная... и слушал, словно музыку, шум жизни... Счастливым и снова свободный сын земли, а не гнев народа... Исчез с моих глаз противный профиль... Что? Исчез? Долой все из сердца! Я неизвестный...

Теперь я здесь, в этих стенах, как зверь в капкане... Это ты, слепой глаз, что следишь за мной сквозь дырку в дверях... Это ты напомнил... Как? погибнуть здесь... в этом мешке, когда там свобода, работа... товарищи... Где? ха-ха!.. Окно высоко?.. высоко... А сделать подкоп?.. под стены?.. Это же невозможно. Разбить голову об стену?.. Один... одинешенек... как тяжело... А может? Нет...

Как странно, как необычайно странно. Я слышу звонят где-то там вверху. Обмерзшие деревья, тонкие веточки, покрытые льдом. Сверкающим льдом, прозрачным стеклом. Старый звонарь-ветер собрал вместе тысячи нитей, и качает ветки, и звонит... Дзень-дзелень-дзень... дзень-дзелень-дзень... И скачут огни по веткам — зеленые, красные, синие. Где я слышал это? И когда слышал? В детстве? Когда же я слышал? Ах, правда, это же было недавно... дня три, четыре... Дзень-дзелень-дзень...

Жжет меня стыд при одном воспоминании. Однажды... да, однажды — и больше никогда. Однажды я оглянулся, потому что почувствовал на спине след чужих глаз, скользкий, холодный. Что-то двигалось за мною. Какое-то пальто. Я свернул. Оно. Пошел медленнее. Оно тоже. Стал у дерева... Кажется, стало... Оглянуться? Нет. Я пошел быстрее. Как будто бежало. Быть может, это мое сердце? Кто его знает... Это раздражало. Набрался смелости, повернул назад прямо на него. Встретились глазами. Мои безразличные, невинные, спокойные, а его

острые, как иглы, и лукавые. В уголках смех. Ну, хорошо. Что же дальше? Ты хитер, я не меньше. Натянул нервы, как снасти в бурю, и иду. Кажется, отстало. Оглянуться? Нет. Насвистываю. Безразлично. Что я насвистываю? Неужели марсельезу? Скорее — вальс... Зачем ходить? Не лучше ли сидеть дома, в одиночестве, и не привлекать к себе внимания? Кажется, отстало, я оглянулся. Никого. Значит, безопасно. Пошел налево, в какой-то переулочек... и наткнулся прямо на него... на острый, холодный взгляд, как на штык... Ага! ты следишь!.. Ты уже выследил, кого тебе нужно, и зовешь на помощь, идешь к нему... Ага! ты ловишь?.. И вдруг снизу пошел холод и покатился вверх, как ртуть, к сердцу, к горлу, к кончикам пальцев... надавил на мозг и вытолкнул из черепной коробки... Стрелять? Бежать? Куда? Через забор? Все равно, лишь бы бежать... И стал я легким, пустым и мчался без оглядки, несясь, как клочок грязной бумаги в бурю, через чужие огороды, через заборы, по глубокому снегу, а за мной что-то гналось, свистело, кричало и протягивало ко мне руки... Это был мой страх. И только когда прошла опасность, когда мозг заполнил черепную коробку, а в теле ожила кровь, я осознал свою подлость... вспомнил, что по дороге бросил браунинг... не задумываясь, как что-то враждебное и опасное... Назад! Жгучий стыд вернул меня через заборы, чужие огороды, по глубокому снегу, назад к нему, хотя бы там и была сама смерть...

И до сих пор противно... при одном воспоминании... и сознание, что во мне живет подлый, трусливый зверь, выжигает рану в моем сердце...

... Восковой профиль с белой бородой... Он словно бунтовал во мне, будто гневался на то, что вместе с моим разумом вылетел хоть на минуту из головы. Он растаял в моей груди, занимал весь мозг, угнетал, душил, и так хотелось избавиться от него. «Ага, ты думал я — твой, а ты теперь мой...» злорадно смеялся во мне и дразнил. Ведь что он для меня? И в чем наша связь? Я гнев народа и его кара, дыхание правдивых уст, огонь из черной тучи человеческих обид, стрела из его лука...

... Да, как будто знал... Так жадно впивал я воздух, так вольно дышала грудь, так широко глядели глаза, словно в последний раз. Иней... лег на землю иней, и

спустилась ночь, тихая, настороженная, глубокая. Цвели деревья холодными цветами, белые и легкие, как невесты... Одно стояло все в кружевах, стройное и трепещущее, словно невеста, идущая под венец, ожидающая, что придет юноша, возьмет за руку и поведет. Среди свадебных гостей, в лазурной тишине, между огней. А небо чистое темное, и ароматное, словно из фиалок. И там свадебные гости. Пришли все звезды, даже малютки, что не выходят в сырую ночь, собрались в кучки, стали рядами, разместились поодиночке, бледные, тихие, скромные, и — пышные, блестящие, наглые, каждую минуту меняющие свой цвет. Из далеких улиц плыла музыка человеческого говора и заливались колокольчики, чистые, нагие, словно из купели... То была свадебная ночь, моя свадебная ночь... Цвел в сердце цветок, и обольщал надеждой знакомый взгляд — кто знает откуда — с переменчивых звезд, с цвета деревьев... Первая и последняя ночь... Будто так и знал.

В театре должно было итти что-то интересное, туда шли люди. Веселые, оживленные, с жужжаньем, словно рой летели в улей. Нагло смеялся холодный свет, и хлопнули двери. Всюду плыли сани, дышали лошади со свистом и храпом и осыпали снегом. — Вам билет? — Вот... и я среди роя. Чье-то боа щекочет щеки... теплый запах духов... холодный, быстрый взгляд... картавое: pardon! Перед глазами серая шинель, а сзади кто-то дышит в затылок... Почему все эти мелочи врезались в мозг? Почему в него, как колючки, впились эти воспоминания, а самое главное, конец, начало и середину сразу как будто поглотила память. Я помню только, что задрожал. Потому что вышел из меня гнетущий профиль... восковой профиль и стал неподалеку. Гладил бороду и прятал за спину кулак. И я услышал его голос. И теперь этот голос, липкий, тягучий, живет в моих ушах, опутал мозг... Стрелял ли я? Ни одного звука. Гробовая тишина. Крыльями поднялись нависшие брови, вышли из орбит печальные глаза, покорные, встревоженные, как у щенка, и стали тенью... Великий гнев, живший во мне, вырвался наружу для своего дела. А в опустевшую грудь мигом ворвался холодный ветер, в самую жгучую рану... Только на мгновение. Потом ничего. Не знаю, что было... минута или вечность...

... Моя щека была прижата к холодному полу, перед глазами я видел сапог, большой, мокрый, а на мне лежала тяжесть — колени, руки, так, что дух захватывало... Сразу раздался шум, крик... бежали по лестнице, хлопали двери, и что-то пищало тонко, как муха... Потом — мороз, свежий воздух, и всюду люди, любопытные, посторонние, чужие мне люди. Не люди, а куклы из игрушечного магазина... Потом?

Потом — волчья нора, и в ней мы оба: я и моя смерть... Что же, дожидайся, подстерегай меня кровавым глазом... оттуда из черных углов... Ты заслужила себе награду.

Что? уже идут? и ты встаешь с ними... из черных углов? Надо быть спокойным... спокойным надо быть... Таким спокойным, чтобы сердце сделалось сталью, чтобы гордость сковала голову, чтобы вздрогнуло даже серое утро и ужас испепелил сердца палачей...

Я ухожу без сожаления — так было нужно.

Как прекрасна моя дорога... последний короткий путь... прекрасное утро, белое, мглистое, как погребальный саван... Бряк... за плечами бряцают ружья, и люди, несущие их, топчут ногами свои серые взгляды... Уже? Так близко?... Свершилось. Не нужно... я сам... чтобы видели глаза... И свой последний вздох... Мама! Ты ли это в сугробах... плывешь в сугробах, как серая тень страдания, чтобы принять в теплые руки последнее дыхание... вздох, отданный другим, а не тебе? Не слушай, мама, и не смотри...

«Пли!»

«Пли?» Это мне показалось? Я еще жив? Шупаю стены... да, стены, твердые, холодные... и вижу ноги свои в башмаках... могу двинуться, встать, полной грудью вдохнуть воздух...

Окно высоко? Высоко... А сделать подкоп? Что, невозможно?

А может быть?..

17 февраля 1907 г.

Чернигов.



## PERSONA GRATA

Лазарь ненавидел тюремного смотрителя, которому тюрьма дала прозвище «морда». За все: за толстую рожу, на которой не хотели расти волосы, за маленькие жестокие глазки, что всегда глядели куда-то мимо людей, хотя и все замечали, за его характер мучителя. Те редкие случаи, когда их глаза встречались, были памятны Лазарю и предвещали недоброе. И Лазарь чувствовал себя как-то неуверенно, заметив, что в последние дни «морда» словно нарочно останавливал на нем свои глазки, как бы ощупывая ими все его тело, руки, ноги и опущенные сильные плечи. Лазарь тогда уходил в себя, запахивал арестантский халат, подавлял в себе злобу, а после долго ощущал чужой взгляд, застывший в складках его лица. Дошло до того, что, проходя по двору, «морда» нерешительно останавливался, подходил к Лазарю, вонзал в него глаза и что-то хотел сказать: шевелил губами, но молчал. Оглядев, переводил взгляд в пространство и молча шел дальше. Это замечали и другие, — они бросали работу, и из-под серых суконных шапок вспыхивали влажные блестящие белки, любопытные и насмешливые.

Однажды «морда» заговорил:

— Что, братец Лазарь, плохо живется у нас?

Лазарь запахнул полы халата и весь съежился, будто ожидая нападения. «Чего пристал?» — говорила вся его фигура, как-то сразу сжавшаяся и окаменевшая. Но «морда» не дал ему ответить. Прикоснувшись двумя

пальцами к его руке выше локтя и глядя кудā-тō пōверх его головы, загадочно произнес:

— Ничего, братец... может стать и лучше..

Потом пошел через двор военным шагом, осторожно неся на плечах свою неподвижную, как деревянная коробка, голову.

Лазарь скосил желтые белки и, сморщась, глядел ему вслед со злым любопытством.

На другой день после этого случая вызвали Лазаря в контору. Разговор велся долго, около часа, а на тюремном дворе серые халаты перекидывались догадками, циничными замечаниями и перемигивались.

Наконец Лазарь явился. Его обступили, расспрашивали, кололи глазами. Он что-то плел, простое, незначительное, но в его глазах таилось нечто скрытное, сокровенное. Это было заметно. Он что-то принес в себе, какой-то посев, который прорастал где-то в глубине.

Казалось, все шло, как и раньше, и все же иначе,— среди воплей тюремной толпы Лазарь вдруг затихал и слушал одного себя. В минуты отдыха садился где-нибудь поодаль, опускал желтое лицо на желтую руку и, закрыв глаза, прислушивался. Там, внутри него, что-то шевелилось. Давнее, забытое и неприятное, придавленное грузом более новых событий, последних впечатлений. Рассматривал, собирал отдельные мелочи, соединял их и старался слепить в одно целое. Все, как оно было. И если прежде, когда еще помнил все, ему слышались предсмертные крики зарезанных им людей, представлялись детские руки, простертые к нему, чтобы защититься от смерти; если он видел раньше эти первые пять трупов в глухой корчме, которые не могли уже помешать грабежу, то теперь его внимание привлекало другое — он сам. Думал ли убивать? Было ли страшно? Разве только, когда начинали кричать,— боялся, чтобы кто не услышал. Как он зарезал первого? Легче ли было убивать других? Приканчивал сразу или, может, мучил? Глядел в глаза? в лицо? Ленивая память, тяжелая и мутная, едва шевелилась в его мозгу. Несмотря на то, что он напрягал ее и подхлестывал, ему не удавалось ясно вспомнить, представить себе все свои поступки и ощущения. Он вновь и вновь возвращался к этим подробностям, а когда утомленная память, отказываясь работать, сколь-

зила, как ключ в испорченном замке, его мысли перепрыгивали на другое и блуждали по другому полю. Как будет теперь? Трудно, легко ли? Страшно или, может, привыкнет? И вдруг вспомнилось, как, еще небольшим парнишкой, повесил кота. Несчастного, с ободранным хвостом и ушами, затравленного собаками кота.

Ему не дали додумать, пришлось выносить бадью, и он приступил к работе, спокойный, равнодушный, хотя в глазах было нечто скрытое, сокровенное.

Палка лежала на плечах, большая бадья плавно покачивалась, и расплескивались ленивыми волнами серые помои; спереди торчала чужая спина и желтая восковая шея, а ободранный, измученный кот снова неожиданно выплыл, бился на веревке, поджимал хвост, лапы и таращил огромные кровавые глаза. Как будет дальше? Долго ли будет так скакать? Или уже скоро закроет глаза, опустит лапки? Тогда дергалось в нем любопытство, как кот на веревке.

А как будет теперь?

Уставал. Тяжело взрезали мозг мысли, как плуг сухую землю, и докучали. Чтобы передохнуть, начинал ссору, грубую, злую, без всякого повода, оглушал себя и других циничной бранью, от которой гнил воздух. Радовался, замечая в себе злобу, и старался ее раздуть, разбухать, раздражить.

— Эй, вы! пара! — кричал тонким бабьим голосом. — Сволочь, оборванцы! Перевешать бы вас всех на одном суку, когда б такой крепкий нашелся!..

Серые халаты развлекались этим криком, и смех расплзался по их лицам, как сырость по стенам...

А Лазарем овладевала еще большая ярость, и голос его становился все выше, руки делали такие движения, будто бы дергал кого-то за ноги, чтобы ускорить смерть. Ему хотелось тогда резать, вешать, колоть не только тех, кто гадко смеялся над ним, но и других, которые были там, за стенами. Велика штука! Свернул воробью голову — и аминь... А вместе с тем, словно комар над ухом, звенела назойливая мысль: как же это будет?

Успокоясь немного, он снова принимался за работу, носил воду и дрова, подметал двор, словно ничего не случилось. Он как бы созерцал самого себя, губы под его стриженными усами были плотно сжаты, и то, о чем он знал,

было в нем скрыто. На ходу иногда он деловито бормотал, загибал пальцы и считал.

— Один — двадцать пять, за двоих — полсотни, за десять будет триста без пятидесяти... да еще одежда...

Что-то шелестело в его представлении, что-то так привлекательно звенело, что сразу исчезали тюрьма и серый халат, не было уже перед глазами повешенного kota и затихал предсмертный хрип.

Только вспоминал разговор: «Справишься, братец?» — «Будьте покойны!..» — и круглую безусую «морду», будто уже и не такую противную.

Жизнь Лазаря резко изменилась еще в ту ночь, когда его тайно от всех взяли из тюрьмы и посадили в вагон. Вместо халата была на нем желтая рубаха, картуз и высокие сапоги. Как-то странно было видеть ноги в сапогах, не в «котах», такой легкой и чужой казалась рубаха, что Лазарь даже не радовался перемене. Но жандарм, сидевший против него, беседовал просто и так благосклонно, что Лазарь начинал привыкать. Забыл, что он арестант. Ну что ж, он действительно извозчик или какой-нибудь дворник из богатого дома, который сел себе свободно в вагон и ведет приятный разговор с этим важным жандармом в синем мундире и при шашке. «Ну, да... положим...» Никто не узнает. Жандарм становился все разговорчивее, все откровеннее. Сперва рассказывал, что теперь им на службе «трудно», а затем начал рассказывать о тех, из-за кого стало «трудно». Лазарь поддакивал. А когда жандарм принес бутылку водки и они выпили, оба стали кричать и браниться, пожимали друг другу руки и что-то друг другу обещали. В голове слегка шумело, было так тепло и так приятно, что этот важный жандарм, в мундире и при шашке, пожимает руку и говорит, как с равным. Они ехали ночь, весь день и приехали снова ночью. После долгих переездов на извозчике Лазарь очутился в тюрьме. Здесь, несмотря на позднюю пору, его принял смотритель. По тому, как смотрели на него, переглядывались и перешептывались между собой, Лазарь заключал, что он не простая особа. Короткий прием кончился, шелкнул замок, и Лазарь вошел в камеру. Кто-то с необычайной поспешностью повесил лампу, и Лазарь увидел высокую комнату с одним окном, довольно чистую, а в ней стара-

тельно застланную постель, стол, накрытый скатертью, в углу образ: спас поднял руку и благословил.

— Ну, теперь спи,— бросил смотритель каким-то дрожащим, испуганным голосом. — А когда понадобится — обращайся к Ивану или к Каленику.

Все вышли, дважды шелкнул замок, и Лазарь остался стоять между чистой постелью и столом, накрытым скатертью, против спаса. Он сел на кровать, пощупал одеяло, подушку — все было добротное, мягкое, какого никогда не имел. Около стола стул новый, блестящий, в углу таз и вода — все, как для барина. И если б не высокое в железных решетках окно, если бы не параша, Лазарь мог бы подумать, что ночует где-нибудь в барских горницах. Обвел глазами потолок, лампу и образ, положил плечи на пестренькую подушку, поднял в сапогах ноги и через минуту заснул, не гася света, не раздевшись.

Утром Каленик принес чайник, а подмышкой булку. Оставив их на столе, повернулся к постели и сложил руки на животе. Лазарь увидел низенького человечка, будто бы и не злого, на котором все — усы, волосы, старый мундир — повисало и спадало, словно долго находилось в воде и только что вынуто оттуда. Его словно вымокшие глаза остановились на Лазаре, а затем скользнули по его плечам, рукам и ногам, и усмешка удовлетворения поползла у Каленика под носом, запачканным в табаке. Лазарь подумал, что этот человек должен долго и упорно кашлять тихим скрипучим кашлем.

И действительно, Каленик скрипнул, ласково мотнул головой и мокро втянул в себя воздух.

— Здоровый дяденька,— тихо сказал он и рассыпал легонький смехок. — Идите чай пить... а спать на постели в сапогах не полагается. Ну, да это другим... вам все можно...

— Ты почему знаешь, что мне можно? — заинтересовался Лазарь и даже встал с постели.

— Знаю... приказано, значит... — и он снова рассыпал смех, как снежок. — Вы казенный человек,— добавил он немного погодя совсем серьезно,— для отечества, значит...

— О, так-таки все позволено? Ну, а водка?

— Разрешается.

— А карты?

— Сколько угодно... Со мною можно... И тут, который другой, Иван... приказано.

Однако оказалось, что не все можно. Нельзя было открывать окно, выходить из камеры хотя бы на порог. Такой приказ. Из вольного человека, которым Лазарь чувствовал себя в пути, он снова стал арестантом. Тут, очевидно, было хуже, чем там, откуда приехал. Там он ходил по двору, виделся с людьми, и хотя работа случалась подчас тяжелая, но все же привычная. И вновь ударил в голову тот же самый назойливый вопрос, уже забывавшийся: как это будет?

Лазарь умылся, так как чай остывал, а булка приветливо улыбалась. Не успел он напиться чаю, как открылась дверь и что-то загремело. Высокий, худой служитель втаскивал в дверь мягкое большое выцветшее кресло, продранное сзади. С грохотом перетащил через порог и поволок в угол, где и поставил к стене. Следом вошел Каленик. Осторожно обеими руками нес царский портрет, немного засиженный мухами, и шевелил ртом, будто жевал.

— Подержи, Иван!

Иван подбежал, прислонил портрет к стенке, а Каленик, пожевав еще немного, вынул хлеб изо рта и прилепил. В комнате стало еще лучше. Видно было, что о Лазаре заботятся.

Обед подали хороший, сытный, была водка, а после обеда карты. Иван все проигрывал и сердился; Каленику везло, шла все время масть, и каждый выигрыш он присыпал смехом, хотя играл нечисто: за ним следовало поглядывать.

Дни проходили за днями. Лазарь спал, сколько хотел, наедался, играл в карты, пил водку и, развалившись в мягком кресле, привередничал. Ведь он тут барин! Что он захочет, то и делай. Сперва, когда он оставался один, его тревожило: как же это будет? Как произойдет? Лазарь ждал. Вот-вот позовут, поведут: начнется новая работа, новая жизнь. Время шло, а Лазаря никто не звал, жизнь не менялась, и он уже думал, что о нем забыли. Но однажды неожиданно его разбудили ночью. Спросонья не разобрал, что это не Каленик, а незнакомый жандарм трясет за плечи. Бранился, не хотел вставать, и свет лампы резал глаза. Однако принужден был под-

няться, долго натягивал сапоги, надевал желтую рубаху. Жандарм тихо звенел шпорами, молча подал ему какой-то пиджак, и они вышли. Еще едва-едва светало; в воздухе было свежо. А когда остались позади тюремные ворота и Лазарь увидел лошадей, он догадался, и что-то кольнуло в груди.

Ехали долго, среди безлюдных улиц, между тихих домов с сонными окнами. Потом свернули в поле. Стало яснее, и рожь уже синела холодная, свежая. Жандарм зевнул и перекрестил рот.

— М-да! — протянул он лениво. — Хорошая рожь!

А воздух становился все прозрачней. Вдали на горизонте чернел лесок, а в долинке под лесом стлался туман, густой и белый, как вата.

Наконец приехали. Лазарь еще издали увидел столб. Он слез с брички, подошел к виселице и тупо взглянул на веревку, шершавую и немного скрученную.

— Ну, приготовься, — сказал жандарм.

Лазарь взобрался на помост, притронулся к петле, качнул ее и так же тупо начал следить за ее движеньем. Он был словно во сне. Все в нем спало: злоба, мозг, кровь.

— Засучи рукава! — коротко бросал жандарм.

И Лазарь начал расстегивать обшлага не задумываясь: зачем? Пиджак мешал. Он стащил его с себя и швырнул назад; тогда медленно, аккуратно начал подворачивать рукава выше локтя и сам разглядывал свою руку, темную, всю в синих жилах, как в веревках.

Жандарм приблизился к нему и слегка прикоснулся кончиком пальца к голой руке. Потом сейчас же достал часы.

— Уже скоро будут...

И закурил папиросу.

В молчании прошло несколько минут.

Утренний ветерок тихо раскачивал веревку и обведал голые руки. А в синем холодном поле трещал дергач и вился дымок от папиросы жандарма.

Вдруг неожиданно послышался звон ружей, показались люди. Впереди путался в рясе высокий поп, за ним смотритель, еще какие-то люди; позади черные солдаты, между ними что-то белое. И было это светлое пятнышко среди всего черного таким странным и необыкновенным,

что привлекло к себе взгляд Лазаря. Первое, что он увидел, — это светлые, как лен, волосы. Белый платочек сползал с них на плечи, и тонкие волоски светились, как золотые. Кто-то шел небольшого роста, хрупкий, какая-то девочка, и она шла так бодро, весело даже, что Лазарь отвел от нее глаза и стал искать другого, — для кого бы сошлись эти люди и поставили столб.

Всматривался в каждое лицо, — но никого другого не находил.

Неужели ребенка? — спрашивал он самого себя и ощущал что-то вроде обиды, будто его обманули. Скрестил на груди голые руки и ждал. Вот подошли близко и поставили девушку под виселицей. Отчего не плачет? Отчего не кричит? Нет, стоит тихо, смотрит прямо, а золотые волоски сияют вокруг лба. Сказал что-то смотритель, подошел поп, протянул крест. Нет, не надо — и отстранила рукой. Крикнула что-то твердо, громко, ясно, так, будто крикнула чайка. Все господа и солдаты стояли бледные, виноватые, а она оглянулась и сама взбежала на помост. Лазарь стоял и смотрел, будто забыл, что должен делать, будто видел все во сне. Не ощущал ни злости, ни любопытства.

— Свяжи ей руки! Болван!

Это заставило его опомниться; бросился на нее, грубо и неуклюже. Не сопротивлялась. Скрестила руки на груди и тихо стояла, пока он, весь мокрый от пота, возился с веревкой, вязал узел.

— Где мешок? Остолоп!..

А он забыл.

Наконец подали белый длинный мешок. Лазарь старался и спешил. Руки дрожали, дотрагивались до волос, а потом скользнули по теплой и мягкой шее. Это прикосновение его обожгло, вздрогнул всем телом. Впрочем, Лазарь был словно во сне. Что-то в нем спало и не просыпалось. Как бы во сне, полусознательно набросил на шею петлю, поправил и сильным ударом выбил из-под ног девушки доску. Веревка взвилась, как струна, а белое подпрыгнуло и завертелось. И стало длинным, большим, закрыло горизонт, людей, весь свет. Точно белая стена. Потом сразу сделалось меньше, сжалось и заблестело на только что всходившем солнце. Лишь тогда Лазарь заметил поле и услышал тишину, какую-то



необычайную мертвую тишину, от которой сжималось его сердце. И в этой пустой тишине дергались плечи в мешке, трещал сухим горлом дергач и блестили часы у доктора в руках.

К Лазарю подошел смотритель. Он поднял руку, чтобы потрепать его по спине, и тотчас же отдернул руку, не прикоснувшись. Бледный, странным сдавленным голосом сказал:

— М-молодец!..

Отвернулся от него и подкрутил усы. Тогда зазвякали винтовки, засуетились люди, и был конец.

В этот день Лазарь мог пить, сколько хотел. Иван и Каленик устали носить бутылки, а он все пил и все говорил, чтобы только преодолеть тишину, а сам тщетно старался вспомнить, что она крикнула тогда, перед смертью. Голос он слышал, а слова скрылись в тумане, в сонной пелене, окутавшей мозг. Подробностей не мог вспомнить. Под вечер опьянел и полез драться, но Иван и Каленик убежали, а он свалился на постель и заснул.

В пьяном сне ему что-то мерещилось, но туман понемногу рассеялся, растаял, и он ясно услышал слова, так гордо брошенные всем в лицо, хотя и не понимал их и не думал над ними. Ясно увидел тонкие волоски, словно золотые нити. Небольшие руки, как у ребенка. Он не переставал чувствовать на своей руке теплое прикосновение нежной шеи, и оно расплзлось по телу, словно пробежали по нему мурашки. Теперь он видел все ее движения, выражение глаз, бледное лицо, сморщенный лоб, краешек юбки, развевавшейся, когда она шла. Всякие мелочи, всю ее фигуру, небольшую, мягкую, всю девушку, похожую на желтого пушистого цыпленка. Видел, как корчилась она под белым покрывалом, как склоняла голову, шею, а длинные остроносые ботинки торчали в обе стороны, точно хвост у ласточки. И ему снилось, что он рассматривает свои руки, не пристало ли к ним что-нибудь.

Теперь уже будили Лазаря часто. Вставал среди ночи и шел на работу, равнодушно, холодно, без любопытства. Теперь его уже не интересовал вопрос — как это будет? Не ощущал злобы, которую старался раздуть в себе первый раз еще там, в тюрьме. Было даже кое-что приятное: он видел поле, зеленела рожь, ползли по небу облака и шумел ветер. Видел восход солнца.

Имел дело с разным народом. Одни шли смело, гордо, произносили красивые слова, идущие от сердца. Другие, бледные, как трупы, едва передвигали ноги, почти теряли сознание, и надо было их вводить наверх. Другие бранились, проклинали и не давались. Таких он волок, выворачивал им руки и возился долго, даже потел. Мужчины и женщины, старые и в расцвете сил, небольшие и худощавые, словно дети, господа и свой брат. Иногда ему везло — и работа выходила чисто. Иногда удавка соскальзывала с шеи и сворачивала голову набок. Тогда белый мешок скакал, корчился и долго не мог успокоиться. Чтобы прекратить мученье, Лазарь хватал свою жертву за ноги, вытягивал тело так, что в нем что-то хрустело, и наступал конец. Однажды лопнула веревка, и пришлось вешать сызнова. Раз случилось так, что шнур был слишком длинен, и когда Лазарь выбил доску из-под ног, тело подскочило, будто сумасшедшее, и оторвалось, а в белом балахоне осталась голова и летала на веревке, как змей, заливая кровью полотно. Тогда его бранил смотритель, и пришлось самому стирать белый мешок.

Каждый из «клиентов», встречаясь с Лазарем в предсмертное мгновение, оставлял ему что-нибудь на память; какой-то особенный, необычный взгляд, голос, цвет волос и форму шеи, движенье, слова. От этих подарков он не мог отделаться, они жили в нем своей тайной жизнью. Были единственно живым, что оставалось от повешенного. И удивительная вещь — он вспоминал их только во сне, а не бодрствуя. Днем чаще всего он скучал или ходил хмурый, сердитый, привередничал. Гонял Каленика, Ивана, швырял в них сапогами, когда те не сразу делали то, что он им велел. Бранился и пил. Пьяный туман наполнял его голову, порождал причуды, возбуждал дикие желанья и ярость. Кричал на всех, колотил в дверь и надоедал.

Однажды утром, как обычно, Иван подал кипяток, но Лазарь не хотел пить: «Подать самовар!» Иван возражал и объяснял, но Лазарь схватил чайник и швырнул в Ивана. Разбил посуду, а Ивана ошпарил. Приходил старший, кричал, а Лазарь будто взбесился, бил кулаками по столу и ревел дико: «Подать самовар!» Старший убежал, а самовар принесли. Почувствовав силу, Лазарь

все больше и больше требовал. Кроме водки, он захотел пива, — и ежедневно давали пиво. Носили по его желанию дорогие кушанья; всю комнату убрали коврами; ворчали, пожимали плечами, но продолжали слушаться. И это опьяняло Лазаря.

— Сволочи! — кричал он на них. — Делайте, как хочу, я ваш господин!..

Послушанье сторожей и начальства вызывало в нем потребность мучить. Казалось, его затуманенное сознание безостановочно изобретало что-нибудь надоедливое и унижающее.

Он звал Каленика, и когда тот приходил — приказывал коротко и резко:

— Кашляй!

Каленик улыбался и нерешительно молчал.

— Кашляй!

Каленик топтался на месте, морщился, но начинал уже тихо покашливать.

— Громче, остолоп, слышишь?!

— Кахи-кахи! — скрипел Каленик.

Вскоре это искусственное покашливанье переходило в настоящий кашель, которым Каленик, свистя и захлебываясь, наполнял всю камеру.

А через несколько минут Лазарь снова звал:

— Каленик, кашляй!

Напившись, он считал себя графом, большим начальником, посетившим тюрьму, чтобы навести порядок, защитить арестантов от обид. Начинил с того, что производил «смотр» Ивану и Каленику. Развалившись в кресле, вытягивал ноги в высоких сапогах. Одетый в желтую рубашку, подбоченивался, и серое лицо его в пятнах кирпичного цвета сердито морщилось, а желтые усы торчали смешно, как у собаки.

— Как тебя звать? Иваном? Врешь. Знаю — ты Крючок. Меня не проведешь, я тебя насквозь вижу, шельма! Зачем мучаешь людей? Думаешь, свиное рыло, как арестант, то уже не человек? А может, он лучше тебя, — ведь он за грехи принимает муку, а тебе за них платят. Смо-отри! Дознаюсь, я тебя... я тебя... в двадцать четыре часа...

— Ну, теперь второй, как звать? Калеником? Чорт с тобой, пусть Калеником. Ну, ляпортуй. Ногу... как ногу

держишь! С кем говоришь, а? Крадешь? Кормишь борщом с червями? Бьешь по морде? На арестантах рубахи черные! Крыса ты мокрая. Обсосанная мышь. Кругом беспорядок. Я вас!.. Позвать смотрителя!..

Смотрителя не звали. Тогда Лазарь лез драться. Сто-рожка шли жаловаться, и наконец приходил смотритель, какой-то робкий, словно он старался побороть в себе что-то, победить. Не сердился, а уговаривал, просил, стыдил и улыбался кислой и виноватой улыбкой.

А Лазарь понимал, что ему угождают, что он нужен, что все ему можно, как важной особе.

И выдумывал снова.

Иногда ему становилось страшно. Всего боялся, все казалось враждебным, все было против него; закрадывалось, подстерегало и не давало покоя.

Отчего-то ему казалось, что за ним следят глаза Ивана. Подкрадутся тихо, останутся на шее или на спине и начнут искать место, чтобы залезть в середину. Лазарь затихнет, притаится и внезапно повернется на месте. Но глаза уже успели ускользнуть, уже смеются на Ивановом лице и рассказывают, что они видели.

Лазарь тогда приходил в ярость и кричал на Ивана:

— Не гляди на меня! Убери свои глаза, слышишь, иначе я их вырву!..

Но глаза возвращались, ползали по лицу, по шее, груди и, слегка щекоча, буравили тело. Это злило и утомляло. Вообще было тяжело. И все надоедало. Стены, водка, Иван и Каленик. Казалось, в первой тюрьме было легче. Легче было носить бадью, подметать двор, таскать воду. Там было солнце, движенье, люди. О новой работе Лазарь не думал днем, зато по ночам чувствовал, как рука его прикасается к мягкой шее или теплым косам. Откуда-то из темноты слетались к нему глаза — карие, серые, голубые, кричавшие о смерти и жизни. Расцветали, как цветы, прекрасные слова и, словно репейник в пыли, — проклятья. Представлялось все, что оставалось ему на память, все дары смерти, от которых он не мог отказаться, которые жили в нем своей отдельной тайной жизнью. И это рождало апатию и усталость.

Его отрывали от снов. Он принужден был идти за новыми дарами, хотя старые не забывались и не давали

покою. Лазарь ворчал, едва поднимал отяжелевшее тело и одевался.

А после этого — вновь нудный день, пьяный туман, привередничанье.

Так проходили дни и ночи.

А ночи все же были лучше.

Однажды ночью пришел к нему тот, оставивший на память большие глаза. Сел на краю постели, в ногах, и начал с Лазарем разговаривать.

Он. За что ты меня убил?

Л а з а р ь. Откуда я знаю? Велели.

Он. Неправда. Разве можно кому-нибудь велеть против воли убить другого. Признавайся: ты убил из-за денег.

Л а з а р ь. Я еще раньше зарезал пять душ.

Он. Говори прямо. Зачем зарезал?

Л а з а р ь. Они кричали... Мне стало страшно... боялся — прибегут люди и схватят.

Он. Ну, дальше.

Л а з а р ь. Я и сам не знаю, как это сделал. Я не хотел... не думал.

Он. Вот видишь, ты не хотел. Ты со страху взял грех на душу и за это принял кару и искупление. Ты защищался. Ну, а теперь? Ради чего ты губишь людей? Ради водки? Ради денег? Чем люди виноваты перед тобой?

Л а з а р ь. Не смотри на меня! Убери глаза... слышишь ты! слышишь!

Он. Нет, буду смотреть. Буду буравить твою грудь глазами, пока они не войдут тебе в сердце. Ведь ты все же лучше тех, которые тебя соблазнили и велели убивать... Ты темный, ты несознательный, ты, возможно, из нужды пошел на дурное дело, а они книги читают, у них богатство.

Л а з а р ь. Ты думаешь — легко мне? Устал я очень... душой и телом. И сосет меня что-то под сердцем... Не смотри же на меня... убери глаза... слышишь, говорю: убери глаза...

Но тот продолжал смотреть: отделились глаза, страшные, огромные, кричавшие о смерти и жизни, проплыли в воздухе и тихо опустились ему на грудь. И Лазарь чувствовал, как буравили они его тело и входили в грудь все глубже, глубже.

Проснулся Лазарь с тяжелой головой. Он тосковал, свет был ему не мил. Так было тесно, серо и душно в камере, а тело стало ленивым, вялым. Не хотелось даже водки, но он пил. Водка сегодня плохо пахла, была горькая и слабая — не брала. Тогда Лазарь начал кричать и привередничать, издеваться над Иваном, мучить Каленика. Ему было нужно, чтобы камера наполнилась криком, гамом, движеньем, чтобы стены дрожали, стекла звенели и все трещало. Бил посуду, колотил в дверь и по столу кулаком. Но не прогнал тишины. Она глядела на него с высокого потолка, изо всех углов и скалила зубы. Победила.

Лазарь замолк, лег на постель, закрыл глаза и стал ждать, не придет ли к нему тот, посетивший его ночью. Но тот не пришел. Лазарь поднялся с постели. Тяжелой походкой ходил по комнате, натыкался на стены, прижимался к холодному камню, о чем-то думал и, сморщась, говорил громко: «Сволочи!» Снова ходил, снова гкал свои мысли, как паутину, и сквозь зубы шипел, обращаясь к кому-то: «Сволочи!»

Сжимал кулаки...

Ночью к нему снова пришли. Правда, не тот, кого он надеялся увидеть, а та, первая, русая. Села в ноги и сейчас же спросила:

— За что ты убил?

Лазарь не знал. Не мог ответить, он хотел, чтобы она говорила, все рассказала, все объяснила. Если он этого хочет — хорошо! Тогда голосом, жившим у него в ушах, она рассказала, что у нее осталась старая мать и теперь плачет. Что ей не хотелось умирать, а он убил ее только потому, что ему заплатили. Из-за денег. Неужели так нужны были эти деньги? Дали они покой, принесли счастье, радость, здоровье? Лишить человека жизни и за это получить тюрьму, водку и принять на душу грех? Лучше ли ему теперь?.. Она говорила, а тонкие волоски светились над ее лбом, как золотые.

Лазарь хотел, чтобы она еще говорила, о чем он сам знал, но не смел сказать, а бледная, как облачко, девушка словно угадывала его желание.

— А все же ты лучше тех, которые велели тебе убивать, ведь не топор рубит, а тот, кто его держит.

Что-то шевельнулось в сердце Лазаря. Радость или сострадание? к ней? к себе?

Теперь он хотел только узнать, что она крикнула тогда, перед смертью.

Но девушка тихо усмехнулась и с упреком сказала: — Зачем не слушал?

Иван и Каленик решили, что Лазарь, вероятно, перепил. И это они заключили из того, что он как-то странно вел себя. Стал невеселый, тихий и все о чем-то думает. Ходит по камере и вдруг ни с того ни с сего вытянет руку, осмотрит ладони, пальцы и спрячет в карман. Потом вновь ходит, взглянет, не следят ли, вынет руку, осмотрит внимательно и сейчас же спрячет. Что он там видел?

Эта новая привычка особенно была им заметна, когда он играл в карты. Иногда среди игры он бросал карты, и они видели, какая у него масть, а он прятал руки под стол. Когда же ему казалось, что Иван или Каленик бросали взгляд на его руки, он переставал играть, засовывал руки в рукава или прятал за спину и, сердитый, злой, выгонял их из камеры.

Теперь Лазарь ел мало. Каленик рассказывал Ивану, что Лазарь боится хлеба. Раз подсмотрел, как Лазарь протянул руку к хлебу и вдруг отдернул. «Ведь он святой!», — сказал громко. Ха-ха! ведь он святой! Хо-хо! И оба смеялись.

Уже несколько дней за Лазарем не приходил жандарм. Но каждый раз, ложась спать, Лазарь думал о нем и ждал. Кто посылает жандарма? Смотритель? Нет, он сам — вроде Лазаря, он тоже топор в чужой руке.

Кто же посылает? Какие люди? Один или их много? Он хотел бы увидеть этих людей — хуже себя. Людей, которые одного солнца стыдятся, — ведь они кончают работу, пока оно не встанет. Но где их увидеть и кто их покажет? Как их узнать?.. Его немощная мысль билась, как муха о стекло, и падала без сил.

Зато внутри у него росло что-то, как тесто в квашне, бродило, словно закваска. Ему делалось душно от мысли, нехватало воздуха. Он влезал на стол и открывал окно, хотя этого не позволяли. К нему из-за решеток влетали влажность и тишина, а глаз жадно ловил все, что мог. Там было свободно и спокойно. Там были высо-

кие черные деревья, между ними синело небо, как глубокое, синее, до краев полное водою озеро, в котором плавали звезды, точно золотые рыбки. Над землей тревожно дремала тяжелая черная туча и вздрагивала от легкой молнии. А ниже, над влажной землей, светились красные окна, и всюду стоял покой.

Только для Лазаря не было покоя, — сейчас же являлся Каленик, чтобы закрыть окно, чтобы кто-нибудь не увидел Лазаря случайно.

Вот как! Его прячут. Им даже стыдно показать его. Кто же эти люди?

\* \* \*

— Лазарь, вставай!

Он видел сон: слова ползли по телу, как гусеница. Хотелось бросить гусеницу и нехватало сил. А она ползла по нему, отвратительная, мохнатая, и щекотала плечо.

— Лазарь, вставай!

Лазарь открыл глаза — над ним склонился жандарм. Лазарь поднялся, свесил с постели ноги.

Посидел минуту, поморгал глазами, щурясь от света, и снова лег.

— Ну!

— Я не пойду.

Ха-ха! Это было забавно! Он не пойдет! Жандарм смеялся, и брэнчала, вторя смеху, жандармская шашка.

— Ну, не дури, Лазарь, пора!

Но Лазарь и не думал дурить. Хмуро и упрямо он бросил снова:

— Я не пойду.

В голосе была такая решимость, что жандарм уже рассердился.

Он не пойдет! Ведь ждет начальство! Все уже готово! Да что он думает в конце концов? Кто он такой? Большой барин, старший, начальник? Еще разговаривай с ним — с каким-то мерзким палачом. Вставай, говорят!

И Лазарь встал, но так быстро, что жандарм даже отскочил. Отскочил и увидел незнакомое лицо, перекошенное от гнева, два волчьих глаза, голую широкую волосатую грудь и кулаки. И все это наступало на него, обдавало жаром, хрипело.



— Ты лучше меня? лучше? ты сам не вешал? Сволочь!

Большое тело покачивалось на босых ногах и дышало, словно из бездны, яростью.

— Покажи руки: чистые? Один я палач? Зачем же вы угождаете палачу, сволочи!

И прежде чем жандарм опомнился, Лазарь схватил мягкое кресло и ударил им об пол. Затрещало кресло и разъехалось на все четыре ножки.

— На ж тебе, на!.. получай свое...

— Он пьян! — крикнул жандарм. — Связать его сейчас же.

Нелегко было связать. Лазарь метался по камере, большой, сильный, как свирепый медведь с рогатиной в груди, и уничтожал все, что попадалось под руки: стаскивал коврики, комкал их, рвал, швырял под ноги.

— На тебе... на... бери!..

Казалось, не люди приводили его в бешенство, а все, что украшало камеру.

Облаком поднялась в камере пыль, слышались треск и стон, возня.

На Лазаря набросились, а он боролся и не давался. Однако его связали и избили.

Приходил смотритель, бранил и уговаривал. Как можно? Ему так угождают во всем, так о нем заботятся. Кто из арестантов пользуется такими преимуществами? Не надо много пить водки, — вот что от этого получается...

Связанный Лазарь лежал среди произведенного им беспорядка. Он тяжело дышал, утомленный дракой, а внутри у него дрожала злая радость, что сегодня казнь не состоится, что от него, палача, зависят те неизвестные, которые имеют право убивать.

Потом, в дальнейшем, Лазарь покорился. Затих и уже не спорил, когда будили по ночам. Шел на работу равнодушный, как ремесленник, но в глазах у него появилось что-то скрытое, сокровенное.

Теперь он больше молчал, оставил свои выдумки, был тихим, послушным. Каленик с Иваном не могли нахвалиться им.

Даже следили меньше.

Они решили, что с того времени, как палача проучили, он лучше понял силу начальства, ведь чаще всего разговаривал с ними именно о старших. Ну вот смотритель или жандарм — они ведь не сами... а кто-то есть над ними. Так. А у тех, старших, свое начальство. А там еще кто-то, кто говорит: пусть будет так — и все делают так, как говорит он...

Этот «он», далекий, таинственный, о котором ни Иван, ни Каленик не могли как следует рассказать, больше всего интересовал Лазаря. Это «он» скажет: убей — и ставят виселицу. Ведут человека, жандарм приходит за Лазарем, а Лазарь надевает на шею петлю. Будто паук жирный, глазастый сидит в паутине и следит, не летит ли муха. В темной тесной голове палача мысли были прежде как спутанные нитки, а теперь их распутали и смотали в тугой клубок. Ему казалось, что зло сидит в одном месте, протягивает оттуда руки во все стороны и всем движет. Что если б вот так подойти, взять в пригоршню зло и сдавить, все его руки опустились бы без сил, и перестал бы будить его по ночам жандарм.

Теперь Лазарь думал уже про «него». Кто «он»? Каков из себя? И где его искать? Ему представлялось, что он вроде смотрителя «морды» — толстая, безусая рожа, маленькие жестокие глазки. Лазарь подходит близко к нему, к самой роже и говорит: «Ты зло?» — и бац-бац по щекам. «Ты горе? Ты кривда?» — и снова — бац-бац!.. «Ты проливаешь кровь?»

Потом он бы повесил его. Не так, как других, нет, без савана. Чтобы видно было лицо и все муки на нем, чтобы корчился долго, без конца, чтобы дергались плечи, почернело лицо и вылезли из орбит жадные глаза.

Он знает, как это сделать: его научили.

И впервые, преодолев апатию и усталость, забыв отвращенье к своей работе, — впервые ощутил он вкус убийства.

Ощутил ненависть в сердце и роскошь муки.

20 июня 1907 г.

Чернигов.

## В ДОРОГЕ

Где бы Кирилл ни был, что бы ни делал, везде окружала его атмосфера густая и своеобразная, скрывавшая от него множество вещей, будто их вовсе не было на свете. Атмосфера накаленная, тревожная, вся — опасности и борьба, вечный спад и подъем, расцвет надежды и отчаяние, ощущение силы и бессилья и бесконечно долгий путь, на котором столько уже пало... Путь, которому, казалось, конца не видно. Целый ряд жертв, гибель самых благородных, самых близких, кровавый угар и пляска смерти, жаркое вражеское дыхание, преследующее по пятам, и то вечное «ты должен», которое побуждает связывать разорванное, раздувать угасавшее. Эту атмосферу Кирилл вносил с собою всюду, как цветок — свой аромат. Она оттолкнула от него семью, в ней растаяли его прежние привычки и потребности молодых лет, она поглотила даже его настоящее имя. «Кирилл», «товарищ Кирилл» — разве его когда-нибудь звали иначе?

Красота природы, женская прелесть, обаяние музыки и слова — все это катилось где-то, подобно невидимым волнам чуждого, далекого моря. Природа — это значило день или ночь, зима или лето, — время, удобное или неудобное для работы; женщина — товарищ или враг, песня — лишь то, что зовет к борьбе. И двадцать три года, удвоенные тенями на худом лице, морщинами на лбу, словно отреклись от своих прав, засушили молодость...

Высокий, стройный, светловолосый; голубые глаза, несколько утомленные; темная рубаха, широкий пояс — таким приехал он в город.

Учинил «явку», сказал пароль. Хорошо! Только надо подождать письма.

А пока что Кирилл повели на самый конец города, где он мог пребыть в полной безопасности.

Шли долго, душными улицами, полными пыли, пока не село солнце и на золоте неба, точно на фоне византийского образа, не зачернели силуэты тополей и крыш. Товарищ говорил как-то нервно, точно хотел убедить не только Кирилл, но и самого себя в том, что дело представляет интерес, а между тем в его облезлой фигуре и в порыжевшем пальто чувствовалось что-то виноватое и безнадежное.

На квартире их встретила хозяйка и показала комнату. Ну, теперь спокойной ночи. Как только придет письмо, сразу же можно приступать к работе. Кирилл остался один и равнодушно наблюдал, как ночь окутывала маленький сад — черная, густая и теплая. Сел на пороге и закурил. Было так тихо, спокойно. Красный огонек цвел среди ночи, как цветок счастья, в темноте думалось ясно, как никогда при свете. Он думал о том, ради чего приехал, что должен сделать, и черный паук-забота уже начал плести свою сеть.

Неожиданно, вдруг, в черную тишину что-то упало. Живое, веселое и беззаботное. Запрыгало по листьям, разбудило толчком воздух и землю и дохнуло влагой прямо в лицо. Пронеслось шумно, обмыло землю и исчезло. И тогда выплыл на небо месяц. Кирилл вышел в сад и как-то сразу вобрал в себя и отяжелевшие деревья, пропитанные, как губка, водой, и серебристый смех мокрых листиков, и лепет капель между ветвей, и слившиеся в объятьях зеленый свет и тени, и синее глубокое небо, простое и спокойное. Природа вдохнула полной грудью; вдохнул и Кирилл.

Неужели он этого никогда не видел?

Была какая-то странная и неожиданная прелесть в том, что лоб щекотали холодные капли, что на него лился зеленый свет, что на сердце стало так же спокойно, как и на небе...

Долго не мог заснуть. \*

На другой день проснулся поздно, и первая мысль была о письме. Побежал к хозяйке и открыл дверь.

— Добрый день! Никто не приносит мне письма?

— Ай!

Высокое, чисто женское и пронзительно-звонкое, оно вместе с розовым телом и шлепаньем босых ног слилось в ослепительную молнию. Захлопнулась дверь — и стало пусто.

Со двора в сенцы вошла хозяйка. Нет, письма не было.

Это было удивительно, что воспринял ответ так равнодушно.

Взял шапку.

День был по-летнему ярок. Справа щетинился крышами и фабричными трубами задымленный город, слева расстилались зеленые луга и выгибал фестоны лес. Направо? или налево? С минуту поколебался — и двинулся к лугам.

Будто бы ничего не переменилось за это короткое время, но отчего-то и глаза смотрели не так, и мысли были не те... Словно уронил что-то и не хочет за ним нагнуться; словно что-то смысл с него вчерашний дождик — оттого, может быть, и было так легко. Приятно было ступать по твердой тропинке, чувствовать, как работают тугие мускулы ног. Раз-два!.. Подставлять лицо солнцу и ветру и идти куда-то, без цели, без мысли об обязанностях, людях, работе. Ийти по полю, купать тело в золотых волнах, а глаза в лазури. Как вольный зверь! В этом было что-то новое и постыдно-сладостное. Лишь к вечеру вернулся, усталый, черный от солнца, как цыган, с руками, полными цветов.

Ужин подала дочь хозяйки. Это и было то самое «ай», вспугнутое утром, молоденькое, белокурое, с нежными линиями тела, курносенькое и синеглазое.

Кирилл протянул руку.

— Я напугал вас утром?

Оно прыснуло смехом и надуло розовые губки, полные и свежие.

И снова Кирилл ощутил в себе что-то странное: его влекла линия губ и их свежая алость.

Ну, понятно, она испугалась: убирала, была неодета и не ожидала, что кто-нибудь откроет дверь. Он просит извинить, ведь он не мог знать, что в этом доме есть

такая... «Какая такая?» — «Ну такая, такая... панна Олена...» — «Олена?» Разве он не отгадал, что ее зовут Оленой? «Ха-ха! а может быть, и не Оленой?» — «Ну, тогда Натальей» — «Как раз! Ха-ха!» — «Что, не отгадал? Зато теперь уже наверняка: Варвара, Настя, Оксана, Мария...» — «Нет и нет! Он никогда не отгадает, а вот она знает, что он Петр». — «Вот и нет, не так...» — «Петр, Петр, Петр...»

Из другой комнаты звала хозяйка:

— Устя, где ты там запропастилась!

Ага, вот и вылезло шило из мешка. В честь первой встречи с панной Устей он преподносит ей эти цветы. «Этот бурьян?» — Ну, если это бурьян, так он забирает его обратно.

Но Устя уже схватила цветы и выбежала из комнаты.

И на следующей день письма не было. Кирилл возмутился. Свинство, мерзость! Он тратит попусту драгоценное время, а они сидят себе там сложа руки. И это партийная работа! Чорт знает что за порядки! Ходил по комнате большими легкими шагами, словно злоба отрывала его от земли, и дул на пламя своей злобы, стараясь раздуть его в пожар. А вместе с тем откуда-то из глубины просачивались подземные токи и гасили огонь. Ловил себя на неискренности и чувствовал нежелание, блуждающее в нем, словно тень от быстробегущей тучки. И это вызывало гнев. Надо пойти в город и расспросить. Быстро собрался, вышел на улицу и... повернул в поле.

Но как только в его раскрытые глаза хлынуло зеленое, которое катили буйные волны лугов и леса, как только небо склонилось и нежно, как пушинка, коснулось лица, как только в грудь влился золотым напитком воздух, — его охватила сладкая истома, как человека, поднявшегося со смертного одра, и швырнула куда-то в бездну все, чем жил до этого: иссушающий жар работы, обжигающее пламя опасности, чад крови и борьбы... словно он только вчера родился, в один день с молодой природой. И не имел сил, не хотел задерживаться на том, что с ним творилось, стряхивал с себя все думы и сомнения, как гусь воду с крыльев, переплыв, наконец, реку.

Брел среди ржи и смотрел другими глазами... нет, не другими, а теми же, но которые так долго спали под

тяжестью бессильных век, — смотрел, как вскипала мѳлодая рожь синей пеной колосьев, как била волнами в черный лес. А лес куда-то шел. Шли куда-то сосны, ряды высоких стволов. На вершинах, желтых, как ананасы, лежали черные кроны, будто мохнатые папахи. Шли издалека, переходили реки, фиолетовые дороги, глубокие болота и запачкали ноги, ибо до половины стволы были серы, как засохшая грязь. Шли и пропадали в сизой мгле.

Когда же Кирилл вступил в лес, ноги его заскользили, как по паркету, над головой причудливо извивались ветви — клубки желтых змей, колыхались косматые сучья, словно качалки, на которых отдыхало солнце, а маленькие веточки, пучки хвойных побегов стелились по небу, как дорогая вышивка по голубому шелку. И солнце горело за ними, как за китайским экраном.

За лесом дремали луга, словно стоячие воды, покрытые зеленой ряской. По ним бежали тени летучих облаков, припадали к ним, как гончие псы, принохивались и исчезали в резедовых просторах.

Попадались маленькие озера, сверкавшие чешуей и трепетавшие, как серебряная рыба, выброшенная из реки на прибрежную траву. Или же большие — со стеной синего камыша, с белыми лицами водяных лилий, с топкими берегами, черными и блестящими, как мокрые спины гиппопотамов, с теплым дыханием воды и ила.

И все было такое здоровое, цельное, беспечальное, и все пело хвалу безлюдью...

Кирилл не спрашивал больше хозяйку о письме. Но однажды, когда собирался выйти, она сама подала ему письмо.

Ага! Разве это к нему? Ну, хорошо, хорошо... Машинально взял и, даже не взглянув, положил в карман. Что она говорит? Приходил к нему и не застал? Это панна Устя составила такой красивый букет? Что? Просил зайти и обязательно сегодня? Ну, хорошо, хорошо... Чудесные цветы — и какой вкус у панны Усти...

Теперь целыми днями лежал на берегу реки и глядел в небо. Его занимали облака — это беспокойное небесное население, за которым он наблюдал; вечно живое, в вечном движении. Порою поднимались там волнения,

народные восстания. Мчались возмущенные толпы, черные от гнева, грозные. с ревом, с громом ружейной пальбы, с огнями взрывающихся бомб, с красными знаменами. Шли небесные войны, падали трупы, и груди их топтали все новые ряды. И неизвестно, кто победил.

И вновь наступало спокойствие, и население разгуливало по небесам, точно по бульварам. Радостно и легко плыли веселые толпы в белых и синих кисейных покрывалах, нежные девушки, пышные женщины, розовые дети, — и все было исполнено радости, смеха.

Порой появлялись бледные тучки, длинные, худые, прозрачные, словно чахоточные прохаживались где-то на курорте, на берегу лазурного моря.

Или паслись овцы — целые стада белых ягнят — а их пастух — золотое солнце.

Кирилл следил за творческими процессами, происходившими в небе. Какой-то неведомый великий мастер лепил из серой массы зверей, людей, птиц, дома, башни, целые города и выпускал их на волю, чтобы заселить небо. Но все это было сырое, не успевало затвердевать и утрачивало форму. Звери превращались в башни, из людей возникали горы, из городов — птицы, дома принимали человеческие очертания, а потом снова превращались в скалы, окружавшие глубокие полноводные озера. Рушились великолепные храмы, таяли на Альпах снега, и с пышных роз осыпались алые платочки. А неведомый уже неистовствовал — он создавал драконов, крылатых коней, грифов и крокодилов, но и те жили лишь мгновение, чтобы превратиться в нечто новое. Тогда, изнемогая, в отчаянии, смешивал все вместе в серый хаос и сам расплывался в печаль.

Захватывали также тени и их жизнь. Кирилл наблюдал за ними, как они корчились под кустами, стволами деревьев, под нависшими берегами реки. Им было больно и неудобно. И лишь когда утомленное солнце опускалось с вершины своей славы вниз, тени мало-помалу осторожно расправляли свои скрученные щупальцы, росли и ползли все дальше и дальше. К вечеру они вытянулись во весь свой рост. По долинам легли бесконечно длинные черные тополя, тонкие крылатые ветряки, остроконечные колокольни, фабричные трубы — весь город циклопов, черный, немой и приниженный.



Кирилл не чувствовал укоров совести. Красоту природы и ее покой пил жадно, как жаждущий воду, без раздумья, без колебаний, как нечто всегда принадлежавшее ему. Нечто утраченное и обретенное вновь. Порой издали, точно откуда-то из-под земли, долетало до него эхо знакомых сигналов, но такое слабое и бессильное, что тут же замирало. И он не хотел к нему прислушиваться. Зато по ночам бывало мучительно. Во сне казалось, что он что-то должен, что-то непременно должен сделать — и не может. Нехватает сил. Старается во всю, напрягает волю, обливается потом — и не может. А должен... Мученье.

Просыпался разбитый, обессиленный, но первый же солнечный луч, тянувшийся к нему в окно, рассеивал ночной кошмар и возвращал силы.

Теперь Кирилл ходил уже не один — панна Устя знала чудесные уголки, оазисы, полные цветов. Она шла впереди, свежая и чистая, с гибкими, как извивы молнии, линиями тела, и смеялась весело и тепло, как солнце. В лесу она взбиралась на какую-нибудь ветку и болтала ногами, упругими и молодыми. Словно русалка.

— Не смотрите на меня.

— А если я хочу.

— А я не хочу.

— Это мне все равно.

— А я закроюсь.

— А я открою.

— Только посмейте.

— Уже посмел.

— Ай!

И опять «ай» такое высокое, щекочуще-женское и серебряно-звонкое.

Он держал ее руки в своих, а она закрывала глаза, прятала лицо, и смех сыпался из ее горла, точно лесные орехи в хрустальную вазу.

Перекидывались словами, пустыми и незначащими, лишь бы только слышать друг друга, и слова эти прилипали к ним, как колючки, которые трудно оторвать от одежды.

На берегу реки она разувалась, бродила по мелкой воде. Вода позволяла видеть ее ноги, бледные, как венчики нарциссов. По голубой воде плыли и таяли

легчайшие облачка, и она казалась одним из них — розовая, прозрачная, позлащенная солнцем

Кирилл напрягал легкие и стрелой пускал вдоль берега:

— Ус-тя!

Тогда высокий берег и его изгибы, стена леса и все холмы складывали губы, подобно Кириллу, и возвращали в ответ:

— Ус-тя!

А Устя смеялась.

Вдвоем, словно две березки, растущие из одного корня, они появлялись тут и там, собирали цветы, отыскивали под ворохом листьев грибы, купались в лучах солнца и в прохладной тени или, взявшись за руки, сбегали с холмов в сочные долины. И она была для него неотделима от шелеста леса, от полета облаков, от аромата трав. Она была такая наивная и такая хитрая, так мало и так много знала, как муравей, который воздвигает пышные хоромы, а сам живет в темных клетушках.

Лежали в высокой траве, среди моря цветов, и разглядывали: там, в самом низу, желтели, словно зерна золотого песка, башмачки и мелкая лапчатка, а над ними поднимались, словно маленькие топольки, стебли вероники, то иссера-голубой, то густо-синей. Красные помпоны клевера, точно маленькие ежи, топоршили иглы на своих трехлистных подставках, а пахучий чебрец ткал по склону горы гелиотропового цвета ковер. Кашка повсюду раскрывала свои зонтики. Среди белых ее шатров мелькали крылышками синие мотыльки. Иногда на зонтик усаживался жук и ловил солнце зеленым зеркалом крыльев. Устя задерживала дыхание, чтобы не вспугнуть его. Унылый зверобой выбрасывал пучки звезд, яркожелтых, но печальных, как золотые кисти на черных углах гроба, а рядом с ним вытягивал свой серый и узловатый стебель дикий цикорий, по которому взбирались редкие голубые цветы, полинялые и непричесанные. Из травы на Кирилла устремляла взор ромашка. Маленькие колокольчики разбегались по лугу, сея печаль, такие delicate и такие нежные, что сами дивились тому, как еще существуют на свете. Недоступная крапива, отягощенная семенами, как пчела пылью, хозяйственно шепталась в своих угрюмых владениях.

А там дальше мохнатые васильки качались во все стороны, будто хотели засыпать сине-розовым цветом все пространство. Поодаль конский шавель, порыжевший на солнце, струил коричневый дым, словно похоронный факел, и важно стояли, точно золотые семисвечники в древних храмах, «царские скипетры». Кирилл показывал Усте долины, где молочай таинственно катила в своих сочных и влажных, как коровьи соски, стеблях молоко — от темнососнового основания до желтых кругленьких розеток. Высокие места, как джунгли, заросли седой полынью, пьянившей воздух горьким ароматом, густыми и удушливым.

Там и сям вытягивались к солнцу кошачьи лапки, сухие, лишенные запаха, мягкие, как бархат, а между ними полевая мята каждую пару своих листиков разубрала гелиотроповой перевязью. Усте и Кириллу казалось, что наивная гвоздика краснела в траве, как детские личики, а над нею склонял свои ветви скорбный дрок и плакал золотыми слезами. Отдельные большие пространства занимали репейники, синие, почти сизые. Они напоминали покинутый костер, исходивший предсмертным голубоватым дымком. А там, в лугах, светились, как звезды в небе, желтые одуванчики, вертелась на одной ножке березка, прочно стоял на земле деревей, кивала серыми веточками мальва, и на горохах сидели, точно мотыльки, бело-розовые, красно-синие и оранжевые цветы. Это была оргия цветов и трав, пьяный сон солнца, какое-то безумство красок, запахов, форм...

Устя лежала и грызла стебелек, а Кирилл пригнул к себе зеленый куст и припал к нему разгоряченным лицом. И вот, без слов, без уговоров, глаза их встретились, как четыре самых красивых цветка, уста потянулись к устам. И влажная сладость слилась со вкусом горькой травы...

• • • • •

Как-то вскоре после этого случилось нечто. Когда глубокой ночью, в своей комнате, был один, кто-то бросил:

— Изменник.

Громко и отчетливо.

Изменник? Кто?

Кирилл оглянулся, но тени лежали спокойно, и спокойно поблескивали в свете лампы узоры мешанских обоев.

Он сел на постели и бессознательным жестом схватился за карман, в котором продолжало лежать до сих пор не распечатанное письмо. Но не вынул. Что-то враждебное, сопротивляющееся заворчал в нем, как разбуженный пес, и рука его бессильно упала. Почувствовал усталость и тихо сидел, прислушиваясь, как отдавалось в пустом сердце это слово. В сердце, от которого отхлынула кровь и откуда повеяло холодом, как из щели. Потом сразу стало душно, горячая волна поднялась откуда-то снизу, залила эту пустоту, бросилась в голову и согнала Кирилла с кровати.

Чорт! Он имеет право. Право на полноту жизни... право своих двадцати трех лет... Право неповторимой жизни, которая дается лишь раз... Кто ему запретит? кто посмеет? Кто смеет погасить его «я», стереть все краски, уничтожить аромат... даже, если бы это было необходимо для тысячи других? Других, которых он и не знает! Чорт! Он не отдаст им всего... Он вправе и себе что-нибудь оставить...

Все в нем кипело и заставляло метаться по комнате, от стены к стене, из угла в угол.

Изменник! Пусть ему скажут это в лицо! Тогда увидят...

Ему сказали это в лицо! Сказало второе, жившее в нем истинное и неугомонное его «я». «Я», которое так ярко горело в нем... сжигало в своем пламени все личное, нечистое, звериное. Но первое сопротивлялось, боролось, хотело жить, кричало о своем праве и тащило к себе.

Их примирила усталость. Бесцветная и мутная, она дремала где-то в глубине, подобно туману над водой, и только того и ждала, чтоб протянуть оттуда свои липкие объятия...

. . . . .

Что творилось в мире? Разве он знал? Даже не желал знать. Газет не читал, писем не было, и никто не приходил к нему. Сначала наведывался кто-то, но не мог застать Кирилла и прекратил посещения.

Правда, по вечерам, когда город тускло светился и тихо вздыхал после утомительного дня, он брал Устю за руку и шел туда.

Бродили по улицам, словно по черным ущельям, прижавшись друг к другу, и, наконец, останавливались где-нибудь под окном послушать музыку. Прятались в тени и ловили звуки. Устя любила веселое, она тихонько подпевала и пристукивала в такт каблучками, а Кириллу казалось, что звуки подпрыгивают вверх, как огоньки, и распускаются, словно цветы перед восходом солнца. Плыли на волнах света, струившегося из окна, и порождали тоску. По чему-то прекрасному и неведомому, такому близкому и далекому...

Однажды что-то черное и косматое заслонило свет и разорвало музыку.

— А!

— А!

— Это вы?

— Я.

Черное трясло бородой и большой соломенной шляпой, трясло руку Кириллу.

— Какими судьбами?

Обняло слегка за талию и повлекло с собой.

Нагнулось и просило.

Нельзя? Пустое. Здесь недалеко, на даче. Увидит жену и как они живут, вспомнит прошлое. Два года... Да, да, два года, как они не виделись...

Рука Кирилла лежала в чужой руке, и сбоку излучалось дружеское тепло, но его удерживало какое-то нежелание. А! Снова газеты... и эти разговоры... Опять черный призрак, требующий, словно жертвоприношения, крови и сил.

Нет, он не может.

Он помнит этого «бандита», гремевшего на собраниях, звавшего в бой, пылкого, отважного, пользующегося любовью, и его жену, такую маленькую, подвижную, которая еще недавно была центром всего. «Товарищ Мария»... каким чудом они еще на свободе?

Нет, он не хотел бы оказаться среди них.

Его упрашивали, тасили силком, и утром он уже был на даче.

Их встретила «товарищ Мария». Какой она стала толстой и рыхлой в своем капоте, который на ходу застегивала на голой шее, эта раскормленная гусыня! Она так рада, но везде — ай, такой беспорядок!

Пожала руку и бросилась к столу, откуда вдруг посыпались газеты, нераспечатанные, в бумажных опоясках, подняв столбы пыли.

Здесь их не читают, что ли?

Иван смеялся так добродушно и немедленно переоделся в широкую блузу. В окнах виднелись грядки капусты и целый лес кукурузы, а наседка клохтала где-то поблизости так же хозяйственно, как и «товарищ Мария».

На балконе их ждал чай.

За чаем Иван сразу же, точно торопился куда-то, начал в приподнятом тоне разговор о современных событиях. Мария, сжав губы, с выраженным сдерживаемой боли, упорно помешивала чай. Получалось очень громко, может быть, чересчур, так, будто слова падали в пустую бочку и там вырастали. И что-то ненужное и легкое было в них, словно больной утешает другого, лежащего уже на смертном одре. И се чувствовали — и упрямо размешивавшая чай Мария, и Кирилл с его опустошенностью, враждебной усталостью, и Иван, громко бросавший красивые слова, — все чувствовали, что рядом, в соседней комнате, лежит покойник, которого надо и которого невозможно забыть. И лишь поэтому они ведут между собой разговор.

Даже наседка клохтала об этом у ног, но на нее не обращали внимания. Лишь когда цыплята вскочили на колени, а оттуда на стол и покатались желтыми клубочками между стаканами, — слова Ивана расплылись в улыбку и скатились вниз по черной бороде.

— Цып, цып, цып... — лепетал Иван нежно, не только губами, но и глазами и утопил желтый клубочек в своей черной бороде бандита.

— Цып, цып, цып... — вытягивала губы Мария и прижимала к розовой шее желтый пушок.

Стало легче дышать, непринужденно задвигали стульями, разговор сразу оживился и вдруг перескочил на тему о пороках кур.

Кириллу предложили осмотреть дачное хозяйство.

Корову звали «Гашкой», у нее было великолепное вымя, и она всем лизала руки. Утята катились под ноги, серенькие и кругленькие, похожие на комочки земли; щеголеватые куры, нескромно задрав сверху заостренные

хвосты, копошились в навозе и исправно неслись на радость хозяйке. Может быть, он хочет осмотреть яйца? Рыжий бычок расставил ноги и тупо уставился в забор, но тем не менее он знатного происхождения: его родословную стоило выслушать. Свинья рылась во дворе.

— Не бойтесь, нагнитесь... Почешите... почешите... между ног, он это любит... Ах ты, кабанчик!.. чистокровный беркшир...

— Нет, Иван: йоркшир...

— Гм... удивительно... вечно ты путаешь...

И вдруг он перевел взор на огород, на синее море капусты.

— Маруся, видишь?

— Ах, боже... Свиньи в огороде... Беги, гони...

С треском хлопнулась палка, скакнула туша... Ач-чу! гуч-ка!.. Топали ноги, мелькали блузы среди зелени... Ас-са! ги-ги!.. Откройте калитку!.. Ку-ви, ку-ви...

Твердое, шетинистое разрезало, как пуля, воздух и задело по ногам... Обдало теплом распаренных тел, свистящее прерывистое дыхание, красные лица,— и лишь тогда Кирилл увидел, скольких усилий стоила погоня.

Все это было так далеко от того, чего Кирилл опасался, когда ехал на дачу. Здесь можно быть спокойным. Почему же вместо спокойствия в груди шевельнулось что-то неприязненное, раздражающее? Какой-то острый вопрос, вставший там торчком и коловший? Что-то неожиданно горькое?

В будни Иван ездил на службу и возвращался поздно, к обеду. Ругал нынешнее земство, в котором служил, зло издевался над теми либералами, которые так быстро сменили овечью шкуру на волчью. Собирал примеры мерзости современных человеческих отношений, грязную и кровавую накипь жизни, и чувствовалось, что находит в этом злую радость. Тем лучше. Пусть будет так. Прекрасно!.. Привозил новости. Между первой и второй ложкой борща сообщал о новых казнях. Восьмерых повесили. Приговорены к смерти трое. Все молодые, едва начавшие жить. Слова заедали борщом, а в антракте узнавали, что в селах стреляют людей, как рябчиков. И обо всем этом говорилось с таким спокойствием, даже с некоторым холодком, словно это были факты из эпохи средневековья, о которых можно вспомнить, но нельзя

понять. Иногда Марию интересовали детали — оторванные бомбой ноги, искалеченные дети, место смертельного ранения, но все это мгновенно вытеснялось беспокойством о том, что перестоялся пирог. Забывала об оторванных ногах, мертвых детях, повешенной молодежи и бежала на кухню ругаться.

После обеда они ложились спать. Спать — после обеда! Они, возможно, даже храпели — митинговый оратор Иван и «товарищ Мария»!..

Кирилл убежал из дому, чтобы этого не слышать.

Спал и Кирилл — правда, не днем, — и по ночам его мучили сны. Ему упорно снилось одно и то же: что он что-то должен... вот, он до боли ясно чувствует, что он что-то должен... должен, но нет сил, и он сам не знает, что же он должен...

По вечерам являлась с соседней дачи высланная откуда-то кудрявая курсистка. Она приносила написанный на ее лице сказочный восторг, выражение не от мира сего, а подмышкой книгу. Ее встречали радостно. Мария целовала, а у Ивана улыбка волнами колыхала его черную бороду. Казалось, они весь день ждали ее, и тотчас же усаживались за стол. При свете лампы в маленькой комнате, казавшейся островом в море ночного мрака, они читали. Что-то странное, нездоровое, вычурное, с запахом мускуса — «А Rebours» Гюисманса, «Сад пыток», в которых любовь гноилась, как рана, а «Я» распускалось пышным ядовитым цветом; оргия духа и тела, сверхъестественные инстинкты и протест всего против всего.

Или спорили.

Тогда лица их разгорались, у Марии краснели кончики ушей и блестели глаза. Иван ходил по комнате с вдохновенным лицом, удивляя всех образцами блестящего красноречия, а курсистка сидела, охваченная сказочным экстазом, словно королева подводного царства.

И чем дальше отстояли высказанные мысли и образы от ужасов и скорби, которыми была объята действительность, тем судорожной цеплялись за них все трое, словно торопились, зажмурив глаза, скорей проплыть над бездной, где покоились обломки недавно разбитого корабля.



Чтение заканчивалось поздно. Иван провожал курсистку домой, а возвращаясь, заставал жену еще за столом. Закрыв ладонями уши, она лихорадочно дочитывала книгу, страницы шелестели в тишине, будто переворачиваемые ветром.

Пора было укладываться, но они никак не могли договориться, кому достанется на ночь книга.

— Ты дочитаешь завтра, ведь я же уйду утром на службу, — протестовал Иван.

— Мне осталось несколько страниц. Кажется, можно бы меня оставить в покое... — сердилась Мария.

— Ты думаешь только о себе...

— А ты?

И происходила сцена.

Теперь никто уже не поднимал острых, жгучих вопросов, как в первый день, когда Кирилл приехал на дачу. Гостю уже была оказана подобающая честь, чего же еще надо? Но это само вставало перед ним контрастом, непрошенное, и говорило ему что-то. Что-то неразборчивое, гнетущее, тревожное, — и лишь временами Кириллу казалось, что вот-вот он уловит, вот-вот разрешит, что он должен сделать...

Каждый раз, когда Иван просыпался после обеда, с немного припухшими глазами, бледным лицом, всклокоченной головой, зевал долго и со вкусом, — Кирилла всего передергивало, и он выбегал из комнаты, чтобы не видеть.

А разве завтра будет не то же самое — служба, телята, символизм и капуста? Заплывшие глаза и зевота?

Он был уже сыт этим «покоем». Ему становилось душно в этой атмосфере и однажды, не успев даже подумать, он бросил наконец:

— Как вы... можете... Свинство!

Он волновался. Слова вырывались с трудом, точно из-под кучи мусора, под которой долго лежали.

— Вы, которые... когда вокруг...

Слова жгли, они били не только Ивана, эти слова, такие короткие и понятные обоим. Разрушали все преграды и вылетали, словно пули.

Как он мог! Иван пожал плечами. А что же он должен делать? Среди всеобщей разрухи, апатии, усталости?.. Он не герой... и кто имеет право требовать от него

геройства!.. Он действовал, когда можно было действовать... Никто не имеет права... да, да, никто не имеет права его упрекнуть...

Они все сильнее повышали голоса, и уже оба кричали. Сердито, злобно. И в каждом из них кричала собственная боль, стыд, кричала усталость, кричала потребность, — разя другого, ранить самого себя...

Разошлись, сердитые, взволнованные.

Кирилл долго бродил, пока не успокоился немного. Был ли он прав? Не оскорбил ли напрасно Ивана? Нет, надо заново пересмотреть вопрос, без гнева, спокойно. Он должен немедленно увидеть Ивана. Наверное, он, бедный, где-нибудь терзается после этой грубой сцены. Назад, домой!.. Отсюда недалеко... Вот уже белеются стены... забор, синяя капуста... А вот...

Увидел Ивана и Марию. Они, наклонившись, пололи грядку. В зеленой ложбинке, озаренной вечерним солнцем, среди капусты были видны только их круглые зады, большой черный и поменьше синий, которые неподвижно жались рядышком, как эмблема покоя. И было в этой картине что-то такое отвратительное, такое противное, что Кирилла передернуло.

Не пошел на огород, а направился к себе. И первое, что он сделал — засунул руку в карман и вытащил письмо. Потертое, измятое, серое. Разорвал конверт и начал читать. Нет, еще не поздно. Понял, наконец, что он должен сделать! И когда разбирал при сумеречном освещении истертое письмо, к нему с балкона донесся голос Марии:

— Идите чай пить! У нас сегодня пирог!..

— Пи-рог, рог-рог... — пропел басом Иван, так, точно ничего не произошло, в великолепном настроении. Но Кирилл не откликнулся.

Собирался в дорогу.

*1 сентября 1907 г.*

Чернигов.

## INTERMEZZO

*(Посвящаю Кононовским полям)*

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

Моя усталость.	Кукушка.
Поля в июне.	Жаворонки.
Солнце.	Железная рука города.
Три белых овчарки.	Человеческое горе.

Осталось лишь упаковаться... Это было одно из тех бесчисленных «нужно», которые так утомили меня и лишали сна. Неважно, значительное это «нужно» или ничтожное — существенно то, что оно всякий раз требует к себе внимания, что уже не я им, а оно мною владеет. Фактически становишься рабом этого многоголового чудовища. Хотя бы на время избавиться от него, забыться, отдохнуть. Я устал.

Ведь жизнь безостановочно и неумолимо идет на меня, как волна на берег. Не только моя собственная, но и чужая. А в конце концов — разве я знаю, где кончается моя жизнь и начинается чужая? Я чувствую, как чужое бытие входит в мое, словно воздух в окна и двери, словно воды притоков в реку. Я не могу разминуться с человеком. Я не могу быть одиноким. Признаюсь, — искренно завидую планетам: у них свои орбиты, и ничто не становится на их пути. В то время как на своем я постоянно встречаю человека.

Да, ты становишься на моем пути и считаешь, что имеешь на меня право. Ты повсюду. Это ты одел землю в камень и железо, это ты из окон зданий — тысячи

черных ртов — вечно дышишь смрадом. Ты ранишь священную тишину земли скрежетом фабрик, грохотом колес, грязнишь воздух дымом и пылью, воешь от боли, радости, злости. Как зверь. Повсюду я встречаю твой взгляд; глаза твои, любопытные, жадные, вонзаются в меня, и сам ты, во всем разнообразии своих цветов и форм, застреваешь в моем зрачке. Я не могу разминуться с тобой... я не могу быть одиноким... Ты не только идешь рядом со мной, ты влезаешь в меня, в нутро. Ты бросаешь в мое сердце, как в собственный тайник, свои страдания и свои боли, разбитые надежды и свое отчаяние. Свою жестокость и звериные инстинкты. Весь ужас, всю грязь своего существования. Какое тебе дело до того, что ты меня терзаешь? Ты хочешь быть моим повелителем, хочешь овладеть мною... моими руками, моим разумом, моей волей и моим сердцем... Ты хочешь высосать меня, всю мою кровь, как некий вампир. И ты это делаешь. Я живу не так, как хочу, а так, как говоришь мне ты своими бесчисленными «нужно», бесконечными «должен».

Я устал.

Меня утомили люди. Мне опротивело быть постоянным двором, где вечно толкутся эти создания, кричат, сердятся и сорят. Распахнуть окна! Проветрить помещение! Выкинуть вместе с мусором и тех, кто сорит. Пусть войдут в дом чистота и спокойствие.

Кто даст мне радость одиночества?

Смерть? Сон?

Как я ждал их порою!

А когда являлся этот прекрасный брат смерти и вводил меня к себе, люди и там подстерегали меня. Они сплетали свое существование с моим в один причудливый узор, старались наполнить мои уши и мое сердце тем, чем сами были полны... Слушай-ка, слушай! Ты и здесь несешь ко мне свои страдания? Свою мерзость? Мое сердце не может больше вместить. Оно полно до краев. Дай мне покой...

Так бывало по ночам.

А днем я содрогался, если чувствовал за спиной тень человека, и с отвращением слушал ревушие человеческие поюки, мчавшиеся мне навстречу, как дикие лошади, из всех городских улиц.

\* \* \*

Поезд летел, полный человеческого гама. Казалось, город протягивает в поле за мной свою железную руку и не отпускает. Меня раздражала трепетавшая во мне неуверенность: разожмет ли рука свои железные пальцы, отпустит ли меня? Неужели я убегу от этого вопля и войду в безлюдье зеленых просторов? Они сомкнутся за мной и тщетно будут лязгать суставы железной руки? И будет кругом и во мне тишина?

А когда все это произошло так просто и так незаметно, я не почувствовал тишины: ее заглушили чужие голоса и слова, мелкие и ненужные, как щепки и солома в вешних потоках...

...одна почтенная дама пятнадцать лет страдала болезнью сердца... трах-тарых-тах... трах... тарых-тах.. дивизия наша стояла тогда.. Трах-тарых-тах.. Вы куда едете?.. Прошу билеты... трах-тарых-тах... трах-тарых-тах...

Какой-то зеленый хаос бушевал вокруг меня и хватал бричку за все колеса, а неба здесь было так мягко, что глаза тонули в нем, словно в море, ища, на чем бы задержаться. И были беспомощны.

Наконец мы у себя. Белые стены дома возвращают мне сознание. Как только бричка вкатилась в широкий зеленый двор, закуковала кукушка. Тогда я вдруг ощутил великую тишину. Она заполняла весь двор, гаилась в деревьях, залегала в глубоких голубых просторах. Так было тихо, что мне стало стыдно биения собственного сердца.

\* \* \*

Десять черных комнат, налитых мраком по самые края, обступают мою комнату. Я закрываю двери, точно боюсь, что свет лампы вытечет весь сквозь щели. Вот я и один. Вокруг ни души. Тихо и безлюдно, и все-таки я что-то там чувствую, за стеной. Оно мне мешает. Что там?

Я чувствую твердость и формы погруженной на дно черного мрака мебели и скрип половиц под ее тяжестью. Ну, что же, стой себе на месте, отдыхай спокойно. Я не хочу о тебе думать. Я лучше лягу. Потушу лампу и сам утону в черном мраке. Может быть, и я превращусь в неодушевленный, ничего не чувствующий предмет, в

«ничто». Так хорошо быть «ничем», безгласным, ненарушимым покоем. Однако там, за стеной, что-то есть. Я знаю, если войти внезапно в темные комнаты и чиркнуть спичкой, все бы сразу бросилось на свои места — стулья, кушетки, окна и даже карнизы. Почему знать, не удалось ли бы моему взору уловить образы людей, бледные, неясные, как на гобеленах, всех тех, кто оставил свои отражения в зеркалах, свои голоса в щелях и закоулках, формы — в мягких волосяных матрацах, а тени — по стенам. Кто знает, что делается там, где человеку не дано видеть...

Ну, вот! экие глупости! Ты хотел тишины и безлюдья — теперь ты их получил. Качаешь головой? Не веришь в безлюдье?

Разве я что-нибудь знаю? Разве я знаю... Разве я могу быть уверен, что дверь не приоткроется... вот так, чуть-чуть, с легким скрипом, и из неведомого мрака, такого глубокого и бескрайнего, не начнут выходить люди, все те, что укрывали в моем сердце, как в собственном тайнике, свои надежды, гнев и страдания или кровавую жестокость зверя. Все те, с которыми я не могу разминуться, которые утомили меня... Что ж удивительного, если они явятся еще раз... Вот я их уже вижу. Ого, ого! Как вас много... Это вы, чья кровь вытекла в маленькую дырочку от солдатской пульки, а это вы... сухие препараты: вас завертывали в белые мешки, качали на веревках в воздухе, а потом складывали в едва засыпанные ямы, откуда вас вырывали псы... Вы смотрите на меня с укоризной — и вы правы. Знаете, я раз читал, как вас повесили, сразу двенадцать человек... Сразу двенадцать... и зевнул. А в следующий раз сообщение о целом ряде белых мешков закусил спелой сливой. Этак взял, знаете, пальцами чудесную спелую сливу... и почувствовал во рту приятный, сладкий вкус... Вы видите, я даже не краснею, лицо мое бело, как и у вас, так как ужас высосал из меня всю кровь. Во мне не осталось уже ни капли горячей крови и для тех живых мертвецов, среди которых вы идете кровавыми призраками. Проходите! Я устал.

А люди идут. За первым — второй и третий, и так без конца. Враги и друзья, близкие и дальние — и все

кричат мне в уши криком своей жизни или своей смерти, и все оставляют в душе моей следы своих подошв. Заткну уши, запру свою душу и буду кричать: сюда вход воспрещен!

...Открываю глаза и вдруг вижу в просветах окон глубокое небо и ветви берез. Кукует кукушка. Бьет молоточком в большой хрустальный колокол: ку-ку! ку-ку! — и сеет в травах тишину. Представляется вдруг зеленый двор — он уже поглотил мою комнату, — я вскакиваю с постели и кричу в окно кукушке: «Ку-ку... ку-ку... Добрый день!»

Ах, как всего много: неба, солнца, веселой зелени.

Бегу во двор. А там лязгают железные цепи и неистово беснуются собаки. Большие белые овчарки прыгают, встав по-медвежьи на задние лапы, и подпрыгивают на них длинная косматая шерсть. Подхожу ближе. Ну, чего ты, собачка... как звать тебя? Ну, хватит уже, Оверко... Не слышит, не видит. Прыгают красные глаза, скачут широкий лоб и белые меховые штаны. Рвется из глубокой пасти и не может вырваться вся до конца зубастая злость и лишь подкидывает вверх копы шерсти. Ну, что же ты, Оверко? Отчего горят твои красные глаза и в их огне сплавлены воедино страх и ненависть? Я не враг тебе и тебя не боюсь. Ты можешь, в лучшем случае, вырвать кусок из моего тела или вцепиться зубами мне в икры... Ах, какие это пустяки! Какие пустяки, если б ты знал... Ну, молчи же, собака, молчи. Правда, я понимаю, цепь... Может быть, ты больше зол на нее, чем на меня... Ведь это из-за нее твои передние лапы обречены хватать воздух, это она душит тебя за горло и вгоняет в него твою огненную ярость. Подожди немного. Сейчас будешь на воле. Что-то тогда ты мне сделаешь? Ну, стой же спокойно, не беснуйся, пока с тебя снимают цепь... а теперь айда! Куда же ты, куда? Ха-ха! Вот глупый пес. Глаза зажмурил, голову набок, прыгнул — без памяти мчится вслепую. Рвет когтями траву, отбрасывает от себя, и летят за ним вдогонку сбившиеся на задку космы. Ну, а как же я? забыл?

Теперь — волчком... волчком... еще раз... вот так... У, благородный пес: тебе воля дороже, чем удовлетворенная злоба.

Тем временем мне отрекомендовывают Паву, почтенную матрону, и ее второго сына. Это страшный Трепов. Если Оверко чистейший сангвиник и на все набрасывается вслепую, словно его красные глаза вечно застилает розовый туман, — Трепов солиден и рассудителен. Он вполне солидно, словно обдуманно, перекусит вам горло, и каждое движение его сильных ног, которые наступят вам на грудь, будет проникнуто сознанием собственного достоинства. Даже когда он спокойно лежит и вычесывает блох на розовом животе, его обрезанные уши насторожены, лобастая голова думает, и так солидно свисает мокрый язык из клыкастой пасти.

\* \* \*

Мои дни текут теперь среди степи, среди долины, по края налитой зелеными хлебами. Бесконечные тропинки, скрытые, интимные, точно предназначенные для самых близких, ведут меня по нивам, а нивы катят и катят зеленые волны и доплескивают их до самого горизонта. У меня теперь особый мир, он подобен жемчужной раковине: сомкнулись две створки, одна зеленая, другая — голубая, и замкнули в себе солнце, точно жемчужину. А я там брожу и ищу покоя. Иду. За мной неотступно летит облачко мелкой мошкары. Могу подумать, что я планета, движущаяся вместе со спутниками. Вижу, как синее небо раскроили надвое черные машущие вороньи крылья. И от этого синей небо, черней крылья.

В небе солнце — посреди нив я. Больше никого. Иду. Глажу рукой соболий мех ячменя, шелк колосистой волны. Ветер набивает мне в уши ключья звуков, смешанный разнообразный шум. Такой он горячий, такой нестерпеливый, что так и кипят от него серебряволосые овсы. Иду дальше — кипят. Тихо течет голубыми реками лен. Так тихо, спокойно в зеленых берегах, что хочется сесть в челнок и поплыть. А там ячмень клонится и ткет... ткет из тонких своих усов зеленую кисею. Иду дальше. Все ткет. Колеблет кисею. Тропинки змеятся глубоко во ржи, глаз их не видит, их ловит сама нога. Васильки смотрят в небо. Они хотели быть, как небо,



и стали, как небо. Теперь пошла пшеница. Твердый безостый колос бьет по рукам, а стебель лезет под ноги. Иду дальше — все пшеница и пшеница. Когда ж этому конец будет? Бежит по ветру, как стаи лисиц, и блестят на солнце волнистые спины. А я все иду, такой же одинокий на земле, как солнце на небе, и так мне хорошо, что не ложится между нами тень кого-нибудь третьего. Прибьй колосистого моря катится сквозь меня куда-то в неизвестность.

Наконец останавливаюсь. Меня задерживает белая пена гречихи, душистая, легкая, точно взбитая крыльями пчел. Прямо под ноги легла певучая арфа и гудит всеми струнами. Стою и слушаю.

Полны мои уши этого дивного гомона поля, этого шелкового шелеста, этого неустанно льющегося, как бегущая вода, пересыпания зерна. И полны глаза солнечного сияния, ибо каждый стебелек берет от него и возвращает обратно отраженный блеск.

Внезапно все гаснет, замирает. Вздрагиваю. Что такое? Откуда? Тень? Неужели кто-то третий? Нет, только тучка. Одно мгновение темного горя — и сейчас же улыбнулось справа, улыбнулось слева — и золотое поле размахнуло крылья до самых краев синего неба. Будто хотело взлететь. Тогда только передо мной встала вся его безбрежность, теплая, живая, непобедимая мощь. Овсы, пшеница, ячмень — все это слилось в одну могучую волну; она все заливает, все забирает в плен. Молодая сила дрожит, трепещет и рвется из каждой жилки стебля; клокочет в соках надежда и та великая жажда, чье имя — плодородие. Я лишь теперь увидел село — кучку убогих соломенных крыш. Оно едва заметно. Его обняли и сдавили зеленые руки, протянувшиеся к самым хатам. Оно запуталось в ниве, как мошка в паутине. Что значат перед такой силой эти хатки? Ничего. Сомкнутся над ними зеленые волны и поглотят. Что значит для них человек? Ничего. Вот показалось в поле маленькое беленькое пятнышко и утонуло в нем. Оно кричит? поет? и делает движение? Немая безбрежность просторов поглотила все это. И снова ничего. Даже следы человека стерты и скрыты: поле спрятало тропинки и дороги. Оно лишь катит да катит зеленые волны и доплескивает их до самого горизонта. Над всем гос-

подстывает только ритмичный, сдержанный шум, спокойный, уверенный, точно пульс вечности. Точно крылья тех ветряков, что чернеют над полем: равнодушно и безостановочно совершают они в воздухе оборот, словно говорят: так будет вечно... так будет вечно... *in saecula saeculorum... in saecula saeculorum.*

\* \* \*

Я возвращался домой поздно. Приходил, овеянный дыханием полей, свежий, как дикий цветок. В складках одежды приносил ароматы полей, как ветхозаветный Исав. Спокойный, одинокий, садился где-нибудь на пороге пустого дома и смотрел, как созидалась ночь, как она возводила легкие колонны, оплетала сеткой теней, сдвигала и поднимала вверх шаткие, дрожащие стены, а когда все это крепло и темнело, смыкала над ним звездный купол.

Теперь я могу спокойно спать, твои крепкие стены встанут между мною и целым миром. Спокойной ночи вам, нивы. И тебе, кукушка. Я знаю, завтра, с лучом раннего солнца, влетит ко мне в комнату твое контралято ку-ку! ку-ку!.. И сразу хорошее настроение принесет мне твое приветствие, моя самая близкая приятельница.

\* \* \*

Трепов! Оверко! Пава! Четыре пальца в рот — и длинный степной свист. Бегут. Как три белых медведя. Может быть, они меня разорвут, а может быть, примут мое приглашение в поле. Хо-хо! Этот Оверко не может без шуток. Прыгает, как глупый теленок, и косит на меня красный глаз. Трепов гордо несет свою шерсть и расставляет ноги, как белые колонны. Он прядает подрезанными ушами. Пава ступает важно, меланхолично, подрагивает задом и отстает. Я иду за ними и вижу легкое покачивание трех широких спин, мягких, покрытых шерстью и по-звериному сильных.

Им, кажется, слегка не по вкусу слишком жаркое сегодняшнее солнце, которое превращает их в такие

яркие пятна, но я полон благодарности к солнцу и иду прямо на него, лицом к лицу. Повернуться к нему спиной — упаси боже! Какая неблагодарность! Я полон счастья, встречаюсь с ним тут, на просторе, где никто не заслонит от меня его лица, и говорю ему:

— Солнце! я благодарен тебе. Ты бросаешь в мою душу золотой посев — кто знает, что взойдет из этих семян? может быть, огни?

Ты дорого мне. Я пью тебя, солнце, твой теплый целительный напиток, пью, как ребенок молоко из материнской груди, такой же теплой и дорогой. Даже когда ты жжешь, охотно вливаю в себя огненный напиток и пьянею от него.

Я тебя люблю... потому что... слушай:

Из тьмы «неведомого» появился я на свет — и первый вздох и первое движение мое — во мраке материнского лона. И доньше этот мрак властвует надо мной, — все ночи, половину моей жизни, — стоит он между мной и тобой. Его слуги — тучи, горы, темницы — закрывают тебя от меня, и все трое мы знаем твердо, что неминуемо наступит время, когда я, как соль в воде, растворюсь в нем навеки. Ты лишь гость в жизни моей, солнце, желанный гость, и когда ты уходишь, я стараюсь удержать тебя. Ловлю последний луч на тучах, продолжаю тебя в огне, в лампе, в фейерверках, собираю с цветов, со смеха ребенка, из глаз любимой. Когда же ты гаснешь и убегаешь от меня, творю твое подобие, даю ему имя «идеал» и прячу в своем сердце. И он мне светит.

Смотри же на меня, солнце, и опали мою душу, как опалило тело, чтобы стала она недоступной для комариного жала... (Я ловлю себя на том, что обращаюсь к солнцу, как к живому существу. Неужели это значит, что мне уже не хватает общества людей?)

Мы идем посреди поля. Три белые овчарки и я. Тихий шопот плывет перед нами, дыхание молодых колосков сгущается в голубой пар. Где-то сбоку влажно бьет перепел, звонко дрогнула во ржи серебряная струна кузнечика. Воздух трепещет от зноя, и в серебряном мареве танцуют далекие тополя. Широко, хорошо, спокойно.

Собакам душно. Легли на меже, как три копны шерсти, свесили языки и носят боками с коротким

свистом Я присел возле них. Слышно только наше ты-хание. Тихо.

Время остановилось или течет? Может быть, пора?

Лениво поднимаемся, лениво переступаем с ноги на ногу и бережно несем домой покой. Проходим мимо черных паров. Тепло дохнула в лицо пушистая черная пахота, полная спокойствия и надежды. Приветствую. Отдыхай тихо под солнцем, ты так же утомлена, как и я. Я тоже пустил свою душу под черный пар...

\* \* \*

Никогда раньше так ясно я не ощущал своей связи с землей, как здесь. В городах земля одета в камень и железо и недоступна. Здесь я стал близок ей. Свежими утрами я первый будил сонную еще воду колодца. Когда пустое ведро с плеском ударялось донцем об ее грудь, она ухала гулко спросонок в глубине и лениво вливалась в него. Потом дрожала, сизая на солнце. Я пил ее, свежую, холодную, еще полную снов, и плескал ею себе в лицо.

После этого было молоко. Белый ароматный напиток пенился в стакане, и, поднося его к губам, я знал, что это вливается в меня мягкая, как волосы ребенка, вика, на которой только вчера еще сидели целыми роями фиолетовых мотыльков цветы. Я пью экстракт луга.

Или этот черный хлеб из непросеянной муки, который так чудесно, по-деревенски пахнет. Он мне близок, как ребенок, который вырос на моих глазах. Вот бежит он по полям, словно дикий косматый зверь, и выгибает спину. А на краю поля стоят, точно капканы, ветряки, скалят зубы, чтобы перетереть зерно в белую муку. Я все это вижу, и просты и непосредственны мои отношения с землей.

Я здесь чувствую себя богатым, хотя у меня ничего нет. Ибо, помимо всяких партий и программ, — земля принадлежит мне. Она моя. Всю ее, огромную, роскошную, сотворенную уже, — всю я вмещаю в себе. Там я творю ее заново, вторично, — и тогда кажется мне, что у меня на нее еще больше прав.

Когда лежишь в поле лицом к небу и вслушиваешься в многоголосую тишину полей, то замечаешь, что в ней что-то есть не земное, а небесное.

Словно что-то сверлит там небеса, будто строгают металл, а вниз падают только мелкие, просеянные звуки. Нивы шумят рядом и мешают слушать. Гоню от себя полевые голоса, и тогда меня дождем окропляют небесные. Тогда я узнаю. Это жаворонки. Это они, невидимые, бросают с неба на поле свою сверлящую песню. Звонкую, металлическую и такую капризную, что ухо ловит и не может поймать ее переливы. Может быть, поет, может быть, смеется, а может быть, захлебнулась в плаче.

Не лучше ли тихонько сесть и зажмурить глаза? Я так и делаю. Сажусь. Вокруг меня темно. Вспыхивают лишь острые, колкие звуки, и мелкой дробью сыплется на металлическую доску смех. Хочу поймать, записать их в памяти — и не выходит. Вот, вот, кажется... Тью-и, тью-и, ти-и-и... Нет, совсем не так. Трийю-тих-тих... И не похоже.

Как они это делают, интересно мне знать? Бьют клювами в золото солнца? Играют на его лучах, как на струнах? Просеивают песню сквозь частое сито и засевают ею поля?

Раскрываю глаза. Теперь я уверен, что из этого посева взошла серебряная сетка овсов, выгибается и сверкает, как сабля, длинноусый ячмень, струится текучая вода пшеницы.

А сверху сыплет и сыплет... вытряхивает душу из колокольчиков, строгает серебряные доски и сверлит сталь, плачет, рыдает и просеивает смех сквозь частое сито. Вот сорвался один ясный звук и упал среди поля красным куколом.

Я уже больше ничего не в состоянии слушать. В этой песне есть что-то отравляющее: Она возбуждает жадное желание. Чем больше слушаешь, тем больше хочется слушать. Чем больше стараешься уловить, тем труднее поймать.

Теперь бегаю в поле и часами слушаю поющие в небе хоры, играющие там целые оркестры.

Ночью просыпаюсь, сажусь на постели и напряженно слушаю, как что-то сверлит мой мозг, шекочет сердце, трепещет возле уха чем-то неуловимым.

Тью-и, тью-и, ти-и... Ну, совсем не так.

Любопытно мне знать, как они это делают?

Наконец все-таки подглядел.

Серая, маленькая, как комок земли, пичужка низко висела над полем. Напряженно, часто трепыхала на месте крыльями и тяжело тянула вверх невидимую струну от земли до самого неба. Струна дрожала и звенела. Затем, закончив, падала тихо вниз, тянула вторую — с неба на землю. Соединяла небо с землей струнами и играла на этой звучной арфе симфонию поля.

Это было прекрасно.

\* \* \*

Так протекали дни моего *intermezzo* среди безлюдья, тишины и чистоты. И благословен я был между золотым солнцем и зеленой землею. Благословен был покой моей души. Из-под ветхой страницы жизнь выглядывала новая, чистая — и неужели мне хотелось бы узнать, что на ней будет написано? Неужели не задрожал бы я опять перед тенью человека и не ужаснулся бы мысли, что, может быть, горе человеческого притаилось где-то и подстергает меня?

Если произойдет такое чудо — это будет ваша заслуга, зеленые нивы с шелковым шумом, и гвоя, кукушка. Твое печальное «ку-ку» наплывало, как слезы на плакучей березе, и смывало мою усталость

\* \* \*

Мы все-таки встретились на поле и молча постояли минуту — я и человек. Это был обыкновенный крестьянин. Не знаю, каким я ему показался, но сквозь него я увидел вдруг кучу черных соломенных крыш, затертых нивами, девушек в облаке пыли, возвращающихся с работы на чужом поле, грязных, некрасивых, с обвислыми грудями, костлявыми спинами... бледных женщин в черных порванных юбках, клонившихся, как тени, над ко-

ноплей... сифилитических детей вперемежку с голодными псами... Все, на что смотрел и чего словно не видел. Он был для меня, как палочка дирижера, вызывающая внезапно из мертвой тишины целую бурю звуков.

Я не бежал; наоборот, мы начали разговор, точно старые знакомые.

Он говорил о вещах, наполнивших меня ужасом, так просто и спокойно, как жаворонок бросает на поле свою песню, а я стоял и слушал, и что-то трепетало во мне.

Ага, человеческое горе, ты все-таки ловишь меня! И я не бегу? Уже натянулись ослабевшие струны, уже чужое горе может играть на них!

— Говори, говори...

Что говорить? В этом зеленом море ему принадлежит капля. В чей дом пришла горячка и задушила детей, тому легче... Иного бог жалеет... А у него целых пять ртов, как ветряных мельниц, которым надо что-то бросить на жернова.

«Пятерых деток голодных почему-то не унесла горячка».

— Говори, говори...

Люди хотели голыми руками землю взять, и вот добились: кто давится в могиле сырой землей, а кто копает ее в Сибири... Ему еще ничего: год бил вшей в тюрьме, а теперь раз в неделю становой бьет его по морде...

«Раз в неделю человека бьют по лицу».

— Говори, говори!..

Как только воскресенье — люди в церковь, а он «на явку» к становому. А все-таки меньшая обида, чем от своих. Боишься слово сказать. Был тебе приятелем и единомышленником, а теперь, может, продает тебя исподтишка. Отрываешь слово, как клочок от собственного сердца, а он его — псам...

«Самый близкий человек готов продать».

— Говори, говори...

Ходишь среди людей, как среди волков. Знаешь одно — остерегаться. Везде настроженные уши. Везде протянутые руки. Бедный у нищего рубаху с плегня ворует, сосед у соседа, отец у сына.

«Среди людей, как среди волков».

— Говори, говори...

Людей едят сифилис, нѹжда, водка, а они в темноте пожирают друг друга. Как нам еще светит солнце и не погаснет? Как мы можем так жить?

— Говори, говори! Растопи гневом небесный купол. Заволоки его тучами твоего горя, чтоб грянули молния и гром. Освежи небо и землю. Потуши солнце и зажги в небе другое. Говори, говори...

\* \* \*

Город вновь протянул ко мне свою железную руку в зеленые поля. Покорно дал взять себя и, пока железо тряслось и лязгало, я еще раз, напоследок, впитывал покой равнины, синюю дрему дальних просторов. Прощайте, нивы. Катите шум на своих позлащенных солнцем спинах. Может быть, кому-нибудь он пойдет на пользу так же, как мне. И ты, кукушка, на вершине березы. Ты тоже настраивала струны моей души. Они ослабели, истерзанные грубыми пальцами, но теперь натягиваются вновь. Слышите? Вот они даже прозвенели... Прощайте. Иду к людям. Душа готова, струны тугие, она настроена, она уже играет...

*9 сентября 1908 г.*

Чернигов.



## КАК МЫ ЕЗДИЛИ В КРИНИЦУ

Помните ли вы, панна Юля, и вы, панна Галя, как мы, каждый в отдельности или же все вместе, в сопровождении «пана», ходили к барометру, который висел на стене возле умывальника, и пытались вытрясти из него погоду? Барометр упорно показывал «дождь», хотя в этот день даже не капнуло, и солнце сверкало иной раз сквозь тучи. Мы очень сердились. Старый, никчемный прибор, он ни на крошечку не желает стать на сухонькое, хотя нам крайне требуется ясная погода. Ах, как досадно, что от этой тоненькой стрелки зависит, где и как мы встретим ночь под десятую пятницу: обыкновенно ли, прозаически, в постели, или же с песнями, людьми и кострами на ярмарке в Кринице!

Ехать — не ехать. Ехать — не ехать. Через час отходит поезд. Если ехать — пора собираться. Хотелось подойти к прибору и сорвать на нем злость, хотя вина его лишь в том, что он объективен. На чашах весов колебались две перспективы: а) холодная ночь, дождь заливает огни, одежда мокрая... брр... б) любопытный праздник, народная мистерия, которую никогда не видел — и кто знает — придется ли увидеть.

К счастью, в каждом человеке есть немножко от авантюриста. А может быть?

Ехать! Ехать!

Сказала панна Юля. Сказала панна Галя.

Застучали двери и каблучки по полу, забегали слуги, затарахтели колеса. В одно мгновение.

Сидим в вагоне. Понятно, если дождь и будет, то там, где остался барометр, а не в Кринице. В окна глядится степь и все тянется без конца, словно безбрежное море. Куда же, собственно, мы едем?

Ах, там будут горы, высокие и прекрасные горы...

Приятно послушать сказку о горах, когда мчишься вот так степью, гладкой, как ладонь, и ничего больше перед собой не видишь...

Там будут леса — густые, громадные леса...

Откуда же они возьмутся здесь, посреди степи, в которой и рощицы-то посажены разве для того, чтобы было где жить грачам?

Мы вылезем на разъезде, а оттуда версты четыре, не больше, так что пойдем пешком. Панна Юля великолепно знает дорогу...

Ну, что ж...

Корзинку с ветчиной и хлебом будем нести по очереди. Однако мне, стороннику равноправия полов, все же жаль угашать дух рыцарства, и я в душе даю тайную клятву, что буду нести корзинку один. Плохо только, что в другой руке придется нести калоши, потому что, повидимому, дождя так и не будет. Тогда мне начинает казаться, что равноправие все-таки лучше.

Тем временем мы едем и едем, а солнце спускается и разгоняет тучи. Уже они залегли на горизонте, точно разбойники во рвах, — и не знаешь, что будет потом, когда солнце исчезнет.

Паровоз свистит, и мы проталкиваемся к окну. Это наш разъезд, нужно вылезать. Вокруг поле, пересеченное проселочной дорогой и столетними деревьями. Где же горы? Ах, боже мой, о чем я беспокоюсь, панна Юля уж знает к ним путь... вот тут-то должен быть... где-то недалеко... Плутаем между деревьями, по широкому тракту, туда и обратно. Вот тут где-то... где-то свернуть... должна же быть дорога...

Я несу корзинку, временно, конечно, и временно шагаю в калошах. Так проходит что-то около получаса. Могли бы уже быть на полпути. На наше счастье, что-то тарыхтит. Возок прочный, лошаденка сытая, дядько солидный, как на заказ. Он может подвести в Криницу. Мы искренно благодарим: не стоит

трудиться, дойдем пешком... тут всего четыре версты... дорога должна быть здесь где-то... недалеко...

Но дядько, хоть и местный, а ничего, видно, не знает, потому что уперся на том, что до Криницы самое меньшее десять верст. Мы иронически качаем головами, и, чтобы сломить, наконец, его упрямство наиболее педагогическим способом, доказательством по очевидности, нанимаем подводу. В душе я тайно радуюсь, что конфликт между равноправием полов и рыцарскими обязанностями разрешился для меня удачно, и погружаю на подводу корзинку и калоши. Вмиг маленький возок заполняется телами вдоль и поперек, причем мужчины свешивают ноги с подводы — не потому, чтобы им было тесно, а так, из присущей мужчинам фантазии. Возок начинает трястись, лошадка бежит и как-то сразу находит нужную дорогу.

Теперь мы едем вдоль пшеничного поля. Тучи залегли по краям неба, как разбойники во рвах, но мы смотрим не на них, а на голубое небо. Нам очень весело. Кто говорит, что будет дождь? Это тот пессимист-барометр все держал нас в тревоге, но он уже далеко от нас. В хлебах прячутся села, близкие и дальние, одни мы видим, о других догадываемся по лохмотьям конопли, черным, как запаска старой бабы, по картофельным полям. Ранняя гречиха белеет клочьями снега, поздняя — только показывается, и на листиках ее мокрая земля, которую они едва пробили. Потягивает холодком. Одному моему плечу тепло, его греет мужичья спина. Такая близость к народу подсказывает мне мысль воспользоваться ею, но пока я раздумываю, с чего бы начать разговор, начал мужик: «Какая теперь Дума?» — «Панская». — «Вот, слава богу». — «Почему?» — «Не будет думать только о голытьбе». — Ого! Хитрый или «успокоенный»? Откуда почтительность к пану? Из дальнейшей беседы выплывает наружу правда. У этой сытенькой лошадки есть еще две подружки, не менее сытые, потому что корма хватит не только лошадям, но и коровам, и телятам, и овечкам. Благодарение богу — полна сушилка под навесом. К этому еще поле; десятин этак тридцать. Вот Думе и есть за чем приглядывать, чтобы было цело. В первую выбрали «развратного» члена, вот теперь и сидит в тюрьме...

Я начал размышлять: если бы он знал, что я тоже «развратный», куда бы он меня завез, на ярмарку или в другое место?

Признаюсь, мне больше хотелось на ярмарку. Разговор оборвался. Сделалось холодней. Спина мужика не греет уже мое плечо.

Оглядываюсь. Где же горы? Я хочу увидеть обещанные горы! Но их нет, всюду ровню. Тогда мне приходит в голову мысль, что я мог бы сам соорудить горы. Я мог бы воспользоваться, например, тучами как материалом. Начинаю возводить скалы, высокие хребты, снежные зубцы и черные пропасти. Выходит красиво. Я мог бы, наконец, сотворить под ними и людей, всю ярмарку, но под рукой ничего нет, пришлось бы все брать из самого себя, а это материал непригодный.

Навстречу нам попадают телеги, набитые кадушками, горшками, женщинами, сундуками и прочим домашним скарбом. Сзади упирающаяся на веревке корова, а спереди суровый мужик занес над лошадьми кнут. Это ярмарочная проза торопится на ночь домой. Все поэтическое осталось на месте. Тем лучше. Значит, мы будем в избранном обществе.

Пока я тешусь этим, женская рука прикасается ко мне и палец указывает вниз. Гляжу сначала на палец, потом в долину и едва сдерживаюсь, чтобы не вскрикнуть: ах! И первое, что чувствую — досада, зачем беспокоил тучи, которые вправду улеглись уже спать.

Внизу под нами глубокая зеленая долина, круглая, как чаша, с крутыми, мягкими от кудрей леса, стенами. Кое-где по углам стоят светлые, безлесные горы, словно копны зеленого сена — и вся эта красота, неожиданная и пышная, смеется от счастья прямо нам в лицо. Еще минуту назад ничего не было видно — и вот: «Сезам, отворись!»

Донышко чаши облепили мухи, словно налетели на что-то сладкое. Это чернеет ярмарка.

Пока мы спускались в долину, красное солнце катилось по краю чаши и тучи совсем заснули.

Внизу гудит. Меж холщовых палаток и ларей валят валом люди, кони и полицейские. Тут нужно беречь ноги. Нас мало занимает вся эта суматоха. Лучше выпить чаю. Еще есть время. Входим в первую палат-

ку — на столах полевые цветы. Превосходные букеты. Это очень мило. Сядем здесь в углу, у полотняных стен, которые дышат, точно груди. Мы вскоре отличаем хозяев от гостей. В углу, среди самоваров и посуды, кричит старенькая баба — это, верно, хозяйка. Между нею и гостями безостановочно сует бледная и босая девочка. Хозяина мы узнаем по тому, как под радостные выкрики он переходит из рук в руки, со всеми целуется и выпивает. Язык еще туда сюда, но с ногами совсем плохо. Какой-то красивый парень помогает нам раздобыть зеленый, словно из помпейского музея, самовар и такие легкие ложечки, что они будут плавать в чае. Вскоре хозяин попадает к нам, и хотя мы водки не пьем, зато у нас готова для него приятная беседа, и мы завязываем узелок нашего знакомства. Несколькими фразами он вводит нас в курс своей жизни, и мы уже знаем, кто он, откуда, каков, что у него есть и ряд других интересных деталей.

Нам нужны лошади на утро? Хорошо. У него сын извозчик. И подзывает красивого парня. Тот готов к услугам, очень любезен, но сам везти не может и обещает найти подводу. Я замечаю, что на моих дам он производит впечатление. Ну, хорошо. Собственно, мы могли бы уже покинуть палатку. На пороге выслушиваем еще несколько жалоб от самой хозяйки — и теперь уверены, что наше знакомство с палаткой прочно: мы посеяли в душах людей свой образ, теперь ему остается только расти...

Хоть мы и запыхались, но с горы все же лучше видно. Теперь мы видим в центре, на самом дне чаши, маленькую часовенку. Черный деревянный сруб сияет тихим розовым светом сквозь открытые двери. Там, над источником, попы все время поют или гнусавят темные слова, и тонкие высокие свечи тают в теплой и густой атмосфере.

Черное озеро ярмарки вливается струйкой в часовню; одни входят, другие выходят. Это тот знаменитый источник, к которому съезжаются люди даже из дальних сел и становятся лагерем в ночь под десятую пятницу. Я думаю о тех мудрых людях, которые строят церкви, монастыри и часовни в самых красивых, диких местах, — они знают, что делают: они обращаются к нашим

предкам, живущим в нас, которые веками справляли священные игрища в рощах и дубравах и приносили там жертвы.

Смеркается. Мы полны нетерпения: когда же начнется? В долине полотняные палатки налились желтоватым светом, на ларях заблистали огни, и черная масса людей начала таять и расплываться. Мы видим или улавливаем ухом, как люди целыми толпами расползаются по горам и долинам, по всем укромным местам и закоулкам. Что-то где-то трещит, ломается, топают сапоги, слышится шопот, дыханье, чувствуется присутствие чьего-то тела, и в чаще, наполненной мраком, словно тревожно стучит огромное сердце.

Вон показался дымок, где-то блеснул огонь. Мы жадно ловим появление каждого нового огня. Вон там тоже клубится дым, а вон там торчат из мрака ярко-зеленые ветви, и можно пересчитать каждый листик. На черной земле всюду расцветают, как маки, огненные цветы. Скоро вся долина и гора уже сияют огнями, и вместе с дымом с земли поднимается и песня. Не правда ли, есть ведь что-то общее между огнями и песней? Как отдельные огни смешали вверху свои дымы, так и отдельные хоры, сильные и яркие, словно языки пламени, слились в нестройную волну, в мозаику звуков. Есть в этом какая-то дикая прелесть. Она что-то будит. Я сам хочу петь что-то свое, особое, лишь бы петь. Разложить священный огонь и извлечь из груди дремлющий голос предков. Мы даже делаем подобную попытку, но нам не удается. Сидим под кустом и слегка дрожим от наплыва чувств и холода. Совсем стемнело. Огни и песни становятся ярче, видно, как пламя лижет черный воздух, слышно, как его режет резкий женский голос. Нет покоя глубокой чаще, она точно адский котел, в котором кипят и огни и песни, где тесно сплетаются в любовных чарах голоса обоих полов в честь богини любви. И это пьянит. Только часовенка ласково сияет розовым болотным огоньком, как нечто неземное и вечное.

Ах, ах, какая досада, что в этом году, наперекор обычаю, не зажигают свечей на воловьих рогах! Мои дамы чувствуют себя виноватыми передо мною. Но я прошу не волноваться, ибо что касается лично меня, то

я легко могу себе помочь. Мгновенно собираю волов, одних ставлю на горах, других оставляю лежать в долине и приделываю им всем к рогам свечи. Моя фантазия разрешает такую роскошь. Теперь готово, свечи горят, как звезды, картина действительно великолепная!

Не пора ли нам спуститься в долину?

По дороге нас манит к себе каждая группка, каждый костер. Неожиданно натываемся на ряд ясных лиц, на баб, с головой закутанных в белые холстины, сидящих рядами, точно пушистые гаги на северных скалах. Заговаривают с нами, просят присесть — и голоса кажутся теплыми, словно согрешившимися у огня. Но мы не останавливаемся, нам хочется побольше увидеть, побольше услышать. В одном месте хором поют, а в другом не клеится. Вон там поет девушка в синем — она точно василек, руки большие, красные и немытые. Поет одна. Старательно и добросовестно вытягивает песню, тяжело, в поте лица работает грудь и трудится горло. Ни одна нота не пропадает. Так она, вероятно, копается в огороде, выпалывает или окучивает картофель. Все похозяйски. В другом месте картина: баба и девка сидят под холстиной, между ними свеча. Профиль старой отсвечивает воском, а молодой — лепестком розы. Фон черный. Точно камей. Ниже — какие-то не то узлы, не то мешки с мукой. Это опять бабы в белых холстинах вздремнули на земле под песни. Еще дальше — хоры, сидячие и стоячие. Каждое село дало свой хор, и граница между двумя хорами три шага — прочная граница. Здесь уже тесно. То и дело чей-нибудь локоть отпихивает тебя назад, или кто-то сзади кладет на плечи руки. Как кому удобней. Так странно, когда в одно ухоливается веселая песня, а в другое — печальная. Ловишь на миг чье-нибудь лицо, профиль, нос или глаза, а ночь все это стирает, как губка мел. Слышишь только человеческое дыханье и еще что-то странное, похожее на машиный шорох.

В долине — каша. Вozы, скот и люди сбились в кучу, от которой идет пар и пахнет потом и навозом. Бабы в холстинах улеглись рядом с волами, чтобы было теплее. Все белеет, и все сопит, и мы, натываясь на белые груды, не знаем, у кого просим извинения. На возах мужики гудят свои песни густыми голосами,

точно шмели. Мы взбираемся выше, где по крайней мере ходить можно, но там темно до черноты. И тут со мной случилось происшествие. Лечу стремглав куда-то вниз и прихожу в себя лишь тогда, когда лежу. Нашупываю шапку и поднимаюсь. Ну, ладно. Мы, кажется, хотели посмотреть часовенку?

По дороге нас вновь поражает тот же странный звук: что-то шелестит — упорно, однообразно, и все хоры не могут его заглушить.

Над болотом поднялся туман, и светлая часовенка плывет по нему, как корабль. На деревянном полу я замечаю, что мои ноги... что-то... какая-то дисгармония в них: одна ступает тихо, а другая стучит. Ощупываю ноги — ну, так и есть, потерял калошу. И я страдаю не столько физически, сколько эстетически. Не сбросить ли и вторую? Но взор мой уже упал на черные лики святых, а рядом с ними на не менее черные — мужичьи, и утешение готово: если одни такие приняли муки за христианство, а другие от христианства, то что значат в сравнении с ними мои страдания, тем более что все-таки лучше, когда тепло хоть одной ногой, чем холодно обеим.

Часовенка такая простая, что ее можно разложить на два-три элемента. В срубе черная вода, в которой купают свой блеск восковые свечи, святые, пахнущие масляной краской, липкий черный пол, а на нем босые красные ноги с растопыренными десятью пальцами.

Издали лучше.

Посреди ярмарки народ течет, как река в берегах. Снова шелестит. Что же это такое? Приглядываюсь, прислушиваюсь — и наконец, открываю: лузгают семечки! Сотни ртов, целые армии белых зубов без передышки производят: хрум-хрум... и устилают шелухой землю. Хрум-хрум... хрუსь-хрუსь... Звучат хоры, даже в груди звенит чей-то отдельный голос, бухает бубен — а вокруг слышишь — хрум-хрум... хрუსь-хрусь... словно грызет сама вечность. Покупаем семечки и сами остервенело лузгаем.

А тут, знаете, хорошо. Полотняные палатки, налитые светом, прозрачно-розовые, точно живые, гудят от народа. На ларьках разный товар, и те, которые подходят к нему, спереди сверкают, а сзади черны. А самое кра-



сивое — это лимонад: стеклянный большой жбан, а в нем пылает целый Везувий. Подумать только: вода, немножечко сахара, анилина и вместо рефлектора — свеча в ведре, а какой эффект!

Идем дальше между ларями. Более богатые из нас покупают плахты и расшитые полотенца, более бедных тоже подмывает что-нибудь приобрести. Мы выбираем себе по леденцовой лошадке и платим все вместе целых две копейки. Если иметь богатое воображение, то лошадки могут быть чудесны. Они сделаны были... Нет, лучше никогда не приглядываться, из чего сделано то, что нам по вкусу.

Трещат далекие огни, рассыпаются искры; дымы и песни, как облака, плывут по горе. Похрустывают семечки. В толпе похаживают ингуши или проплывет полицейская шинель. Слышится резкий свисток. Какая-то молодая компания ходит между лотков и поет. Здесь тесно, ее толкают и разъединяют, а ей хоть бы что: дойдет до конца ряда, повернет и опять поет. Таким образом, кроме сидячих и стоячих, есть еще и ходячие хоры. Посреди улицы — танцы. Вокруг танцующих ча-стокол из парней и мужиков. На земле — желтый фонарь, и лица освещены снизу. Как только мы остановились, я сейчас же почувствовал на плечах инородное тело, а возле уха теплое дыхание. Два парня, — я их заметил, когда они, только что, пили лимонад, — расталкивают народ и входят в круг. Загрохотал бубен, запиликала скрипка — и головы и туловища парней сейчас же одеревенели. Только ноги работают. Равномерно и точно ударяют ноги в землю, но голов это не касается ни капельки — лица сохраняют прежнее равнодушное и холодное выражение. Иногда туловище сдвигнется так, что вместо лица виден затылок, но ноги продолжают отбивать тот же такт, отсчитывают точно, как часовые стрелки минуты. Народ захвачен пляской и все суживает круг, так что танцоры как в колодце. Стонет под ногами земля, каблуками выбиты ямки, и пыль заволакивает свет фонаря. Меня тоже захватывает танец, все сильнее и сильнее. Чудесные работники! Какая в них сила! Если бы я занимался сельским хозяйством, я бы сейчас же нанял их, ну хоть бы для молотьбы. Заглядываю в круг, есть ли какая-нибудь перемена? Нету.

Попрежнему лица холодны и равнодушны к тому, что выдвывают ноги. У меня достаточно времени, и я начинаю решать длинную сложную задачу: сколько копеек могли бы намолотить эти ноги за день. Результат невероятный! Тогда я вновь заглядываю внутрь круга: есть ли перемена? Нету. Ноги, точно металлические пружины, безостановочно и равномерно ударяют в землю. Парни несколько побледнели, но утратили всякий интерес к своим ногам. Тогда у меня за них начинают болеть ноги. Я готов крикнуть музыкантам: довольно! Я не могу больше устоять на месте. Но на меня никто не обращает внимания, грохает бубен, пиликает скрипка, и ноги молотят землю. Я обливаюсь потом. Наконец-таки... Парубки расталкивают народ, подходят к лотку, пьют лимонад и возвращаются на место. Музыка заиграла, и ноги затопали снова. Мне становится страшно. А что если после этого в третий раз напьются лимонаду и начнут плясать?

Я отхожу от круга.

Уже поздно, второй час. Небо черное, высокое, в долине холодно. Огни словно бы померкли, клубятся только синие дымы, на некоторых горах смолкли хоры. Внизу, где сонное царство возов, волов и баб в холстинах, — храп, и сопенье, и тяжелый дух. Палатки еще светятся. Мы заходим погреться в свою.

Некоторые лампы погасли. Возле дверей, у свечи дремлет и стонет сквозь сон хозяйка, светится склоненное над самоваром прозрачное лицо служанки. Гостей почти нет. Только хозяйский сын с кем-то разговаривает в углу, и издали видна игра его красивых глаз. Увидев нас, он сейчас же к нам подходит. Он хочет нас немножко развлечь разговором и присаживается. Барышни устали! Может быть, мы озябли? Хотим чаю? Нет, он явно симпатизирует нам, что видно по его лицу, и хотя он несколько навеселе, это несколько не мешает, а, наоборот, даже помогает сразу же найти теплый, сердечный тон. Он советует дамам отдохнуть, заснуть. Он близко наклоняется ко мне, полный доверия, и делится радостью, что ему хорошо живется на свете. Откровенно говоря — таким неплохо. У него два фаэтона и четверка лошадей. Извозчик на три уезда. Сегодня тут, а завтра там. Захочет ехать — едет, не захочет —

батрак вместо него в пути, а у него есть другая работа. За нее он получает в месяц двадцать восемь рублей. — Какая же это работа? — Так... служба такая себе... Он таинственно улыбается, мнетя, но видно, что ему нестерпимо. Ну, что там долго толковать: он — тайный агент. Служит в полиции... Это «тайный агент» ударяет ему в голову, как водка, он приобретает важный вид, гнусавит, расставляет руки и ноги и занимает на скамье больше места. — Вот же! скажите на милость! как же он делает свою работу?

Теперь, когда нам уже стало известно, что он «особа», откровенность из него так и прет. Он хорошо знает свою работу... С евреями он еврей, так как знает еврейский язык, с мужиками — мужик. Встретятся в компании, всюду он свой человек — и уже знает, кто чем занимается, о чем думает, чего хочет. — Чего же хочет мужик?

Он наклоняется ко мне так близко, что я слышу водочный перегар, делает круглые глаза и чуть ли не поет:

— Зем-ли-цы-ы!..

Кроме того, «он» против правительства. Просто ненавидит. Даже... Тут он начинает тихо хихикать, раскачивается из стороны в сторону, смех его душит и не дает говорить. Наконец он выдавлиывает из себя: дивча-та... ха-ха! даже дивчата... меж собой... про политику болтают... Хи-хи-ха-ха!..

Но это все пустое. Вот недавно было одно дело. Серьезное. Экс-про-при-ация. Может, слышали? Втерся в компанию. Семь хлопцев, молодые еще, несмелые. Сами ничего не могут сделать, боятся. Уж сколько он намучился с ними, пока уговорил. Он смелый, быстрый, огонь, — может быть, мы сами это замечаем? — ему и поверили, пошли за ним. Пошли грабить почту, а полиция знала обо всем и всех накрыла, как цыплят. — Всех накрыла? — Всех накрыла. Ловко!.. С того времени ему и набавили десять рублей в месяц, а раньше он получал только восемнадцать...

Он страшно горд своим поступком, выпячивает грудь, хрустит пальцами; красивые глаза его смотрят презрительно, нагло и ищут нашего сочувствия.

Он ещё долго и охотно делится с нами подробностями своего ремесла.

В соседней палатке крики и ссоры.

— Это наши гуляют... Стражники и ингуши... — кивает он головой в сторону палатки, и радостная, добрая улыбка освещает его лицо.

С нас этого всего уже достаточно. Тут нечем дышать, спешим на свежий воздух.

На дворе пронзительный предрассветный холод. Сбившиеся в кучу люди и животные еще гуще укрыли землю и сопят и храпят на все лады. Над ними легкий пар. Откуда-то издали доносится утомленная песня. Между черными закрывшимися ларьками бродят редкие группки и пары, и влюбленные, не стесняясь, греют под кофтами милых застывшие руки. Над краями черной ямы зеленеет уже небо, дым погасших костров стелется от горы к горе синими полосами.

Чаша, которая цвела ночью, как пышный цветок, к утру увяла и почернела.

Пора двигаться домой.

*Ноябрь 1908 г.*

Чернигов.

## ДЕБЮТ

Больше всего беспокоил меня мой костюм. Шоколадного цвета, в рогожку, перешитый из старого господского, купленного на толкучке. Вид у него был вполне приличный, только локти слегка протерлись. Я чувствовал свои локти: вот-вот там лопнет и они вылезут. Я даже ощутил неприятный холодок в локтях, когда, выйдя из вагона, увидел на станции какой-то шарабан. Я угадал. Это были лошади, посланные из имения, бритый кучер, в широкой бурке, в кожаном картузе, взял из моих рук чемодан и даже посадил «пана учителя».

Серое осеннее утро дымилось мелким дождем, и в нем плыли, будто полузабытая сказка, деревья, поле, здания.

Чтобы совсем разогнать сон и немного подбодриться, я попытался представить себе новых хозяев. Вернее, стал фантазировать, так как никогда их не видел. Все они, словно живые, вставали один за другим в моем воображении — хозяин, хозяйка, дети — такие приветливые, добрые, а я был в центре, и все вращалось вокруг меня.

Я пережил не мало прекрасных моментов, упивался властью, мне было тепло в этом гнезде. Но вот убегают верста за верстой, холодный туман пронизывает тело, капли дождя стекают по лицу, за воротник, и я постепенно как-то теряю свою позицию, и центр занимает враждебная чужая семья. Когда же из-за бугра показалось, наконец, соломенное царство панского гумна, со

стожками, скирдами да ометаи, с бесконечно длинными ригами да воловнями, я чувствую, как тело мое холодеет, коченеет, и стараюсь не стучать зубами

Новый желтый высокий дом. В высоких сенях не твердо переставляю окоченевшие ноги, и звук моих шагов отдается под самым потолком. Двери в столовую открыты; гляжу на голые сосновые стены, переступаю порог и иду вдоль стола, длинного и белого, как санная дорога. Из другой комнаты навстречу выходит хозяин. Я знаю, что он видит мое красное озябшее лицо, а я смотрю на его еще влажную бороду, расчесанную гребнем направо и налево, будто борона разделила ее. На лысеющей голове так же блестит борозда пробора. Пожимаем локоть другу руки, наклоняем головы, но вдруг я чувствую, что его взгляд устремляется куда-то позади меня, и слышу, что там у двери что-то шевелится.

— Моя дочка Анеля, — говорит пан Адам. — Пан Виктор, учитель Стася...

Подхожу и пожимаю сухую холодную руку.

Мы сели за белый стол, но перед моими глазами все стоит сухая, сутулая, черная фигурка, с длинным носом и мелкими морщинками у холодных губ. Больше всего места занимает теплая драповая кофта, жесткая и некрасивая. Пан Адам кладет на стол руки и ими вытесняет этот образ. На пальце у него массивный перстень-печатка, от которого рука еще тяжелее. Нам подают чай, горячий, крепкий, отливающий в стакане цветом спелой вишни. На столе масло желтое и твердое, словно щеки деревенской молодежи, густые сливки, черный хлеб. Меня наполняют запахи чая, тмина в хлебе и сосновых стен; лицо горит, и глазами, влажными от горячего пара, я слежу за завитками бороды пана Адама. Он мне начинает нравиться. От квадратного лица, серых глаз, грузного тела веет солидностью и уверенностью. И вдруг я снова чувствую, что меня беспокоит черная угловатая фигурка, там за плечами, где-то в углу. Тот «трупик» с бледным лицом. Прижимаю крепче к себе локти и ни за что не хочу оборачиваться, хотя меня так и тянет.

Но пан Адам поворачивает голову в ту сторону и говорит солидно:

— Powiedz, moje serce... Анелька!.. Анёлъка!..

Я тоже оглядываюсь — нет никого. Панна Анеля куда-то скрылась.

Мой ученик еще не встал. Пан Адам спокойным тоном излагает свои педагогические теории, и так же спокойно серый день глядит во все четыре окна; тихо шумит самовар в уголке, а мне тепло, не хочется вставать, и мысль лениво спрашивает: неужели вся семья только из трех душ?

\* \* \*

Стасик — чудесный ребенок. Когда он остановился у порога столовой, и я увидел его — на худых ножках, с широко раскрытыми, готовыми вобрать в себя весь мир глазами, — он показался мне цветком на тоненьком стебельке, что тянется к солнцу. Мы очень скоро подружились. Он помогал мне раскладывать вещи в отведенной для меня комнате, делал это с большим воодушевлением, раскраснелся и не умолкал ни на минуту. Теперь я узнал, что есть еще и четвертый член семьи — мама — «мама Костуся». Она хотела, чтобы папа нанял для него бонну, а папа нанял пана учителя. Вот старая чудачка! Правда? Ведь учитель лучше. Правда? Зачем ему бонна, если ему уже — погодите, — сколько?.. Семь лет, девятый... ах, нет, он ошибся: семь — восьмой. У Талзя из Пидгоец — бонна... Пан учитель не знает? Глупая такая гусыня! Он спрашивает у нее, зачем сотворены бедные? Она не знает. Почему богу не было стыдно, когда он создавал людей голыми, а людям стыдно ходить без сорочки? Ничего она не знает. Она только кричит. Такая глупая гусыня! Не правда ли?

Все время всяческие вопросы носились по комнате, вертелись вокруг меня, и близко наклонялось ко мне ласковое лицо с парой лучисто-любопытных глаз.

Наконец мы все разложили и привели в порядок мою комнатку. Как будто я был у себя. Только два предмета в комнате оставались чужими и даже враждебными: наглухо закрытый белый дубовый шкаф и длинный нескладный сундук, застланный деревенским, домотканым ковриком.

К обеду «мама Костуся» не вышла. Мы беседовали только с паном Адамом. Стасик то и дело о чем-то спрашивал, поблескивая глазами. Панна Анеля молчала, держалась сухо и как-то в стороне. Она хозяйничала за столом, накладывала нам кушанья, посылала обед в комнату «старой пани», но с нами не завязывала более близких отношений, так что я только раз встретился с ней глазами. Сколько ей лет? Лет двадцать пять, двадцать семь. Кого-то она мне напоминала — сутулая, в черном платье, с бледным истощенным лицом. Она куталась в платок — ей было холодно. За десертом я снова взглянул на нее.

— Пан желает еще кофе?

— Весьма благодарен, достаточно.

Может, это чистая фантазия, но в ее облике мне чудится как бы тень ксендза, в линиях носа и губ — черты костельной архитектуры, в складках одежды — затхлый дух ризницы.

Впрочем, что мне за дело до какой-то панны Анели?

Вечером Стасик повел меня на мамину половину. Там было так душно, что нечем было дышать. В углу на диване, возле лампы, сидела пани Констанция и раскладывала пасьянс. Седые волнистые волосы отливали при лампе серебром. «Мама Костуся» поздоровалась со мной, не положив даже колоды, и снова склонилась над картами. Несколько долгих минут прошло в молчании, наконец пани собрала карты, повернула ко мне голову и вздохнула:

— Не вышло!

И я увидел такие добрые, грустные глаза, что и мною овладела печаль.

— Задумала такое важное... такое для меня важное, и не вышло...

Она расспросила меня о семье, немного обо мне... Такой молодой! Если б не умер ее мальчик, ему было бы теперь тоже лет девятнадцать... Потом велела подать чаю, приумолкла, задумалась и снова принялась за пасьянс. Что она думала? О чем гдала?

Вдоль стен повсюду жались диванчики, кушетки, мягкие кресла с подушками и подушечками и томилась



в горячей, густой атмосфере. На мебели и на полу валялись книги. К столику склонялось озабоченное лицо седой женщины, на нем отражалась тревога, когда рука подносила карту и, колеблясь, клала на место. Мне хотелось, чтобы на этот раз уже вышло.

Однако не вышло.

— Знаете, что я задумала? Только не смейтесь над старой чудачкой. Мне хотелось узнать, скоро ли настанет между людьми равенство? Скоро ли исчезнет неправда? Не вышло!

Покорность и печаль.

Потом гадала на меня. Мне выпало неожиданное богатство, письмо и дорога.

— Ну, значит пора прощаться.

\* \* \*

Погода изменилась, настала засуха, земля высохла так, что звенела под ногами. Небо было безоблачное и ослепительно синее. Мы со Стасиком часто ходили гулять. Наш дом стоял на пригорке, над самым прудом; за прудом сбились в кучу черепичные крыши местечка, влево от него тянулись бесконечные панские поля, а за домом рос парк, который один напоминал нам об осени. Мы любили ходить там, между его пожелтевшими деревьями, под синим небом. Солнце сияло по-летнему. Осень изобрела на солнце, как сильная рыжеволосая женщина в голубом шелковом платье. Молодые липы уже обнажились и стояли голые, точно не ведающие стыда дети. Под ними прыгали огненными язычками свернувшиеся листья и порывались куда-то лететь. Особенно хороши были клены, теперь такие легкие. Своей прозрачной желтизной они напоминали румянец чахоточной. Что-то мерцало в них нежное, грустное и безнадежное. А между веточками пряталось такое необычайно синее небо, что мы переводили взгляд на открытый простор и сравнивали.

На порыжелом жнивье, затканном осенними паутинами, мы собирали последние цветы — приземистые васильки на кривых ножках, полузасохшие гвоздички, пыльные скабиозы. Упивались резким осенним воздухом, который играл на солнце, будто шампанское, а возвратившись домой, находили комнаты совершенно

безлюдными. Пан Адам молотил на току, пани Констанция не выходила из своего угла, а панна Анеля теперь постоянно была то на кухне, то в кладовой. Только время от времени она деловито проходила из кухни через столовую и обратно, в белом фартучке, с слегка засученными рукавами, и за ней тянулся острый запах маринада или кислого молока. На боку звенели ключи.

За ужином мы сходились не надолго. Пан Адам уставал,— ему приходилось рано вставать; панна Анеля куталась в платок, позевывала в кулак и не обращала на меня никакого внимания. Я был вежлив, но платил ей тем же. Меня раздражали кончик длинного носа, имевший обыкновение краснеть, и вся ее сутулая постная фигура, которую она будто с умыслом кутала в платок. И я нетерпеливо ждал, когда она, наконец, встанет, подойдет к отцу и поцелует его в лоб, а он отзовется на это мягким баритоном:

— Спи спокойно, moje kochane dziecko...

Лампа в столовой гасилась,— все расходились, и вечерняя жизнь начиналась по отдельным комнатам.

\* \* \*

И так шло время. Осень таяла, как восковая свеча, становилась все прозрачнее и легче. Жадная земля выпила за лето солнце, и оно стало бледным, малокровным. А земле приходилось умирать от голода и жажды, чаша солнца была пуста. Уже голубой шелк неба покрылся кружевом черных веточек, словно ажурной мантилей. Потом начались дожди и ветры. Природа долго боролась, шумела, протестовала и не хотела покориться. И все-таки пришлось. Опустилось серое отяжелевшее небо и придавило верхушки деревьев и крыши домов в местечке. Покорно прилипли к земле мокрые, порыжевевшие листья или жалко трепетали между черными ветками. Мутно глядела даль между деревьями. Покорно ползли по дорогам похожие на серых ужей блестящие мокрые колеи. А потом лик неба стал суровым, уста его дохнули холодом. И побежали по тропинкам, по воле ветра, сморщенные листья, словно мыши. Потом неожиданно все это посыпало снежком, и земля стала

подобной листу бумаги, на котором ребенок пробовал краски — зеленые, рыжие и серые.

Теперь вечера стали длинными, и мы долго не расходимся. Топим камин. Пан Адам рассказывает о своих приключениях, — о том, как после восстания, еще мальчиком, вынужден был бежать за границу вместе с отцом. Панна Анеля вяжет какой-то платок и не поднимает глаз от спиц, а я злюсь. Почему она меня игнорирует, будто меня нет в комнате? О чем она думает? Я начинаю ненавидеть ее, эти вечно опущенные глаза, немой рот и деревянные спицы, отнимающие все ее внимание.

Вдруг клубок падает с ее колен и катится прямо мне под ноги. Я поднимаю клубок и неожиданно говорю:

— Панна Анеля позволит мне держать клубок?

Она поднимает глаза, и в их серой глубине брызжут во все стороны лучики удивления и насмешки.

— Это обременит пана...

— О, напротив!..

Снова опущенные глаза и холодное лицо, но это уже неважно. Это уже ничего. Сейчас от меня к тебе тянется эта нитка и нас соединяет. Вот кладу на клубок руку, и тепло моей руки будет все время проходить по твоим пальцам. И ты будешь меня чувствовать.

Пан Адам ходит по комнате, рассказывает. В эту минуту он как раз скитается по Бельгии и ищет работы. Вот он нанялся на ферму и уже молотит, а я решаю упорно смотреть на панну Анелю. Я понимаю, что это дерзко, но так мне хочется, это выход для кипящей во мне злости. И я смотрю. Даже не мигая.

Она чувствует мой взгляд. Ее веки слегка дрожат, голова опускается ниже и поднимается снова, под тонкой кожей лица блуждают тени.

Наконец она обращает на меня глаза — и мы с минуту глядим друг на друга, как враги. Потом она гаснет и склоняется над спицами, еще более холодная, чем всегда.

А еще через минуту берет у меня клубок, бросает сухое «спасибо» и подходит к отцу.

— Ты уже идешь к себе? Spij dobrze, moje kochane dziecko...

Я слежу за ней до самых дверей, и что-то смеется во мне.

— A gal!

У «мамы Костуси» бывали свои «праздники». Обычно нам редко приходилось видеть ее, но в такие дни уже с самого утра в доме царило волнение. Еще перед утренним чаем в столовой появлялась пани Констанция, необычно подвижная и энергичная. Ее вялое лицо становилось строгим, взгляд тверже, и в каждом завитке серебряных волос чувствовалась решимость. Отстраняет горничную и сама хочет мыть посуду. Так, так, мое сердце, кто хочет есть, должен зарабатывать на хлеб. Стаканы стучали, звенели и скрипели в ее руках, вода выплескивалась из миски. Горничная стояла в недоумении.

— Ты уже пила чай? Ты рано встала, успела поработаться, напейся, сердце, до нас...

Падает на пол стакан, и со звоном разбитого стекла сливается испуганное «ах!»...

«Мама Костуся» уже под столом.

— Нет, нет, не беспокойся! Сама натворила, сама и соберу.

Собирает осколки и ранит палец.

Вид крови, казалось, еще больше поднимал ей настроение.

Завязывала палец и, выставляя его вперед, бежала из столовой в кухню, припадая немного на левую ногу.

— Где кухарка? Малашка! Малашка! Что людям на обед варишь? Покажи сейчас же... Это такой борщ? Не могла больше сала взять? Как ты кормишь трудовой люд? Ах, боже мой!.. Ах, боже мой!.. Такой беспорядок! Где панна Анелька? Ключи! Сейчас же ключи!..

Панна Анеля бежала со стиснутыми губами, ключи звенели у нее на боку, а пани Констанция чуть не срывала их.

Она тащила за собой в кладовую Малашку и в каком-то самозабвении, вся красная, хватала всякую провизию.

— На!.. на!.. на!..

Потом мчалась в комнаты наводить порядок. Переворачивала все в буфете, выдвигала ящики комода и, оставив их открытыми, хваталась за щетку, чтобы под-

мести полы, и когда за ней в замешательстве бежали слуги, она их решительно отстраняла.

— Нет, нет, отдохните немножко. У вас и так дела много.

В обеденное время настроение пани Констанции достигало высшей точки.

Мы садились за стол — «мама Костуся» во главе, — и как только приносили кушанье, она обращалась к горничной:

— Позови прачку.

Входила прачка Устя, высокая, уже не молодая, и останавливалась у порога. Оголенные по локоть руки, влажные и красные, свисали по бокам.

Пани Констанция придвигала к себе стул и приглашала:

— Садитесь, Устя, пообедайте с нами.

Устя, разумеется, отказывалась и упорно стояла у порога.

Но хозяйка вставала из-за стола, обнимала Устю за талию и усаживала рядом с собой.

Потом сама наливала тарелку, и когда пан Адам по привычке протягивал за ней руку, она говорила:

— Прошу прощения. Первый и лучший кусок рабочим рукам.

Ставила кушанье перед Устей, затем брала ее красные, сморщенные от мыла и кипятка руки и поднимала вверх.

— Эти руки, господа, всех нас кормят.

Устя сидела, как на иголках, чужая и ненужная, пан Адам добродушно улыбался, а панна Анеля еще плотнее сжимала губы.

Только Стасик пожирал мать блестящими глазами.

За вторым блюдом настроение хозяйки вдруг падало. Она неожиданно увядала и, не доевши, поднималась из-за стола. Горничная подавала ей руку, и мы смотрели, как она медленно шла вдоль стола, припадая на левую ногу и склонив утомленную голову.

Теперь уже не скоро увидишь ее в столовой. Навсегда засядет в своей комнате и там, при помощи пасьянса, будет разрешать социальные вопросы.

Ай! Наверно уже шестой час! Где спички? Зажигаю свечу. Ну, так и есть: скоро шесть. Окна еще чернеют, а мне уже нужно вставать. Не хочу! Чорт бы ее взял! Зачем она тебе? Зачем, скажи на милость?.. Сон мягко теснит грудь, кладет лапу на лицо и тянет обратно в постель. Сплю. Сладко, крепко и даже сон вижу. Внезапно вскакиваю с кровати и с испугом смотрю на часы: спал две минуты.

Осталось еще немного времени. Ровно в половине седьмого панна Анеля пройдет через столовую в кухню. И ты ради этого топчешься здесь по утрам, не спишь и разыгрываешь комедию? Осел ты — и больше ничего! Дурак последний! Чтобы первым в доме пожать ее холодную руку и почувствовать прикосновение скелета... Чтобы заглянуть в глаза, может быть еще видящие образ святого, которому они только что молились...

Очень нужно! Комедиант!.. Чего собственно ты добиваешься?.. Ах, скорей!.. У этого сюртука упорная привычка за что-нибудь задевать. Осталось всего десять минут. Где щетка? Где щетка, чорт бы ее взял вместе с... Поставлю свечку на письменный стол и выну из ящика дневник... Теперь уж можно открыть дверь в столовую. Готово. Еще пять минут. Беру перо в руки... Гм... гм... Люблю рано вставать и садиться за работу со свежей головой... Тогда мысли текут так свободно, и фантазия... Ах, дьявол бы тебя взял заодно со всем этим... Готов свернуть себе шею, оглядываясь на темную столовую с сереющим окном. Кажется, скрипит. Стучит сердце. Проходит целая вечность. Ну, вот... наконец.

Открылась в глубине дверь, и панна Анеля, в белом капоте, со свечою в руках, словно евангельская дева, тихо скользит вдоль длинного стола. Я даю ей подойти к моим дверям и лишь тогда громко говорю:

— Добрый день, панна Анеля!

И бегу к ней с пером в руке.

— Пан Виктор уже не спит?

О! Я люблю вставать рано и садиться за работу, когда голова...

Ах, дьявольщина! В этих глазах все-таки сидит ка-

кой-то святой: не то святой Антоний, не то святой Рох... Я его выгоню оттуда...

Но он исчез уже вместе с Анелькой на кухне.

И это все?

Нет, она еще будет возвращаться через столовую. Я подожду. Скрестив руки на груди, как часовой жожу взад и вперед по комнате. Утро сереет в окнах, пламя свечи колышется от ветра. А я прислушиваюсь: не скрипнет ли дверь?

Когда она входит, я стою прислонясь плечом к дверному косяку и не отрываясь гляжу на ее шею. Она проносит мой взгляд через столовую, немного согнувшись, и острые плечи поднимают ее капот. Не оглянulasь ни разу.

Ах ты осел полосатый!.. К чему эта игра?

Подхожу к дневнику, который скалится на меня белыми страницами, — бац, бац им об стол.

Айда в ящик!..

Надолго? Не до завтра ли?

\* \* \*

Зимой у нас было немного развлечений. Иногда, в воскресенье, к пану Адаму съезжались гости. В зале зажигали свет, снимали с мебели чехлы и, хотя большая комната становилась от этого менее похожей на сарай, в ней стоял такой холод, что при разговоре изрта шел пар.

Меня приглашали к гостям, но я шел неохотно; разве только надежда, что панна Анеля, быть может, мимоходом заглянет в зал и что мне удастся лишнний раз смутить ее холодное спокойствие своим упорным взглядом, мирила меня с мало привлекательным обществом. Там собирались соседние мелкие помещики, белые лбы которых выделялись на смуглых лицах, еще сохранивших летний загар; кругленький, розовый и лысый директор сахарного завода, заводской врач и ксендз, весь пропитанный табаком. Все они глубоко уважали пана Адама за его ровный характер, солидность и гуманность.

— Наш пан Адам — апостол!..

И «апостол» разбирал ссоры, размолвки, мирил соседей, давал всякого рода советы.

Общество чувствовало себя прекрасно; ксендз сыпал остротами и чихал от табаку, нюхал и опять чихал, опасливо озираясь, не входит ли панна Анеля, и шопотом рассказывал такие анекдоты, что белые лбы становились красными от смеха и даже солидный директор тряс своим животом. Но успехи отца каноника не давали покоя директору. Он часто ездил в столицу, водил знакомство с самим «графом Тышкевичем» и донимал слушателей такой тонкой политикой, что у всех глаза лезли на лоб.

Я украдкой дышал на пальцы и от скуки водил глазами по стенам, по большой гравюре с Яном Собеским под Веной, по портрету Костюшки. Потом разглядывал альбомы либо углублялся в «Mohorta» Винченция де Поля с рисунками Андриолли, из которого фантазия иллюстратора вылезала, как внутренности из распоротого живота.

Нет, на половине «мамы Костуси» мне гораздо лучше! Особенно ранними вечерами, когда зимнее солнце уже зашло, а в комнатах еще не зажигают огня. У пани Констанции свои причуды — у нее топят соломой.

На полу лежит охапка соломы, скользкой, мерзлой, пахнувшей рожью. Печь просто гудит, столько в ней огня, а Стасик держит в руках длинные пучки соломы, словно натягивает золотые вожжи и сдерживает ими огненных коней, мчащихся очертя голову и бьющихся в неистовстве серыми крыльями дыма. Огонь печки золотит противоположную стену, и вокруг головы Стасика сияет нимб. Пани Констанция в задумчивости оперлась на руку, в тихой задумчивости замерли в комнате сумерки, и гаснет в окнах вечерний свет.

Когда же, наконец, в комнаты вносят лампы, будничным свет за окнами сразу становится таким прозрачно синим, глубоким и нереальным, будто во сне.

\* \* \*

Меня тревожит мое отношение к панне Анеле. Уже все замечают, что за обедом я не свожу с нее глаз. Знаю, что в моих глазах выражение влюбленности, хочу, чтобы это понимала панна Анеля, и в то же время



ненавижу ее. Мне противен ее постный облик, и длинный нос, и вся ее плоская фигура с острыми ключицами, и, наконец, этот дух святости. А все-таки я бываю счастлив, если она обратит на меня внимание, разрешит оказать ей незначительную услугу, скажет приветливое слово. Стоило только поглядеть на меня в тот вечер, когда панна Анеля пригласила меня кататься! Я усаживаю ее в сани, словно укладываю дорогое стекло, кутаю ноги — эти противные ноги в высоких теплых калошах, в домашних чулках, устраиваю ее поудобней, а от того, завяжет ли она уши платком,— зависит судьба всей моей жизни. Ах, панна Анеля, ну, про-шу! Умоляю! Хорошо ли теперь? Не продует?

Счастье до того переполняет меня, что отнимает язык. Сажу молча рядом с панной Анелей, чувствую позади высокую спинку саней, а дух захватывает. Она тоже молчит. Лошади мечут копытами снег, сани ныряют в ухабах. Становится неловко. Нужно начать. С чего начать? Где мои мысли? Молчу.

— Скажите же хоть что-нибудь. Сегодня пан Виктор совсем неинтересен...

Дурею еще больше. Ни следа мысли. И ни словечка... ни полсловечка. Во мне все закипает. Дурак! Бездарность! Вскипаю весь и кричу себе: «Ну, и что же? Чем глупей, тем лучше!» Набираю полную грудь воздуха и выпаливаю единым духом:

— Я похитил вас и везу под венец.

— Ха-ха! Что вы сказали? Какой вздор!..

Я гоже смеюсь и вместе со смехом обретаю мысли и равновесие.

Теперь наоборот — ни минуты молчания.

Разговариваю, шучу,— похоже, что в меня вселился молодой козленок. Как хорошо было бы вдруг опрокинуться и нырнуть головой в только что выпавший снег! Она мне говорит: «А в самом деле!» Но никакой надежды: дорога ровная. Чтобы доставить удовольствие панне Анеле, я готов помочь и вытолкнуть ее из саней. Преувеличенно бойко набрасываюсь на нее, обнимаю за талию — и ощущаю под рукой ребро.

Она испугалась, кричит, в голосе слышится сердитая нотка:

— Пан сошел с ума!.. Оставьте меня в покое!..

Но что бы там в конце концов ни было, расстояние между нами сразу стало короче, и я все еще кончиками пальцев чувствую ее ребро.

Она немного дуется, но это ничего.

Домой после катанья приезжаем с раскрасневшимися от мороза щеками и игрой огней в глазах. Что-то бродит в нас. Панна Анеля живет двигается по комнате, разговаривает со мной и ни с того, ни с сего даже дважды целует в лоб пана Адама. Я был невыразимо счастлив и мысленно повторял: «ага! ага!..»

И снова вечером мы сидели втроем перед камином. Я подсел поближе к панне Анеле, насколько позволяли приличия, и следил за тем, как она шьет. А когда у нее упала с колен работа, поднял шитье и, подавая, положил свою руку на ее руку и продержал несколько секунд.

Панна Анеля вперила в меня удивленные, с холодным блеском глаза, а я сразу же почувствовал на кончиках пальцев ее ребро. Фу, как противно!

На другой день панна Анеля не вышла из своей комнаты.

\* \* \*

Теперь дни потянулись для меня, словно в синем угаре. Со мной холодно, меня, видимо, избегают, а я теряю понемногу дар слова и все красноречие вкладываю в глаза, в выражение лица. Я связал свой взгляд с жизнью панны Анели, с ее малейшим движением. Мои глаза кричали, жгли, штурмовали, только бы она в них заглянула, прочитала муку, любовь, желание. Я перестал есть, только бы обратить на себя внимание. Мне было легче, когда панна Анеля за обедом меня просила. Однако я упорно отказывался и терпел муки, когда любимые блюда безнадежно миновали меня и исчезали на кухне. Меня раздражал слишком розовый цвет моего лица. «Я сгоню с тебя все краски! Я сделаю тебя желтым, прозрачным!» Я нарочно не спал по ночам, щипал себе руки, когда одолевал сон, и бегал по комнате. Утром панну Анелю встречали измученные глаза, исхудалое лицо. По воскресеньям начал ходить в костел, следом за ней. Так, так! Я — в костел! Под гудение

органа в дыму ладана я видел только узкие опущенные плечи да кончик носа, уткнувшийся в благочестиво сложенные руки. Ненависть к этой фигуре обостряла мое воображение. Я смакую ее недостатки, дефекты тела, мелкую душу, глупость. Зачем же я пристаю к ней, словно репейник к подоле юбки, и, как он, волочусь по земле в пыли и грязи? Что мне нужно? Какая сила толкает меня в пропасть, говорит: играй роль — именно, я понимаю, что это только игра! — и дает мне уверенность, что не прекращу игры и не оборву роли до тех пор, пока не доведу до самого конца, какие бы ни были результаты; что так же, как и до сих пор, я буду втискивать в душу чужого человека свое существо, навязывать свои желанья, сеять семена своего «я». С упорным ожесточением, всякими способами!

Действительно! Я не раз задумывался над этим. Разве мы не сеем семена своего «я» с таким же упорством, с каким бурьян сеет свой? Подобно всем этим одуванчикам, репейникам, крапиве и прочим, которые снабжают крыльями свои семена и говорят им: «летите», которые спускают их, точно челны, в талые воды, смешивают с грязью, только бы пристали к подошвам. Они с помощью крючков, щетинок и колючек забираются в одежду, в звериную лапу, в собачий хвост, только бы захватить побольше пространства. Не то же ли самое происходит и в области нашей психики? Разве не так же слепо и упорно, всякими способами сеем мы семена своего «я», швыряем их направо и налево, куда придется, готовые прицепить их хотя бы даже к собачьему хвосту. Пусть даже хоть к собачьему хвосту...

Но от этого не легче.

Ну, я решил. Играть, так играть. Часами сижу у себя на сундуке, возле двери, и все подстерегаю панну Анелю. Она теперь редко проходит через столовую или делает это украдкой. Но однажды это случилось. Я ее перехватываю и, здороваясь, неожиданно целую руку. Она в испуге убегает от меня, а я уже сижу на сундуке и ничего вокруг себя не вижу. Наконец, наконец, когда сердце отзвонило свое, я улавливаю противный запах кислого молока от руки панны Анели и бряцанье ключей на ее боку. Какой же я дурак! Ах, какой дурак!

Все время я в страшном напряжении, усталый и расстроенный. Если бы не случилось происшествий, которые рассеивали мое настроение и волей-неволей не отвлекали моего внимания, не знаю, до чего бы я дошел.

На этот раз героем был Стасик.

Как-то в сумерки в столовую спешно вносили лампы, так как в усадьбу приехал становой. Пана Адама разбудили, и он издавал в столовой басовые нотки, обычные после обеденного сна. Мне были видны в приоткрытую дверь обе фигуры, сидевшие за столом друг против друга, затылок станового, его круглые высокие плечи, широко расставленные ноги в начищенных до блеска сапогах. Под локтем у него лежал портфель. Горничная звенела стаканами. Я меланхолично думал, что если они не скоро окончат деловой разговор, то я не увижу сегодня панны Анели. А дела затягивались, в столовой всё бубнили, шуршали бумагами, кряхтели.

Вдруг что-то произошло. Я даже подскочил. Выстрел. Вижу, как у станового поднялись руки и опустились на голову. Он клонится набок, откидывает левую ногу и вот-вот упадет. Бегу в столовую и вижу круглые, испуганные глаза пана Адама.

Становой уже стоит.

— Что с вами? — торопливо спрашивает пан Адам.

Становой отнимает руки от головы и бледный, в страхе глядит на свои пальцы. Еще раз ощупывает голову, рассматривает руки — нет, крови не видно.

Откуда стреляли?

Пан Адам молча протягивает руку в сторону вунтренних комнат, где чернеют настезь открытые двери.

Бегу туда — и на пороге меня обжигают угольки Стасиных глаз, а худенькие ручонки прижимают к груди трубку, из которой он «стрелял».

— Ты что делаешь, Стасик?

— Хочу убить полицейского.

Хватаю его за руки и тащу в глубину комнаты, но вдруг вбегает пан Адам; ему все ясно.

— Ах, это ты!

Он разъярен, — я спасаю ребенка.

Пан Адам возвращается в столовую Мне безразлично, как он уладит дело.

Как только представляется возможным, уношу Стася к себе Мне радостно ощущать на груди биение его сердца, на лице — чистое горячее дыхание. Он весь — порыв, стремление ясное, жгучее до физической боли.

Мы все собираемся из-за этого происшествия Даже «мама Костуся» покидает свою половину. Мы разбираем поступок Стася, спорим, смеемся — это нас мirit — панну Анелю и меня.

Через несколько дней — новая история. Среди ночи меня будит какая-то суматоха, чужие голоса. Что такое? где? Сажусь на кровати, тревожно прислушиваюсь и вижу, как в щель под дверь прокрался ко мне красный луч. Не пожар ли? Соскакиваю с кровати, заглядываю в столовую — оттуда тянет свежим морозным воздухом. Двери в прихожую — настежь, тесный коридор полон людьми. Управляющий Савва светит, в одной руке фонарь, в другой плетъ. Перед паном Адамом — связанный крестьянин, сильный, плечистый, голова гордо посажена на плечах. Видны разорванный в борьбе воротник и туго скрученные назад руки, веревка даже врезалась в кожу.

Лица пана Адама не вижу, только замечаю, что он в венгерке, высоких сапогах и в шапке. Тяжелые красные руки висят по бокам, на них падает свет.

Пан Адам говорит спокойным, густым и глубоким голосом:

— ...мерзавец, давно слежу... Давно подозревал тебя. Сколько раз видел следы телеги около кирпичного завода. Теперь уже знаю, чьих рук это дело. Признавайся, сколько накрал? Молчишь? Ну, говори сам, что мне с тобой сделать? Посадить в тюрьму? Чтобы все село знало, что ты вор?

Пауза. Тускло смотрит связанный, тускло светит фонарь, и люди будто застыли.

— Сгниешь, сердце мое, в тюрьме. Пропадешь! Не хозяином уже будешь, а вором. Жаль тебя. Разве да-ать тебе хорошенько, чтобы помнил? Как пушу тебе кровь, не захочешь красть! Ну, говори сейчас же: в тюрьму хочешь или бить?

Мужик молчит, тяжело сопит, наконец глухо отзывается:

— Бейте.

Пан Адам стоит, словно еще раздумывает.

Но вот дернулась у него правая рука, будто укоротилась немного, на миг замерла — и вдруг взлетела, как цеп на току.

— Ах!

Пан Адам кричит:

— Бить еще или хватит?

— Бейте.

И снова это движение.

— Развязать и отпустить... А кирпич... обратно на завод...

Пан Адам запыхался. Повернулся — и увидел меня. Смутился.

— С этим народом... знаете... лучше...

У меня вырывается хриплый смешок.

— Ха-ха! О, пан Адам — известный апостол...

И хлопнул дверью под самым его носом.

Наши отношения с паном Адамом натянуты.

\* \* \*

День особенно тревожный. Приходит весна, но еще серая, еще мутная и бьет о землю крылом, будто большая летучая мышь. Целый день ветер гудит на дворе; к вечеру тронулась река и ломает лед.

Я тоже тревожный, неустойчивый, шаткий, словно тень. Будто стою на откосе и хочу скатиться вниз, чтобы там меня ни ожидало. Больше уже не могу. Она! Она — моя ржавчина, а я железо. Она меня всего источила. Не оставила живого места. Чувствую ее во всех клеточках мозга, в груди, в глазах, на кончиках пальцев. Она обволакивает все мое существо, словно туман. Густой, тяжелый, липкий. Как отогнать? Анелька, Анелька, Анелька... Милая и ненавистная! Заласкал бы и растоптал ногами. Мечта и упырь. Ты во мне — вся. Я только форма для тебя. Как тебя исторгнуть из себя? Вниз! Вниз! В бездну! Хотя бы даже пришлось разбиться.

Она же меня избегает. За обедом молчит, потом идет к себе и не выходит к чаю. Знает ли она, как я ее люблю?

Ветер бьется грудью и стонет. На реке скрежет льда, серые весенние сумерки полны тревоги.

А в комнате пусто и тоскливо.

Вот и пустая столовая, как сосновый гроб, а белый стол среди нее — словно покойник. За ней голубая гостиная, где мы сидели зимой у камина. Покинутая, серая, одинокая. В холодном камине завывает ветер.

Анелка, Анелка, Анелка...

Еще дальше — зала. Уже с порога вижу Костюшко в красной шапке. Попржнему Ян Собеский под Веной. Окна полны серым небом. Скрипит у меня под ногами холодный пол — и вдруг я вздрагиваю: панна Анеля сидит в уголке дивана.

Она тоже меня видит и будто на глазах съеживается, становится меньше.

Подхожу и сажусь напротив.

— Панна Анеля!

Наконец я решился. Хотя весь дрожу. Кровь во мне стучит, оглушает, я плохо слышу собственные слова.

— Я очень рад, панна Анеля, что вы... какое счастье, что я вас... Я давно хотел поговорить с вами наедине... Вы, верно, сами замечаете, панна Анеля... Скажу прямо: я вас люблю... люблю искренно, безгранично, всем сердцем люблю... Если бы вы знали, панна Анеля, как долго я стра-а-дал...

Умолкаю. Не могу. Спазма перехватила голос. У глаза дергается живчик. Я сейчас заплачу.

Глаза у панны Анели большие, полные страха. Она устремила их на меня с мольбой и не отрывается. Принимает все это всерьез.

Тогда я неожиданно становлюсь холоден и обращаюсь к себе:

«Зачем говоришь неправду? Ты совсем ее не любишь. Ты совсем равнодушен к ней».

— Панна Анеля, моя дорогая вы, моя любимая... Я измучился... душа изболелась. Я не могу жить без вас... А себе говорю:

«Играешь? Играю или игра меня подталкивает — откуда мне знать?.. и не могу остановиться».

Да, да, это правда, жить без нее не смогу Я молод. Молодость, силы, жизнь — ей отдам, моей любимой, моей единственной панне Анеле...

Умолкаю и дрожу, весь охваченный глубоким чувством.

Панна Анеля закрывает руками глаза и выбегает из комнаты.

Что же это такое?

Через минуту возвращается и сует мне что-то в руки.

Две фотографии. Рассматриваю в полутьме. На одной — сильный, черноволосый мужчина, на другой — ребенок, скрестил голые, пухлые ножки и тарашит на меня круглые глазки.

Смотрю на панну Анелю. Бледная, согнутая, виноватая. Белые губы через силу шевельнулись.

— Вот вам мой ответ.

Сжимает ладонями виски и оставляет меня одного.

Хочу кричать: «Панна Анеля, это ничего не значит. Какое мне дело, что было с вами?.. Я вас буду еще больше любить!..»

Но некому уже крикнуть.

Шатаюсь, как пьяный, возвращаюсь к себе через мрак больших комнат.

Бросаюсь в кресло и громко говорю:

— Конец!

И чувствую облегчение.

Потом спокойно разглядываю скрещенные ножки, голенькие ручки и до смешного серьезные глазки Ребенок немного похож на нее. У мужчины неприятные губы и жесткие волосы. Все это у меня перед глазами, и даже панна Анеля стоит вот здесь, сжимает ладонями голову и поворачивает ко мне острые ключицы.

Ветер стучит в окно и ходит по железной крыше. В ночной темноте шумит воскресшая речка. В столовой звенят ложки в стаканах.

Вносят лампу и зовут пить чай.

Я чаю не хочу.

Все мое внимание приковано к приоткрытой двери: придет ли в столовую панна Анеля? Едва услышу чьи-нибудь шаги, сразу забьется сердце. Но напрасно, чай пили без панны Анели.



Она, должно быть, лежит у себя с компрессом на голове, и мне ни чуточки ее не жалко; даже стало легче оттого, что она страдает.

Приходит Стасик пожелать спокойной ночи.

Пан учитель грустный сегодня? пан учитель несчастный?

Да, Стасик, да, пан учитель очень несчастен, но отчего — тебе еще рано знать. Спокойной ночи, дитя!

Я чувствую, что у меня похоронное выражение лица.

Закрылась дверь, в столовой понемногу затихает жизнь. И вот я начинаю ходить по комнате. Из угла в угол. Будто в тюрьме... Раз, два, три... четырнадцать шагов. Раз, два, три, четыре... обратно четырнадцать... от дубового шкафа к умывальнику.

Значит — конец! Остается умереть. Жить без нее — ха-ха! Какая глупость! Нет, нет, не могу, ведь меня не любят. Она, верно, и не представляет себе, как я ее люблю. Доказать силу моего чувства могла бы только смерть. Мой труп. Увы! было бы поздно, слишком поздно, панна Анеля. Тщетны были ваши сожаления, ведь мертвый из гроба не встанет. Ты не умела оценить мое сердце. Оно тебе предано и, даже истекая кровью, помнило бы о тебе. Ты, может, спишь сейчас, тебе безразлично, что я здесь мучаюсь. Тебе безразлично, что оборвется так рано чья-то жизнь. Что тебе, в самом деле, эта чужая жизнь! Но я хочу, чтобы ты слышала, как я мечусь по комнате, чтобы каждый шаг мой отдавался в твоём сердце, не давая покоя...

Раз, два, три... четырнадцать... раз, два, три, четыре... вновь четырнадцать.

Стучу каблуками и прислушиваюсь, как в пустых комнатах по всему дому разносится звук моих шагов.

Уже поздно. На дворе бушует холодная ночь, надрывается ветер. Что, если выйти вот так навстречу ветру, подставить ему открытую грудь и брести по колена в мокром снегу, в ледяной воде. Чтобы холод пронизал до костей и свалил в постель. В жару я звал бы: «Анелька! Анелька!» — и протягивал бы к ней руки, а она клала бы холодную руку на горячий лоб и прислушивалась бы к нежным словам... Анелька! Анелька!

Мои шаги становятся быстрее и легче.

Ухаживала бы за мной, дрожала бы над каждым мигом моей жизни, и я глядел бы в ее заплаканные глаза. А когда бы я стал выздоравливать, она водила бы меня по комнате, и я целовал бы ей руки. И наконец...

Вздор! Ничего этого не будет. Нужно думать о другом. Все будет просто. Выйду в поле, куда-нибудь за парк, приставлю ружье к сердцу и нажму ногой собачку...

Вдруг шкаф приковывает мое внимание. Останавливаюсь. До сих пор он был наглухо закрыт, а сегодня у него открылась одна половинка дверцы и в черной глубине белеют полки, как зубы. Что там внутри?

На верхних полках обнаруживаю в банках саго, макароны и сушеные груши, а в круглых деревянных коробках — халву, ниже — мешок желтых греских орехов, которые от прикосновения перекатываются и ворчат, как собаки.

Открываю коробку с халвой, вместе с крышкой отрываю кусок белого волокна. Кладу его в рот и продолжаю ходить.

Меня найдут в поле, привезут во двор бледный, холодный труп. Как его встретит панна Анеля? Хотелось бы увидеть! Ее замучит совесть. Вот только — кровь... Не люблю крови. Потечет за рубаху, запачкает платье, присохнет... Лучший способ — яд. Например — морфий.

Подхожу к шкафу, вынимаю два ореха.

Например, морфий. И его достать не трудно. Наверно, найдется в домашней аптечке пана Адама. Или раздобуду в местечке. Лечь, заснуть и больше не проснуться. Говорят, смерть от морфия необычайно мучительна, но что значит недолгие, хотя бы величайшие страдания! Жизнь без нее гораздо страшней. Разве мне жалко такой жизни?

— К чорту!..

Еще два ореха и немного халвы.

Но причиненные морфием страдания должны отразиться на лице. Будешь страшным. Однако, если бояться этого, пришлось бы отказаться и от такого, чменно, самого легкого, самого приятного способа, как суревка. Сунул шею в петлю — и готово. Вот утопиться, я, кажется, ни за что не смог бы. Броситься в воду и долго

погружаться куда-то вниз, а в это время холодное, мокрое течет за рубашку, за голенища, и смерть медленно вливается в горло, в глаза, в уши — знать, что там пиявки, рыбы, ужи и скользкие водоросли, — нет, я ни за что бы не решился... Одно из двух: яд или веревка.

Мне еще трудно сделать выбор, мой мозг работает, разбирается в разных деталях, сравнивает. Я неутомомно бегаю по комнате, щелкаю орехи и набиваю рот халвой.

Под утро у меня вырос план самоубийства, а на столе куча ореховой скорлупы.

Собираю ее в платочек и украдкой выношу далеко за ток.

\* \* \*

Вербы и местечковые дамы укутались в зеленую вуаль — и те и другие делают весну. Ветер колышет вербу и вуаль и делает их похожими.

Весна уже настала, а я все еще жив. Правда, я хожу, как тень, бледный, угрюмый, с глубокой складкой между бровями. Я ношу в себе смерть, и так приятно, что панна Анеля ее видит. Она видит ее ежедневно, — утром за чаем, во время обеда, при каждой встрече. Хотя я молчу, но глаза мои неотступно преследуют панну Анелю, нас незримо соединяют; они, будто сеятель, который ходит по полю и все сеет и сеет... Они сковывают панну Анелю, ее мысли, волю и даже движения. Я уверен, что она чувствует их даже в отдалении от меня.

Мне сочувствуют. Пан Адам иногда молча обнимет меня за талию и грустно покачает головой. «Бедный ты, бедный... Вот так зря пропадет жизнь, не дав даже ростков». Я читаю эту мысль в его глазах. Догадываюсь, что он знает все. «Мама Костуся» тоже ласково зовет меня к себе, раскладывает для меня пасьянсы, которые всегда выходят, и уверяет, что буду необыкновенно счастлив. Что же до панны Анели, я уверен, она плачет где-то по углам. И мне ее ни капельки не жалко. Наоборот, ненависть к ней растет во мне, становится иногда такой острой, такой пламенной, что я не знаю — не любовь ли это? И не только ли ненависть моя любовь?

Зачем же я мучаюсь? Почему не умираю? Потому, что смерть — моя последняя ставка в игре. Сознание

этого лежит где-то у меня глубоко, камнем, затынутым илом, на самом дне. А тем временем игра идет своим чередом, жестокая, болезненная и страстная. К чему? Зачем? Я протестую! Не хочу! Прочь!

Но что значат протесты, если какая-то сила, чуждая, непонятная даже, управляет игрой. Покорный этой силе, я играю роль, неумело, может быть, как дебютант, мучаю себя и других и не могу остановиться. И вместе с ужасом от собственных поступков разгораются страстность и упорство в игре. Растет сила. Вперед! В бездну! Вплоть до смерти!

Все-таки я ходил в грабовую рощу, туда, за поле. Блуждал среди пятнистых, с еще нежной листвой, деревьев. Все посматривал, не увижу ли наклонного ствола или удобной ветки. Остановливался и думал: а может, здесь?

Я еще не выбрал.

Панна Анеля все так же избегает меня. Она так много времени проводит в костеле, что когда я встречаю ее потом, у меня в ушах гудит орган: *Kyrie elejson... гу-гу-гу-гу... Swenta Panno... wiezo z kosci sloniowej... гу-гу-гу-гу...* Она избегает моего взгляда. Не понимаю. Не понимаю. Она некрасива, худа, несчастна, у нее теперь веснушки на лице. А я молодой, сильный, красивый... Не понимаю.

Впрочем — посмотрим!

Вода тоже привлекала мое внимание, хотя это был наихудший способ.

Старый, запущенный пруд зеленел за огородом: Когда весной он разбивал оковы — решалась моя судьба. Что же будет удивительного, если мы соединим наши судьбы раз и навсегда.

В самую жару, в полдень, сажусь в лодку. С обеих сторон, как стена, шершавые, холодные камыши. Среди них березка выпучила на меня свои большие белки. Вода покрыта ряской, будто рыжей корой, по ней скачут длинноногие пауки, перебираясь по листьям и обломкам камыша. Лодка еле-еле продвигается. Всюду тина. Я понимаю чистюлю — водяную лилию, подстелившую широкий, блестящий лист, как коврик, чтобы потом лечь на него своим белым восковым телом. Фиолетовый паслен свесил над ней свои ягодки. Рядом аир

выставил из воды светлозеленые острые сабли. Остановившись, кладу весло и гляжу. Хочу познакомиться с тем, что может скоро стать моим вечным жилищем. Как здесь тихо. Вижу, как дышит камыш, как дышит вода и чуть вздымает, словно грудь, рыжую кору ряски. Вижу, как эту кору пробивают зеленые головы лягушек, раскрывают широкие розовые рты, потом чавкают мокрыми губами, будто старые лакомки. Парит. Вспорхнет камышевка над водой, сядет на тростинку и качается вместе с ней. Бесхвостая, короткокрылая лысуха пролетела над прудом, а вот плывет в небе сухой, как скелет, длинный аист. И снова то же тихое дыхание воды и камыша, и снова, будто кораллы, рты зеленых лягушек, то же старческое чавканье слюнявых губ, тонкие, дрожащие ноги водяных пауков.

Тихо и парит.

Продвигаюсь дальше, к чистой воде. Вода смеется и так безмятежно отражает в себе голубое небо и белые облака, что во мне поднимается злоба. Запускаю весло в эту безмятежность и вытягиваю, словно чудище за косы, тяжелые водоросли, черные и дрожащие на солнце.

Нет, не стану топиться!

\* \* \*

Начинаю свой день скверно.

С раннего утра уже бранюсь, злобствую и немым криком кричу себе:

«Ты! Кончишь ли ты, наконец, несчастный комедиант?! Когда перестанешь врать хоть самому себе? Сбрось с себя сети, в которых запутался. Хоть раз будь искренен. Скажи себе и другим правду. Ну, слышишь, Виктор, слышишь! Смелей! Не бойся! Иначе погибнешь! Увидишь!» Ах, правда, это все-таки правда, чувствую, что необходимо все это сделать, и вдруг слышу в столовой шаги. Бегу в столовую и протягиваю руки:

— Панна Анеля!

Чувствую, что мои глаза, за мгновение до того холодные и гневные, внезапно заиграли чувством, голос стал мягким и теплым, протянутые руки выражают мольбу.

— Панна Анеля!

Она бежит впереди меня, будто не слышит. Она точно мышь, готовая улизнуть в щелку. Вот выбежала в дверь и заперла ее за собой.

Я стою у двери с протянутыми руками.

Комедиант!..

Ну, хорошо же, теперь я знаю, что мне делать. Кидаюсь в свою комнату и начинаю укладываться. Поспешно, словно от этого многое зависит, сваливаю вещи в чемодан, одну на другую, кучей. Открываю комод, вынимаю белье, швыряю книги, подушку.

Работу бросаю. Зачем?

Чемодан лежит среди комнаты, точно растерзанный зверь, а я сажусь за стол. Надо же все написать.

Отрываю клочок бумаги и старательно, не колеблясь, вывожу: «В смерти моей никого не винить».

Рву. Слишком каллиграфически.

Пишу то же самое еще раз — так, теперь хорошо. Нужно положить на видном месте. Теперь — еще домой и панне Анеле. Что ей написать? Она все знает. Достаточно нескольких слов. Выводя слово «смерть», я совсем холоден и безучастен. Это только слово, короткое, шесть букв — и больше ничего. Оно даже красиво звучит.

Тогда я вспоминаю, что у меня нет веревки. Просить у кого-нибудь не хочется. Задумываюсь не надолго — пробую ремень от чемодана. Ничего. Сойдет.

Ремень в кармане, записка на видном месте, дверь в столовую немного приоткрыта — теперь можно и уйти.

Лениво прохожу двор и выхожу в поле.

Вот и конец. Еще полчаса — и погаснет солнце, исчезнут поля, весь мир, панна Анеля... Как-то я перенесу все это... До чего странно! Моя жизнь сразу стала такой короткой, что я могу шагами измерить ее. Раз, два, три, четыре... Тут уж никогда больше не ступит моя нога... Иду, а может быть, в эту самую минуту уже весь дом узнал страшную новость — и панна Анеля в истерике бьется, читая письмо: «Я вас любил».

— Запрягать лошадей!.. разослать верховых!.. бегите к пруду!.. — А сама тут же бежит за ворота и от слез ничего не видит... Ага, поняла наконец.

Внезапно останавливаюсь. Ну, а как она узнает, куда я направился? Меня начнут искать повсюду, а я тем временем буду висеть в роще. Никто не видел, куда я пошел.

Стою среди дороги и беспомощно смотрю вокруг.

Вот кто-то идет.

— Грицько! в усадьбу?

— Плуг сломался.

На минуту останавливаю его, отрываю клочок старой газеты, завалившийся в кармане, и пишу на колене: «По дороге в вечность последнее прости».

— Сейчас же отдайте панне Анеле.

Иду вперед — теперь бодрее.

Теперь есть уверенность. Я скоро увижу панну Анелю. Она любит, она любит меня. Я уверен. Сейчас все это произойдет. Столбом взвьется пыль... помчатся лошади... бричка, как пьяная, будет переваливаться с боку на бок, а панна Анеля поднимает руки:

— Остановитесь! Ради бога, остановитесь!.. Не надо!..

Нащупываю ремень в кармане и нежно глажу. Это мне приятно. Вот уже и рощица.

Останавливаюсь, гляжу назад.

Вижу, дорога побежала между нивами, скатилась в долинку и уже опять плетется вдоль парка до самых ворот. Никто не едет. Всюду пусто. Дом стоит тихий, словно мертвый.

Непонятно.

Вынимаю часы. Прошло двадцать минут.

Что ж, можно еще немного подождать.

Стою и жду. Дорога, как на ладони, гладкая и безлюдная.

Ежеминутно вынимаю часы, пожимаю плечами и прячу обратно. Меня раздражает нетерпение. Не может быть... Не может этого никогда быть...

Уже прошло полчаса... Такое равнодушие, такая жестокость!..

Уже тридцать пять... неужели ничего не будет?

Просто не вмещается в моей голове. Холодею и громко произношу:

— Значит — не будет. Ты дурак!

Поворачиваюсь и, тяжело ступая, иду в рощицу.

Как только вхожу между деревьев, стволы, покрытые рыжими пятнами, услужливо протягивают ко мне свои ветки, будто каждая рада меня колыхать; злость вырывается из меня коротким смешком...

Смеюсь над собой и панной Анелей. Вынимаю ремень и делаю петлю. Вот так вам, так! Крепко привязываю ремень к суку. Вот так вам, так!.. Просовываю голову в петлю и сам не понимаю: это всерьез или только игра...

Но чем это кончится?

\* \* \*

Сижу на беговых дрожках; на ухабах меня подбрасывает. Из-за спины пана Адама смотрю на круп лошади, мокрый от пота. Лязгаю зубами — меня знобит. Куда мы едем, я и сам не знаю. Вспоминаю только, что пан Адам, обращался ко мне на «ты». «Что делаешь, несчастный хлопец! Ты должен жить для людей и для себя». Да, да, его рука обнимала меня за талию, а моя голова лежала на его груди, и пуговица впивалась мне в лоб...

Вот он что-то говорит мне, и мою грудь приятно щекочет его низкий голос. Пыль вылетает из-под дрожек, как пар из котла, и не интересует меня. Куда мы едем — не знаю. Может, пан Адам мне сказал, а может, и нет.

Чем дальше, тем теплей мне становится, я понимаю отдельные слова и уже различаю железнодорожный путь, будки. Не на станцию ли мы едем? Наверно, на станцию. Вот и вокзал. Пан Адам поручает кому-то лошадь, а меня берет за плечо.

— Ведь тебе, хлопец, не следует возвращаться к нам, растрavлять свое сердце. Поедем в город... я хочу тебя развлечь...

Все время оглядываясь, не спуская с меня глаз, подходит к кассе.

Несет два билета.

Тогда я прихожу в себя и протестую.

Ни за что! Я поеду один. Ни за что не соглашусь, чтобы он беспокоился ради меня. Пан Адам, правда,



упорствует, но я вижу, что он не испытывает ни малейшего желания ехать со мной.

На перроне звонок, сейчас подойдет поезд. Пан Адам начинает понемногу сдаваться.

Если б он был уверен, что нечто подобное больше не повторится... Никаких мыслей и тому подобное... Но лучше поехать. С буланым, может, ничего не случится.

Я уверяю.

— Нет?! Слово?

— Слово!

— А может, лучше поехать?

— Нет.

Целуемся трижды, и я сажусь в вагон.

— Прощай же, хлопец... — кричит пан Адам в окно — Вещи вышло тебе завтра.

Бросаюсь на скамейку и долго сижу в уголке, очень усталый, в полузабытьи. Ничего не чувствую.

Наконец глубоко вздыхаю. Стало как будто легче.

Мелькают в окнах верхушки деревьев, синий табачный дым плетет узоры в вагоне, с правой стороны льется в окна солнце. Осматриваюсь — пассажиров много. Шум невозможный. В синем дыму, в соседнем отделении, блестят на солнце золотистые женские волосы. Должно быть, красивая блондинка.

Приятно вытянуть ноги, они у меня почему-то болят. Входит кондуктор, пробивает билеты, я даю свой.

У нее серые, а не голубые глаза.

Я, верно, выгляжу ужасно после дороги. Вынимаю платок и вытираю лицо. Все-таки есть немного пыли.

Сажусь так, чтобы было виднее, и смотрю на нее. Взглянет или нет?

Мой сосед, толстый, короткошей купец, отстегивает воротничок — ему душно — и начинает разгуливать по вагону. Я сержусь на него, когда он заслоняет блондинку. Зато, когда наши глаза встречаются снова и снова, я в них читаю лукавое любопытство.

На станции вместе сходим. Я спешу за ней, словно не могу еще выйти из ее сферы. Она нанимает извозчика, я отмечаю стройную ногу и линию тела.

На прощанье получаю от нее в дар взгляд серых глаз, взамен дарю взгляд черных — мы расстаемся.

Уже третий день я пью жизнь большими глотками. Где нужно переступить — там прыгаю, сказать громче — уже кричу. Я научился петь — тра-ля-ля... тра-ля-ля... Это мне подарила улица. Купаюсь в человеческом море, в сутолоке, в солнечном свете. Присматриваюсь ко всему, и все такое доброе, ласковое и красивое. Нет, действительно, если хорошо присмотреться даже к пыли, как она мягко клубится на солнце, то и в ней приме-тишь много доброжелательности.

У меня здесь нет знакомых. Да и к чему они? Я вижу людей, всех одинаково знаю и беру у каждого что-нибудь, как пчела взятки. Они теплые, живые — и я теплый, живой. Смеются — и я смеюсь; говорят, поют — я тоже. Я капля в реке и сверкаю на солнце, так же как и вся волна.

Весь день — улица, люди, извозчики... Я глажу по головке детей и щелкаю пальцами каждой собаке: на-на!..

А когда директор, директор сахарного завода, снимает цилиндр и улыбается мне, как спелый арбуз, я подхожу к нему и счастлив пожать ему руку.

— Ну, как поживаете? Как там пан Адам? панна Анеля?

Я машинально говорю:

— Спасибо, спасибо... хорошо, как же... — а тем временем в голове у меня неясно. Панна Анеля... Панна Анеля... Ага! Это та... будто белая тень куда-то от меня убегает, будто туман, а я хочу поймать, вернуть и не могу... Что было? И когда было? давно? Панна Анеля... панна Анеля... Нет ничего. Даже тень исчезла... Пусто...

Директор смеется, смеется солнце, смеюсь и я... 1

27 февраля 1909 г.

Чернигов.

## ЧТО ЗАПИСАНО В КНИГУ ЖИЗНИ

Пришлось бабке слезть с печи: больной внучке понадобилось тепло. Места в тесной хате на лавках не было, и легла бабка на полу. Сын и невестка словно не заметили ничего. Там бабка и осталась.

Из угла между дверью и посудными полками, где лежала она на полу, — старая, забытая смертью мать, — все казалось ей необычным. До сих пор она годами валялась на печи и привыкла смотреть сверху вниз. Тогда внуки казались маленькими, слепнувший глаз отдыхал на белокурых головках либо ловил злые, забытые нуждой лица невестки и сына, проплывавшие мимо нее от двери к печке. И уже из-за печи слышались их невнятные голоса.

Теперь все сразу выросло. Дети, которые останавливались над ней, подойдя к посудным полкам, и осыпали ее хлебными крошками и всяким сором, сыновние сапоги, старые, промерзшие, тяжелые, как горы, и босые ноги невестки, которые, становясь перед самым лицом, закрывали весь мир. Теперь ей было видно, как юркий огонь в печи пожирал топливо и все-таки умирал от голода, как черные углы под лавками разевали беззубые рты и дышали плесенью. Когда отворялась дверь, столб белого пара, словно туман, стелился по полу, закрывая все, и казалось, что вот такой должна быть смерть — мутная, безглазая, с холодком по ногам.

Где же она? Почему не приходит? Не дозвется старуха. Бродит вокруг, а про бабку забыла. Мужа взяла, семерых детей задушила, вот-вот, не заметишь как, придет за внучкой. Всех скосила, целые поля, а про бабку забыла. И странно и страшно, что так трудно умереть.

Долгими днями и еще более долгими ночами, когда мыши снуют по гнилой картошке и по бабкиному телу, а тараканы шуршат возле нее, как возле старой тряпки, лежит бабка тихонько, и время от времени из ее высохшей груди вырывается тоскливый вздох, тоненький, как визг слепого щенка.

— Ох-ох!.. Где это смерть моя запропастилась?!

— Нет на вас погибели! Спать не даете... — сердито ворчит невестка, и лавка скрипит под нею.

— Не-ету! — вторит невестке бабка, облизывая десны, где когда-то были зубы, и лижет пересохшие запавшие губы.

Хочется бабке кисленького, капуста или огуречного рассола. А дремота переплетает действительность со снами: обрывки сказок, «Отче наш» и тяжелые, как горы, сапоги сына, оставляющие мокрые следы.

Потом сон вдруг исчезает, словно смытый водой, и бабка чувствует свое маленькое тело, которому жестко и холодно лежать на полу на тоненьком рядне в сыром углу.

Зачем она? Кому нужна? Жизнь выела из нее силы и, как картофельную шелуху, бросила в угол. А душа крепко вцепилась в эту оболочку и не хочет ее покинуть.

Немного места занимает бабка на свете, угол под посудными полками, а всем мешает. Не велик кусок съест, а при нужде и того много. И снова, как сухая листва, шелестят увядшие губы:

— Ох!.. смертонька моя... где ты?

Тело иногда просило. Из этой горсточки кожи и костей, из высохшего живота и пустой груди вырывалось непреодолимое фантастическое желание и заглушало разум:

— Мо-лоч-ка!..

Тогда на невестку напал смех. Не говорила ничего, только тряслась от смеха ее груди, лицо, живот, да белели зубы меж искривленных губ.

Бабке было так обидно. Не дают молочка... Молочка не дают...

Она от обиды кривилась, ворчала, ей до слез молока хотелось, хотя и знала, что его даже больная внучка не видит.

В конце концов невестка хватала веник и обдавала бабку тучей пыли.

— Ноги уберите! Выкину в сени вместе с сором!

Бабка убирала ноги и, невидимая, долго кашляла из-под посудных полок.

Днем ее окружала детвора, словно пятеро воробьев желторотых. Целый ряд глаз смотрел бабушке в рот.

— Расскажите сказку.

Рот раскрывался, как пустой кошелек, и в нем шипели слова про какого-то царевича, золото, дорогие кушанья. Но высовывался язык, слизывал все начатое, и бабка кончала другим — о лошадиной голове либо о царевне-лягушке. В речи ее то и дело попадались старинные слова, непонятные детям. Им становилось скучно.

— Бабушка! Когда вы умрете?

Им хотелось посмотреть, как вылетит из бабки душа.

— Бабушка, а душа птичкой вылетит из вас?

Потом тянулись к полкам, топтали ножонками грудь и засыпали глаза хлебными крошками.

О смерти говорила и невестка с сыном, громко, злобно, как о невнесенной подати:

— Помрет, на что хоронить будешь?

Сын только сопел да сердито косился в угол, и тогда бабка боялась звать смерть: вдруг придет, где тогда взять денег на похороны? Попу плати, доски дорогие, а люди сколько съедят и выпьют...

Одно только развлечение и было у бабки. Когда забывали закрыть дверь, в нее из сеней влетала пестрая курица и со всех ног бежала к бабке. Вытягивала короткую шею, косила круглым глазом, поднимала лапку и ждала. И только протянет бабка сухую ладонь с крошками хлеба, пеструшка начнет поклевывать из ладони: пощипывает бабку.

Ну и доставалось же курице! По спине ее били, так что она приседала, и выгоняли обратно в сени, осыпая руганью.

— Чтоб ты слохла, треклятая.

Лучше б ругали бабку. Может, скорей бы померла.

Бабка что-то обдумывала. Днями и ночами, тайком, сама с собой. Губы чмокали, глаза смотрели куда-то внутрь, уста складывались в слова и в нерешительности замирали. Иногда шептала: «сынок!», и сейчас же бояз-

ливо умолкала и оглядывалась — не услышал ли. Тогда ослабевшие руки и ноги покрывались каплями пота, рубашка прилипала к телу, и бабка лежала, как мертвая.

Наконец решилась.

— Сынок!

Он что-то чинил и, наверно, не слышал.

— Потап!

— Что?

— Иди сюда.

— Что там?

— Сядь возле меня.

Он нехотя поднялся и сел на лавку под полками.

Большой и мокрый сапог стоял у нее перед глазами, закрыв лицо тенью.

— Пора умирать.

— Опять попа звать? Говорили: «помру», «помру», а я только напрасно деньги попу отдал.

Потап раздражался и не смотрел на нее.

— Эх, бабушка... мама, — поправился он.

Жесткая складка легла и застыла у него между носом и подбородком, и что-то недосказанное спряталось в ней.

— Не надо попа... Бог грехи простит и так. А вот не могу помереть...

— Слышал уже. Говорили.

— Забыла меня смерть... Нет мне конца. Хоть бы ты помог.

Бабка зашевелилась в своем логовище. Он слышал, как стукнулись ее ноги, косточка об косточку, как удушье за липело в груди, — лютая тоска грубо вырвалась у него из горла.

— Ну?

Но бабка уже лежала тихо и спокойно, что-то говорила про себя, словно сквозь сон.

— ... взял сын сани, уложил старого, да и свез в овраг.

Потап поднял брови.

— Что вы сказали?

Но бабка опомнилась.

— Я так... не нужна уж я стала, лишняя. Угол занимаю... ох, ох... хлеб ем, а он детям нужен... Всем тяжело со мной, и мне тяжело... Отвези меня в лес...

Он не понимал, только покосился на мать.

— Помоги, сынок... отвези в лес... Теперь зима, скоро замерзну... Много ли старой надо? Раз-два вздохнула, да и все...

Каким-то далеким воспоминанием, забытым сном, который только слегка крылом коснулся сознания и пролетел дальше, повеяло на Потапа от этих странных слов.

Не хотел слушать, а слушал.

— Греха не будет... В лесу чисто и бело... деревья, как свечи в церкви... Засну, проснусь да и скажу: «Матерь божья, не суди сына, суди нужду людскую»... А ты не слушай того, что люди скажут. Как беда придет, где тогда люди? Нет... Погибай один...

Слова матери падали в него, будто зерно на вспаханное поле, он чувствовал, как поднимается в нем ненастоящий, чужой, притворный гнев.

Наконец встал с лавки и сердито прикрикнул больше на себя, чем на нее:

— Нивесть что плетете! Дал бог жизнь — пошлет и смерть... Спали бы лучше.

А когда свет погасили и улеглись, его мысли забились по хате, неповоротливые, путаные, темные, как клубок туч, и только изредка что-то ясное их разрывало.

Бог?

Ты смотришь с неба? Смотри.

Злы и холодны были эти проблески мысли.

Грех?

Вся земля в грехе. Разве его голод не грехи сытых?

Он гнал от себя мысли, особенно про то, о чем говорила старуха. А вместе с тем, как бы наперекор ему, в памяти вставало полузабытое, слышанное от матери или от бабки, как когда-то в старину дети родителей убивали. Увозили в лес или в поле и там бросали помирать. На что жизнь старику? Старому помирать надо, молодым жить. Так все на свете. Старая листва опадает, молодая вырастает. Зима гибнет, когда приходит весна, зерно гниет в земле, пуская росток... Так испокон веков повелось.

Зажилась старая, а умереть не может. Просит смерти — не дает бог, разве грех помочь?

И снова что-то темное поднималось в нем, как пар над гнилым болотом, стирало мысли, сводило тело,

покрывало лоб холодным и едким потом. Тьфу! Тьфу! Господи боже! Живую мать из хаты выволокло...

Глубокая ночь всей тяжестью налегла на грудь и не давала дышать.

Мысли снова робко трогали мозг, шевелились и разрастались.

Сгинь! Пропади!.. Будь, как будет... Что люди сказали б? Люди! Они осудят. Когда с голоду пропадаешь с малыми детьми, когда от беды воешь, как пес, когда судьба тебя жжет и на куски разрывает — людей нету. Нету на свете ничего страшнее той пустоты, которая людьми зовется. Люди! Ха-ха!..

Потап не мог заснуть. Ворочался, поднимал голову с лавки и прислушивался к углу под полками. Там было тихо.

И вдруг ему показалось, что все уже кончено. Мать в лесу, в хате просторнее, не слышно стонов, нет лишнего рта, нет вечной мысли, где взять деньги на похороны. Ему даже легче стало.

Но вот заскреблись мыши, завозились под полками, и оттуда послышался скучный тоненький голосок:

— Ох, моя смертонька... где ты?

Встал поздно.

День был тихий, тяжелый. Серое, переполненное небо придавило землю, а по ней, как неприкаянные души, полз туман.

Нужно было возить навоз. И Потап возил, тяжело шагая возле саней, сам серый, как густой туман, и все заглядывал в глубь себя, где что-то осело за ночь и затвердело.

Рано, еще засветло, он почему-то бросил работу. Зашел в хату, молча потоптался и вышел. Еще раз вернулся, стал у порога, но не смотрел под ноги. Что-то хотел сказать и не нашел слов.

Мать молчала.

Тогда он бросил вниз тяжело, полусердито:

— Одумались уже?

— Что говоришь? А?

— Забыли вчерашние глупости?

— Ох... помоги мне, сынок...

— Опять за свое?

— Отвези в лес...



Тогда он присел на корточки, приблизил к бабке лицо так, что на нее даже пахнуло горячим дыханием, и зашептал со свистом:

— Говорите, сами захотели?

— Сама.

— Хорошо подумайте: сами?

— Сама.

Он резко поднялся и сел за стол. Хотел отрезать хлеба, но не отрезал, положил на место.

Не смотрел ни на кого, но хорошо понимал, что все уже знают.

Не удивился, когда жена спокойно сказала:

— Надо воду греть.

Значит, сейчас будут обряжать бабку.

И он стал равнодушно смотреть на быстрые приготовления.

Видел, как деловито засовывали в печь солому, как дети шептались в углу, словно радовались, что «отец отвезет бабку в лес», как старуха протягивала руки из-под полок.

— Сорочку чистую достаньте.

— А свечки, кажется, нет у нас!.. — звонко крикнула жена, и он сам полез под образа, где они привыкли прятать вербную восковую свечу.

Ему не пристало смотреть, как будут обряжать магь, и он вышел во двор.

А когда вернулся, она уже готовая лежала на лавке, сухая, маленькая, как выпотрошенная курица, с крестом на груди — и чистые пятки торчали из-под черной шерстяной запаски, как у мертвой.

— Кончили? — хотел спросить Потап, но не спросил, видел и так, что ждали только его.

Он подошел к скамейке.

— А может, вы бы того...

Она покачала сухоньким личиком, на котором легли уже новые тени.

Тогда он решительно подошел ближе, поцеловал руку и губы, а она благословила его сухими, как осенние веточки, руками.

Теперь подходили все — жена и дети — и целовали бабку, а старуха слегка кряхтела; ей было приятно чувствовать на губах теплые губы.

Невестка всхлипнула даже, но сразу замолкла, как только Потап попросил дерюжку.

— Зачем тебе?

— Надо бы укрыть...

— Смотри же, назад привези.

Потап взял мать на руки и вынес. Открылась дверь, в хату ворвался холод, и черный мрак сеней сразу огласился детским ревом.

На санях было сенцо. Потап подложил его бабке под бока, накрыл ее дерюжкой и, берясь за вожжи, спросил:

— Хорошо вам, бабушка?

Опять «бабушка», — подумал, но не решился поправиться.

— Не забудь же дерюжку, — снова напомнила жена, когда он сел в сани.

Кляча дернула задом, и бабка поплыла.

Ехать надо было три версты полем, начинавшимся сразу за хатой. Ночь пала мгновенно и поглотила закат. Только белели ближние сугробы, и туман на ночь одевал деревья в иней.

Молчали. О чем было говорить? Первое — нужда давно ему рот замкнула, только в сердце слышались ее речи, а второе — между живым телом в санях и им встало что-то таинственное и тревожное, чего он не решался прогнать словом.

Внимательно смотрел, как кобыла вертела мохнатым задом, на котором уже оседал иней, и думал, что надо приготовить сечки; соображал, когда лучше солому свезти на соломорезку — сегодня ли, когда вернется домой, или завтра. Потом вспомнил, что забыл взять рукавицы, что не вымыл рук, и они в навозе, словно покрыты корой.

Ему показалось, что старуха что-то бормочет. Он обернулся назад и крикнул:

— Чего вам? А?

Насилу разобрал. Она спрашивала, не Микитиным ли полем они едут.

— Микитиным? Да-да! Микита давно помер. Уже и поле его сыновья продали.

— Кому продали?

— Тут целая история была.

Он оживился, оборачивался назад, кричал, чтобы мать слышала, стучал кнутовищем по саням, махал руками, радуясь, что криком можно прогнать то таинственное и тревожное, что стало между ними.

Сани раскатывались по разъезженной дороге, стукались полозьями, а он отставлял ногу и упирался в твердые края дороги, как привык это делать, возя навоз. Хлестал кобылу... Но-о! И снова оборачивался назад.

Они оба были рады, что опять живут одной жизнью, как в те времена, когда старая мать могла еще ходить.

Бабка жадно ловила новости. Она ничего этого не слыхала. Что можно услышать, валяясь где-то под полками? А этот Микита сватался к ней... Хе-хе!

Не заметила даже, как лес обступил их.

Потап остановил лошаадь.

— Не озябли? — подошел он к бабке,

— Нет.

— Приехали уже.

Бабка хотела подняться, но упала назад.

— Подождите еще, полежите.

Он пошел в лес, глубоко проваливаясь в снег, отыскал место. Выбрал под дубом, на ровном пригорке, и громко сказал:

— Тут хорошо будет.

Потом посмотрел вокруг.

В глубокой тишине деревья плели белое кружево ветвей, будто собираясь закинуть невод в глубокие воды небес, где неясно трепетали золотой чешуей, словно рыбки, звезды.

«Лучше, чем в церкви», — подумал.

Принес сюда сена, приготовил для матери ложе и положил старуху на спину.

Хотел закрыть ей ноги дерюжкой, но бабка не позволила.

— Не надо... возьми домой, в хозяйстве пригодится.

«А пригодится», — подумал он и отложил дерюжку в сторону.

Но сейчас же раздумал и закрыл мать до головы.

Она покорно вытянула руки поверх дерюжки, а он скрестил их на груди, как у мертвецов. Потом зажег свечку и поставил между пальцами.

«Что бы еще сделать?» — подумал.

Встал на колени, прямо в снег, и уткнулся лицом в сложенные руки.

Теплое дыхание воска, который таял, стекая вниз, подняло в груди Потапа что-то горькое и мутное, чему и названия нет. Хотел, припав к этим жестким рукам, которые скоро будут свидетельствовать перед богом о трудах своих, рассказать всю жизнь, все обиды свои вот здесь, в тишине, где деревья стояли, как свечи в церкви, а проговорил только:

— Простите меня, мама...

— Бог простит...

И в другой раз... и в третий...

Он хотел было подняться, чтобы уже покончить с этим, но вдруг услышал, что мать что-то шепчет.

Перевел взгляд на ее лицо, таявшее, казалось, как желтый воск свечи.

— Что, мама?

Она по-старчески причмокивала губами, кривилась, так что обнажались синеватые десны, и словно простонала:

— Не режьте пестрой курицы... она будет нестись...

Из полупогасшего глаза бабки катилась слеза.

Он обещал. Зарезать курицу!.. Да разве курице мужицкая еда?

Теперь уже все? Он встал, поклонился и побрел по снегу.

С размаху упал в сани и стегнул лошадь. Кобыла вскинула задом и понесла, ударяя сани о стволы деревьев, подбрасывая их на всех ухабах.

А когда в гонке этой он обернулся назад, свеча тихо и ровно горела между деревьями, словно звездочка вместе с инеем опустилась на землю и отдыхала на снегу.

И сразу легко стало. Тяжесть свалилась с плеч. Он вдохнул морозный воздух, ощутил пустоту в груди и заполнил ее диким, сердитым криком:

— Но-о! Стер-ва!

Покачивался в саях, будто пьяный, будто с ярмарки ехал, изрядно намагарычившись, все было ему безразлично, ничто не страшно и море по колено.

Лошаденка вынесла в поле, устала и побрела шагом.

Тогда ему вдруг припомнился один из дней детства.

Было воскресенье. Всю горницу заливало солнце. Потапа тянуло поскорее к мальчишкам и страх как не

хотелось менять грязную рубаху. Но мать поймала его и, хотя он плакал, надела на него чистую и белую холодную сорочку. Расчесала волосы и уже на пороге положила за пазуху горячий пирог. Пирог обжигал ему грудь, но он вынул его только на улице, когда очутился среди товарищей. Ему было приятно, что все смотрели, как он кусал пирог и пальцами выколупывал сливы.

Больше он ничего не мог вспомнить.

Еще было хорошо, когда отец умер. Собралось много людей, ели капусту, кутья пахла медом, и изюминки чернели в ней, как мухи.

Тогда Потап наелся...

Он ехал дальше, все глубже в поле. Лошаденка так побелела, что сливалась со снегом, зато небо стало чистым и черным...

«Микитино поле... Сватался ко мне Микита... Хе-хе!»

По небу плыло одинокое беленькое облачко, как тень голубиных крылышек.

Он отвел глаза от облачка, съежился весь. Что-то холодное защекотало в груди. Может, то не облачко, а душа матери плывет?

И мысли побежали назад. Лежит она в лесу одинокая, на холодном ложе, как подстреленная птица, смотрит в небо сквозь слезы. Только свечка плачет над нею и горячий воск капает на сухие, как у покойника сложенные руки.

Нужно же было отвозить... Послушался, сама захотела, а могло бы быть иначе. Могло бы быть...

Он застыл. Потерял из виду поле, небо, лошаденку. Один образ стоял в его воображении, застилая все.

... Только что вынесли маму на кладбище, с хоругвями, с попами, по-христиански. В хате народ. Вкусно дымится еда. «Выпейте, сват, помяните душу». — «Царство ей небесное...» Водка обжигает горло и желудок... Вокруг шум... Теплом дышит честной народ, и дышит в глубоксей тарелке вареное мясо... «Выпьем еще...» — «Славная была покойница»... Стучат ложки о миску, причмокивают лоснящиеся от сала губы, сытая душа возносится в высь, открытая для других, хочется плакать или петь... «Ой, нету горше на свете...» «...Выпьем, кумушка милая, за души умерших»...

Ему стало душно.

— Пол-огорода можно бы заложить, — сказал он громко и даже вздрогнул.

Кто это сказал?

Оглянулся. Лошаденка едва переставляла ноги, откуда-то снова появился туман, покрывал своим верхом небо, а подолом землю и сеял что-то тоскливое и беспросветное.

Надо было прогнать лукавый образ. Потап пытался вспомнить что-нибудь из того, что говорил поп в церкви, что говорилось между людьми так, в утешение, из приличия. Думал о грехах, о душе, о молитвах церковных, о христианских обычаях. «Почти отца и мать твою», — но все это было холодное и таяло в тепле привлекательных картин, которые рисовало его воображение.

«Одна у нас мать и одна смерть, — говорил он себе, а сам в то же время слышал: «Угощайтесь, кума... выпьем за души умерших!» Он погружался в шум, в тепло голосов, ощущая вкус жирной пищи, праздник и радость живого тела.

Уже виднелись хаты.

Тогда он вдруг поднялся в санях, посмотрел вперед, оглянулся и круто повернул лошадь.

— Но-о, стер-рва!

И понесся в туман, среди комьев взметенного снега, которыми забрасывала его лошаденка, назад, за бабкой.

26 ноября 1910 г.

27  
28  
29

30  
31  
32

33

34

## С О Н

Каждый день одно и то же. Ноги, словно чужие, сами находили привычные дороги, и глаза, тоже будто не свои, с полным безразличием воспринимали все до скуки знакомое. Перед ними проплывали и бесследно исчезали домишки города и все те же люди, точно потерявшая домашняя мебель, мимо которой можно ходить годами, не замечая даже. Городской бульвар, обсаженный голыми тополями, белевшими на осеннем небе, подобно рыбьему остову; аллея, по которой он ежедневно проходил, так хорошо знакомая по каждой выбоине или по каждому торчащему кирпичу, о который уже не раз спотыкался. И эта фигура чиновника, шагающая навстречу. Идет вразвалку в черном, наглухо застегнутом сверху донизу пальто, мелькнула расчесом крашенных бак и лениво подняла шляпу над бесцветным лицом.

Теперь эта фигура не вступала в беседу, как прежде. Да и зачем? Антон заранее знал, что услышит. Глухой голос kloкотал бы в стянутой груди и густо доносил бы сквозь крашенные баки историю клубного шлема или жаловался на катаральное состояние кишек.

Фигура давно уже позади, и Антон замечает, что он точно так же идет вразвалку, как и казначейский чиновник.

И снова пусто в аллее. Недавно посаженные деревца, дочиста обломанные, протягивают к небу свои палки, крепкие, колючие, ободранные, с клочьями луба и коры. Со скамеек, куда кто-то насыпал кучками землю, стекали

на дорожки струйки грязи. Между деревьями от вороха рыжих листьев исходил какой-то неясный запах, осеннее небо навевало тоску над бульваром — и все это, серое, скользкое, жалкое, было окутано сетью вороньих крыльев и заполнено их громким скрипучим карканьем.

Антон дошел до конца бульвара и повернул обратно. Перед глазами снова встала та же пустыня. И тут он заметил, что упорно решает привязавшийся к нему вопрос и не может решить: что означает сон, который видела сегодня его жена?..

Жена спустила с постели ноги, голые и белые, точно застывшее сало, и хрипловатым от сна голосом рассказала с жаром, что ей приснилось, будто она доит корову. Потянет за сосок, а струя, бьющая на дно поддона, не молоко, а чистая вода... Что бы это означало?.. Чистая вода...

Он не мог объяснить утром, не думал об этом днем, а вот теперь решает этот ненужный вздорный вопрос настойчиво, упорно, точно хочет отодрать приставшую к подошве смолу. Что означает чистая вода?

Этот вопрос держит его среди деревьев бульвара, белых на сером небе, как ряд рыбьих костей, в грязной корыте аллеи. И кажется, что, вырвись он отсюда, это, может быть, осталось бы позади, заглушенное вороньим карканьем.

Антон покидает бульвар и выходит на городскую площадь, в самом центре которой — лужа. Ему не надо смотреть на город. Ему достаточно заглянуть в лужу и увидеть город: тяжелый белый собор под зеленой шапкой купола, кирпичное здание управы и желтые стены суда. Все помещается в одной луже.

На тротуаре теленок. Три фигуры, с одинаковыми лицами, в синих штанах, «под студента», загоняют теленка в лужу. Теленок упирается, задирает хвост, тарашит испуганные глаза, а когда им, наконец, удастся загнать его и четыре тоненькие ножки разбивают в брызги собор, управу и суд и вязнут в грязи, глупый, оскорбительный смех словно твердеет в сером тумане и тяжело падает в стоячие воды лужи.

Потом они еще плевали: кто переплюнет лужу.

Антон не стал ждать.

Какая-то мусть оседала в сердце. Это начиналось дома



и кончалось здесь, в бесцветной городской скуке, как длинная ржавая цепь. Дома было тихо, день бежал за днем. Как в луже — весь город, так в каждом дне он видел отражение всей своей жизни. По утрам, еще лежа в постели, он выслушивал женины сны, прозаические, скучные, как действительность, пил наскоро чай за столом, среди крошек, следов от мокрых стаканов и посуды, оставшейся после ужина, и бежал на уроки в школу. Потом обедал, всегда в один и тот же час, с вечно восторженным: «о, у нас сегодня зеленый борщ!» — и выслушивал жалобы на кухарку. После обеда жена спала, а он уходил в город, надеясь на что-то новое, но каждый раз тщетно, и возвращался домой на вечерний огонек с той же скукой, с какою выходил.

По вечерам иногда собирались у жены соседки поиграть в карты, не на деньги, больше для интереса. Он в карты не играл и уходил к себе, чуждый этому всему, курил и в клубах дыма писал что-то, чего никогда не должен увидеть посторонний глаз, только для себя, удовлетворяя внутреннюю потребность.

Порой случалось кое-что новое — привозили дрова, и нужно было их принимать, или заболел ребенок. Но всему приходил конец — и жизнь снова спокойно текла по старому руслу...

Антон бесцельно блуждал по тихим малолюдным улицам города. Липкая и темная муть оседала в сердце, иногда из-под нее что-то упорно пробивалось и прорастало. Молодое что-то, свежее, еще не затоптанное, жажда нового, какой-то красоты.

По дороге встречались девушки, провинциальные козочки, с блестящими влажными глазами, со свежим овалом лица, гибкими движениями тела. Что-то оставалось после них в воздухе, как после весенней грозы, будило и освежало. Хотелось что-то пережить, сильное и прекрасное, как морская буря, как дыхание весны, — новую сказку жизни. Пропеть недопетую песню, которая, сложив крылья, покоилась в груди. Он нашел бы новые слова, не те, что осенними листьями шуршали под ногами, а полновесные, богатые и звонкие.

Но в осеннем тумане все исчезало, и он шел дальше вдоль мокрых заборов, за которыми скучно дремали голые ветки.

Смеркалось. Антон вяло шел из квартала в квартал. Смотрел, как деревья медленно погружаются в сизый туман, вырисовываясь на небе, как темные прожилки на перламутре. На перекрестках стояла молочная мгла, за которой мерещилось что-то далекое и бесконечное. Моросил мелкий дождик и нежным холодком оседал на лицо. Уже загорались огни. Тротуары блестели, отражая вечерние тени деревьев. Капало с крыш. Капли все чаще катились с кровель, со стен, из водосточных труб. Они играли, пели, звенели, меняли темп, силу и голос. Вскоре улица превратилась в симфонию капель. Незаметно выплывали из тумана фонарщики, разнося свет. По тихим улицам, в вечернем сумраке, по всем направлениям растекались, слегка покачиваясь, красные огни. Чернели только ноги фонарщика, а над ними покачивался огонек. Оживлялась музыка капель, печальных и веселых, медлительных и быстрых, глухих и звонких. Вдали мягко засветились окна и чья-то невидимая рука тихо закрывала створки ставен, — так, засыпая, смыкаются глаза.

Жажда красоты, жившая в душе Антона, вызывала желание искать ее повсюду, но действительность была скупа. Правда, когда-то он видел далекие края, где солнце и море наперебой старались раскрыть перед ним все свои чудеса, но это было давно, и будничная жизнь занесла воспоминания пеплом. Иногда, во сне только, они на миг оживали, вызывая потом жгучую тревогу. Он любил сны. Ложась спать, будто пускаешься в плавание по морю ночи, неведомому, черному... Каких только приключений не встретишь, чего только там не увидишь, не переживешь, пока темные волны ночи не выбросят тебя на светлый берег дня...

Пора было возвращаться домой. Антон уже представлял себе, какую картину застанет: все комнаты покоятся во тьме, только в столовой светло. Кипит самовар, дети пьют чай с молоком, а жена что-то вяжет крючком. Будто летом из гнилого болота на него пахнуло знакомым теплом столовой, молока с чаем, распаренным телом жены и котом, вечно валявшимся на диване. Человеческим логовом, сытым покоем, который был по вкусу его жене и раздражал Антона.

И действительно, он все это увидел...

— Хорошо, что ты уже пришел...

Марта встретила его спокойно и деловито. Ей было душно от вечных хлопот. Она расстегнула легкую блузку, позволявшую видеть широкую шею и голые руки.

— Тут приходил стекольщик, пора стеклить окна, а я не знаю...

Она налила Антону чаю и придвинула булку.

Ах! Сколько было хлопот!

Кадку непременно нужно купить для огурцов... А может, лучше заказать?.. Она хотела посоветоваться с ним. Правда, это дороже, зато прочнее.

Они обстоятельно рассуждали о том, что новую кадку надо хорошенько вымочить, чтобы огурцы не пахли, что капуста в этом году нужно наквасить поменьше, мало ее едят, что в теплые одеяла хорошо бы добавить ваты...

Марта покраснелась, размлела вся — так и несло от нее теплом через открытый ворот и широкие рукава.

Она пошла за ним даже в его комнату, и когда он нагибался и собирал со стульев ее юбки, сохранявшие еще теплоту и округлые формы ее тела, она машинально бросала вечное «ах, извини» и спокойно брала одежду из рук мужа.

Она еще не договорила. Ей хотелось как следует посоветоваться насчет материала и фасона детских курточек, запаса свеклы и тысячи всяких хозяйственных мелочей. Он невнимательно слушал, наблюдая, как мягко, после каждого слова, вздрагивал у жены подбородок, и думал: «Ожидали ли мы, что через двенадцать лет после свадьбы у нас не найдется других тем для разговора, что слова будут разделять нас, падая, словно обломки руин на зеленую траву?»

Вокруг было тихо, лампа ровно горела, и в молочном свете плавал дым папиросы.

А жена все говорила, больше для себя, нежели для него, убежденная в том, что муж человек беспомощный и непрактичный, что он мало даже к чему пригоден.

А впрочем, все было тихо и спокойно, как всегда. Самая сильная волна не могла возмутить мертвое затишье лужи, и это так раздражало Антона, что ему хотелось крикнуть, чем-нибудь швырнуть или разбить оконное стекло, чтобы с треском и звоном впустить в комнату свежий воздух.

Однажды утром Антон проснулся в необычном состоянии, он точно весь ушел в себя. В тот день он не мог бы ответить, рассказала ли жена свой сон, видел ли он, как обычно, ее белые икры, пока нога лениво искала туфли; все это нынче ускользнуло от него. В его движениях, в походке было что-то молодое, тревожное и новое.

Не допив чаю, посасывал давно потухшую папиросу и смотрел невидящим взглядом на окружающее. Беспокойно бегал по комнате.

К обеду опоздал, но вошел быстрым и легким шагом, молодо развернув плечи, какой-то далекий, отсутствующий.

Марта заметила перемену.

— Ты какой-то странный сегодня.

Вид Антона обеспокоил Марту.

— Что случилось?

Ей пришлось повторить вопрос, но он наскоро отделался словом «ничего!», чему трудно было поверить. Зеленый борщ не произвел на него впечатления, он мало ел и на вопросы отвечал невпопад.

— Что ты говоришь? Где ты? Проснись!..

Тогда он сделал над собой усилие, старался быть особенно внимательным, прежде чем сказать, обдумывал каждое слово, но отсутствующий, углубленный взгляд свидетельствовал о чем-то скрытом, затанном.

Любопытство Марты возросло, когда после прогулки Антон прошел не в столовую, а прямо к себе. Она слышала размеренные шаги, словно отбивавшие такт мысли, частое чирканье спички о коробок, а закрытая дверь манила больше, чем открытая. Наконец она приотворила дверь в его комнату.

— Можно к тебе?

Он кивнул головой.

— Что с тобой, Антон?

Антон, очевидно, колебался. Ему не хотелось сказать, и одновременно до боли хотелось, чтобы жена спрашивала, чтобы вырвала у него признание, которое просилось на волю из переполненной груди.

— Ничего.

Но это слово, брошенное им, было какое-то легковесное, пустое. Марта чувствовала, что ей нетрудно перебороть его.

— Говори уж, что там такое?

Антон остановился, взглянул на жену, и после минутного колебания у него сорвалось:

— Я видел сон.

Марта облегченно вздохнула.

Ах, только сон!

Она была даже разочарована. Однако поудобней усе-лась в кресле, состроила ласковую кошачью гримаску, которая когда-то была ей к лицу.

— Интересный сон? Ну так рассказывай.

Она любила сны.

Но он вдруг притих. Ему не захотелось говорить. Раз-ве она поймет? Для него не было различия между дей-ствительностью и сном. Какое может быть различие, если во сне так же видишь, смеешься, страдаешь, пере-живаешь? Разве действительность не исчезает так же бесследно, как сон? Разве жизнь не быстротечный сон, а сон не жизнь?

Антон ходил по комнате и чувствовал, как плещется в нем и готово вылиться через край все пережитое за ночь.

Наконец остановился и таинственно сказал:

— Я снова был там... в далеком теплом краю...

Глаза у жены стали круглыми, недоуменными, и ему пришлось напомнить о стране, промелькнувшей когда-то, как сказка, в его жизни.

— Понимаешь, я стоял утром на острове среди моря. Высоком, прекрасном, гордом. За морем, в синем тумане, тонула старая земля. Мне казалось, что в юношеском за-доре остров оторвался от земли и поплыл в мир творить самостоятельную жизнь, собственную красоту. Море бы-ло такое гладкое и синее, словно туго натянутый экран, на котором показывали небо. Сколько было голубизны! Целое море в небе, и целое небо в море. От голубых про-сторков и в душе у меня все было голубое, теплое, про-сторное. Я будто опьянел от запаха дикой полыни, по-крывавшей скалы и напоившей воздух своим дыханием. Даже днем серебряная седина полыни нежно мерцала, словно озаренная лунным светом; она свисала над отвес-ными скалами, казалось — это фавн с дико вскло-коченной шерстью трясет над самым морем бороною.

По морской глади стлались светлые дороги. Я смот-рел и думал: «Для кого они? Кто пройдет по ним? Они

исчертили синее полотно моря древними иероглифами, а кто прочитает эти таинственные письмена?» И весь я был, как песня, как аккорд печали, сливающийся с песней моря, солнца и скал.

Внезапно за мной послышался голос, чистый и гармоничный, словно рожденный теплом лазури.

— Не скажете ли вы, что означают эти удивительные письмена?

Я оглянулся.

На скале стояла женщина с бледным лицом, обрамленным золотом волос. Она протянула руку к морю, а полынь вышивала на ее черной одежде серебряные узоры. В другой руке пылали маки.

Нас волновал один и тот же вопрос, и я ответил:

— Это письмена счастья.

Она посмотрела на меня.

— Возможно. Пронесется легкий ветерок и сотрет эти письмена счастья, прежде чем успеешь их прочитать.

И понесла ко мне венок золотых волос, тяжелое серебро полыни на одежде, маки и еще — глаза, два озера морской воды.

— Ого! — Марта засмеялась.

— Не перебивай! Мы сели, как старые знакомые, на теплую каменную скамью. Я не смотрел на нее, и все же видел, как в легком дыхании воздуха трепетали над ее лбом тонкие пряди волос, словно язычки огня, а озера глаз переливались теплой лазурью.

Молча глядели мы на море. Теперь на море роем мотыльков налетали белые паруса. Неведомо откуда появлялась лодка, перебирала лапками весел, словно муравей на скатерти, и вдруг распускался белый парус, как из бутона цветок. Ложился на бок, колыхаясь на голубом поле.

Теплый воздух дохнул нам в лицо. Раз, другой. Это просыпался ветер, и дороги медленно исчезали. Море у берегов начинало гореть.

— Не кажется ли вам, — сказала женщина, — что море сейчас, как синяя птица счастья: погрузило голову в голубой туман, распустило у самых скал павлиний хвост, и каждый глазок на нем горит сине-зеленым огнем. Вот посмотрите!

Мы наклонились над обрывом, и когда наши взгляды, минув хаос изломанных скал и диких растений, упали на

берег, мы увидели, как море тихо билось в сетке ярких бликов, будто пойманное в невод из синих, зеленых и розовых нитей, а сквозь эту сетку на нас глядела мозаика дна: фиолетовые пятна густых водорослей, голубые глаза подводных песков, старая бронза и темносиняя эмаль, и все это сливалось в один огненный сплав.

— А вы не замечаете,— сказал я, взглянув на море, указывая ей движением руки на белые, залитые солнцем виллы, — вы не замечаете, что мы плывем? Остров, как спрут, погрузил в море шершавые щупальцы, присосался к нему, будто хочет остановиться. Но не может. Плывет. Вечно плывет, — куда, не знает — в тепле и солнце, в голубом тумане. Раскрыл широкую полукруглую пасть и скалит большие зубы, словно смеется рядами белых домов.

Антон потер лоб и заговорил тише:

— Не знаю, беседовали мы вслух или молча, но мы плыли в широком просторе, рядом, плечом к плечу, и вся бездна морского воздуха, запах соли, пыли, солнца — все это пронизывало нас. Мы были чистые, крепкие, как корабельные канаты, и, должно быть, излучали свет.

— К морю! На берег! Скорей!..

Она приказывала, словно имела власть надо мною, и хлопнула в ладоши так, что даже лепестки дикого мака осыпались на подол ее платья. Один — холодком коснулся моей руки.

Мы спускались.

Теперь скалы выростали перед нами, теплые, даже горячие, будто в их каменных жилах текла живая кровь. Среди мозаики морщин и изгибов порой сияло золото дрока, блестела серебром полынь, тянулись вверх мирты в своем подвенечном уборе. То снова у самых ног стремительно вздымалась скала, — мощная голая грудь, — и глаз, скучая, отдыхал от красок. Зато как было радостно, когда мы открывали милый синий цветок прилепившийся к скале, словно присевший отдохнуть на минутку. Чем он жил? Должно быть,пил каждое утро голубые туманы моря. Я не знал, как зовут цветок, и оттого он казался мне еще милее.

— Не правда ли, он будто гнездо аметистов на серой скале?

В самом деле, он походил на гнездо аметистов.

Справа вместе с нами сбегал вниз ручеек кровавых

маков, а слева при каждом повороте тропинки улыбалось море. Далекие, все в изломах, скалы мягко украсились зеленью, напоминавшей старый, местами потертый, бархат.

Зной усиливался. Горели скалы, дорога, пыль под ногами, пылали воздух и море. От нас тоже веяло жаром.

Ящерицы то и дело перебегали нам дорогу. Казалось, раскаленные скалы дрожали от их непрерывных волнистых движений. Мелькнет только пестрой спинкой или остроконечным хвостиком — и скроется. И снова откуда-то появляется на кривых ножках, приплюснутая страхом. Остановилась, приподняла змеиную головку и боязливо водит круглым подведенным глазом. Видно, как под тоненькой кожей сбоку бьется сердце. Но скользнула тень, или что-то зашелестело, — она уже исчезла в незаметной трещинке, словно слилась с камнем. Не знаю, кто из нас назвал ящерицу душой камня, пульсом, вечно бьющимся в тяжелой и неподвижной массе.

Наконец дохнуло морем. И мы перевели дыхание. Кажется, начинался сирокко.

— Берег! — с облегчением вздохнула моя спутница, увидев серый песок. И когда она бежала к нему, я любовался нимбом золотых волос, светившихся на фоне моря.

Море катило волну и, докатив, коротким, привычным движением бросало ее на берег, словно карты сдавало.

На *Riscola Marina* как раз купались. Мы прошли мимо солнечного смеха, всплесков тела, светящегося зеленым фосфором в воде, и присели в безлюдном уголке. Море слепило. Оно все расцветало серебряными цветами. И хоть век их был короток, всего миг, но в этот же миг вместо увядшего цветка распускалась сотня других. Блеснет ослепительно, как серебряная звездочка, и исчезнет. А в лазури новые звезды.

Отсюда нам был виден остров, весь от берега до вершины. Волны ударялись и разбивались о крутые скалы Монте-Саларо и Фаралони. Остров шипел, как кинутый в воду раскаленный камень, и вокруг него кипело море.

Мы молча сидели, словно растворенные в лазури, и слушали прибор.

Наконец я спросил:

— О чем вы думали сейчас?

Она обняла меня глазами, — а в них отражались море и небо от края до края, — и ответила тихо:



— Смотрю на юг, на бесконечное море. Сирокко приносит ко мне из Африки зной и аромат Египта, и я мечтаю о стране белых песков и черных людей, о кактусах, пальмах и пирамидах. Катится из Африки волна и, как далекий братский привет, целует скалы. И, быть может, эта волна, омывавшая ноги араба, плещет теперь у моих ног, как символ единения...

— Как хорошо!

Это воскликнула Марта и оборвала рассказ

Антон замолчал,— казалось, он только сейчас заметил жену.

Она была здесь!

Свет лампы, удивленные женины глаза, словно они увидели что-то необыкновенное, расстегнутая на груди пуговочка, прядь табачного дыма поперек шкафа с книгами и черные, холодные стекла окон, по которым дождь барабанил, как пальцами, свои скучные песни...

Антон нетерпеливо пожал плечами и этим движением будто отряхнул что-то. Забежал по комнате, потом снова заговорил:

— Ну, мы расстались. Я не знал даже — на время или навсегда.

Было обеденное время. Когда я входил в столовую своего отеля, первые удары гонга густо плыли над рядами белоснежных столиков, пока еще пустых. Я занял свое место. Между столбами колоннады, превращенной в столовую, врывалось море, как ряд огромных морских пейзажей, обрамленных белыми колоннами. На горизонте яхта расцвела парусами, как дерево цветом. Солнце легло над дремавшей справа Кастильоне и закудрявило гору рядами оливковых деревьев, опоясавших ее несколько раз черным турецким поясом. Виноград горел среди них зелеными огнями, словно вставленные в пояс драгоценные камни. Никого еще не было в столовой, но я хорошо видел знакомую, будто застывшую в глазах картину: некто в черном смокинге, в белых брюках молча, методически режет кровавое мясо, а рядом дама в белом уткнулась в развернутый красный Бедекер. Гудят голоса, звенит посуда, сыплется смех, булькает вино, играет радостно море, а некто в черном смокинге и белых брюках, как машина, старательно режет кровавое мясо, и белая англичанка все так же тонет в красном переплете книги.

Первыми явились в столовую немцы. Прогрехотали каблуками между столов Дамы и мужчины друг за дружкой — как гуси. Заняли отдельный стол и сразу же зазвенели стаканами. Они огородили стол стеной широких спин, окаймили скатерть полосой здоровых румянцев, смешали со звоном посуды свой грубый смех и речь.

— Ja-ja... ja-ja... — трещало над столом, а под столом топали ноги в запыленных гуфлях и толстые икры в грубых шерстяных чулках. Их дамы, некрасивые, в веснушках, поднимали костлявые плечи, в плохо сидевших блузках, и механически выкрикивали слова, будто говорящие куклы.

— Ach! Wunderschön!

— Ja-ja... ja-ja... — рубили мужчины.

— Kolossa-all.. — пели дамы, накладывая огромные порции на свои тарелки.

За отдельным столом угрюмо обедал русский и бояливо озирался, как загнанный волк.

Бесшумно двигались лэкеи в черных фраках, с полными достоинства лицами, блестело столовое серебро, виноград вился по колоннам, за нами шуршали пальмы, а перед нами море.

— Ach! Wunderschön!

— Kolossa-all..

И вот неожиданно на фоне синего моря проплываёт корона золотых волос. Глаза цвета моря устремлены на меня, и белое лицо приветливо кивает. Она немного опоздала...

— Как! опять она? — воскликнула Марта.

Но тут же ей стало неловко за этот выкрик.

— Прости, прости... я уже молчу...

Марта покраснела. Огонек подозрения загорелся в глазах. Она машинально схватила шитье, наклонилась над ним и нервно стала тыкать в него иголкой.

Но это не остановило Антона. Он был далеко.

— Удивительно, что мы беседовали, даже когда молчали; что наши мысли были созвучны, как струны, стоит голько тронуть одну; что когда я глядел на облака над морем, она тотчас же видела, как их тени купались в голубой воде; что, заметив тучку на скале, я знал отклик: «Это поцелуй неба». А еще удивительней, что вокруг царил полная тишина, словно кроме нас не было нико-

гѡ нѧ свѣтѣ. И тѣт я впервые заметил, что у нее красные губы...

Марта отложила шитье.

Она сидела выпрямившись, будто выросла сразу, а глаза неподвижно глядели из-под век.

— Тебе бы следовало жениться на блондинке...

— Ты думаешь? — рассеянно бросил Антон, выпуская новый клуб дыма.

Он уже не мог остановиться. Рассказывал, как в зной, когда скалы становились белее, а грудь пила горячий воздух, словно лаву вулкана, они блуждали по безлюдным улицам города, среди диких оливковых деревьев, серых, согнутыми коленями и жилистыми руками-ветвями, точно среди рабов, окаменевших на окровавленной маками земле. Горячий воздух плясал тарантеллу на скалах, а в серых оливковых деревьях цикады трещали кастаньетами. Шли вдоль стен, грубо сложенных из серого камня, расшитых бледными перьями папоротника. Над ними возвышались другие стены из опунций, круглые листья которых так же грубо укладывались один на другой, как и камни. Это было что-то дикое, эти опунции, нелепое, бесформенное, испуганная стая колючих листьев. Они лезли друг на друга — эти крабы растительного царства — и вставали дыбом на них колючки, будто волосы от смертельного ужаса. Где-то кричал осел. Крик этот бился между опунций, такой же колючий, как и они... Порой останавливались, чтобы дать дорогу женщинам, поднимавшимся с водой по ступенькам. В невысоких сосудах, словно приросших к голове, вода тяжело покачивалась и плескалась в белой глазури. Они пропускали мимо себя вереницу неподвижных, застывших лиц, шеи будто с проволочными жилами, короткое дыхание, как у собак во время гона, и загорелые ноги цвета сушеного инжира, цепко прилипавшие к каменным ступенькам. И снова шли дальше по камням, сыпавшимся из-под подошв, среди ковров дрока, золотого и пахучего, над которым черное рожковое дерево роняло зеленые слезы стручков. Вдруг останавливались, ослепленные морем. Оно появлялось неожиданно, сразу и умиляло душу своим радостным цветом, синей дымкой, среди которой плавал на море Везувий, словно большая голубая медуза. А дальше снова была седая полынь, акульи пасти агав, кам-

ни и дрок, будто проволочная щетка, которой причесывалось солнце, оставив на ней пряди своих золотых волос.

Перед глазами Антона вставало то, о чем он рассказывал. Красотой слова, блеском образов он оглушил Марту, покори́л, увлек за собой. Она шла за ними покорная, ненужная — третья, как тень, удивляясь силе, с которой не могла бороться. Как околдованная, следовала за ними по узким, заснувшим от зноя переулкам, повсюду разрезавшим виноградные и лимонные садики, белые на солнце, серые в тени. Казалось, с гор когда-то хлынули быстрые воды и оставили после себя пересохшие каменные русла, на дне которых, беззвучно извиваясь, сверкала ящерица — серая, словно душа камня. А вот преграда. От стены до стены заполнила улицу охапка колючего сена на голове женщины. Мелькнул на миг подбородок, кончик прямого носа или огонь черного глаза, — и снова пусто и мертво в русле умершей речки. Медленная поступь крестьянки потонула в густом от жары воздухе, и снова на мозаике стен беззвучно мелькает, словно змейка, остроконечный хвост ящерицы. А из-за ограды дышит прохладой виноград и висят желтые большие лимоны, будто женские груди с сосками.

— Мы входили в горы, среди диких обломков скал, в окаменелую трагедию великанов. Давно, когда земля была моложе и горячее, здесь произошло, наверно, нечто страшное. Извечная неподвижность колебалась, скрежетал каменный массив, весь мир рушился — скалы в гневе отрывали от материнского лона непокорных детей. С того времени стоят эти оторванные камни с застывшим выражением нечеловеческого ужаса, глядя на громады пустыни, застывшими глазами, вечно крича широко открытым ртом, немым криком мертвой маски...

Мы взбирались выше, к самым вершинам. Ах, что мы там видели! Там, напоенный полынью и дроком, ветер веет в ущельях, там кусты красуются девичьей свежестью, там солнце бродит между камнями, быстро меняя печаль теней на радость света, там видишь, как море играет огнями и клокочет где-то в глубине, а дальше расстилает шелковые полы своей одежды до самого горизонта.

Я садился на траву, она ложилась на теплый камень, сама горячая, будто вбирая в себя все тепло камней,

служивших ей ложем. И пока ветер играл золотом ее волос, а я в ее глазах видел разом и небо и море, женщина рассказывала мне свою жизнь.

Она была, кажется, с Кавказа. По крайней мере я понял, что во время революции она сражалась там против солдат. Устраняла засады в горах, совершала трудные переходы, неутомимая, как лучший из удальцов, равнодушная к смерти. Ночью, на бурдюках, переплывала быструю Куру, чтобы добыть для своих патроны. Она была ранена казаком. Расстегнула рукав и показала шрам, а я стал перед ним на колени и склонил голову.

Мы были одни среди этого простора, под чистым высоким небом, и остров плыл с нами среди моря, подобно облачку на синем небе. Я был чист и свеж; ты понимаешь, был молод, не чувствовал ни своих лет, ни своего тела, ни грязной накипи жизни, я мог бы летать... Понимаешь ли ты, что значит быть молодым и чистым? Ты не забыла?

Голос Антона крепнул, рос, он и не заметил, что кричит.

Марта сидела увядшая и виноватая. Обняла колени руками, опустила голову, ее лицо утопало в скорбных тенях волос.

Наконец ему бросился в глаза облик жены; он заговорил тише и стал спокойней.

Не уверенный даже в том, что все, о чем говорил, привиделось ему во сне, он только чувствовал потребность творить, жадно пить из источника, который сам же, подобно Моисею, высек из скалы.

Тихим голосом, с глазами подернутыми мечтательной дымкой, он говорил ей о том, как проходили вечера. Еще верхушки скал белели на солнце, а тени их уже ложились на море фиолетовыми силуэтами, остроконечными, как зубцы башни. Вечернее солнце выковало серебряный цоколь для одиноких скал в море, легких и прозрачных, словно расплавленных в зное. А когда, наконец, вечер набрасывал на скалы фиолетовый или розовый плащ, они — Антон и та женщина — отправлялись на piazz'u полюбоваться закатом. Иския уже золотилась, как созревший плод. Монте-Микеле оделась в красный базальт, а Везувий, казалось, выкинул в море двухцветный флаг — голубой с розовым. На золотом небе мягко серели

жемчужными тонами Неаполь, Пуццولي, Прочида и островки. Солнце опускалось все ниже. Иския поджидала его и чернела в золотом тумане, будто лицо мавританки под желтой вуалью. Вот в последний раз протянулась к земле кровавая рука, и зарозовели деревья цветами миндаля, а виноградные кусты грозно подняли высокие волны в зеленом море. Кровавый диск солнца уже задевал гору. Тогда Иския сбросила с себя кисею и, черная, голодная, проглотила солнце, как привыкла делать ежедневно, эта вечная пожирательница солнца! И настал конец. Земля облеклась в будничную одежду, сады отцветали, а Иския спокойно переваривала ужин.

Серо и тоскливо становилось на острове после захода солнца: все краски тускнели, как на подмоченной акварели. Казалось, тихие сумерки вышили линиялым шелком остров, расстелившийся на стальном море, как старый гобелен.

А когда тени медленно сгущались, спокойный залив надевал на шею нитку дорогого ожерелья неаполитанских огней, и тихими ночами тепло светились на фоне серых стен католические часовенки...

Было уже поздно. Заспанная кухарка в третий раз просунула голову в дверь и плачущим голосом жаловалась, что стынет ужин.

Марта поднялась, деланно спокойная, холодная, равнодушно бросив на ходу:

— Идем ужинать.

Лампа в столовой была прикручена. На холодных тарелках неясно чернело жаркое. Дети уже спали.

Они ужинали молча. Марта машинально придвигала мужу жаркое, выбирая лучший кусок. Он ел быстро, но нехотя, словно его подгонял дождь, хлеставший в холодные стекла.

Тихо было и в спальне, когда они укладывались спать. Он спросил ее о чем-то, но так вяло, без интереса, что, когда она не ответила, он даже не обратил внимания. Марта притворилась спящей, а он перелистывал книгу, закрыв ею лицо, хотя видно было, что не читает.

Марта ощущала в сердце лед. Человек, которого она считала самым близким на свете, сегодня отошел от нее далеко, и несколько шагов между их кроватями в спальне превратились теперь в холодное, бесконечное про-

странствѣ. Ей хотѣлось взглянуть ему в лицо, прочитатъ там новое, но это не удавалось. Переплет закрывал ему лицо; пальцы, розовые от света, нервно перебирали страницы.

Марта притаилась. Она ждала. Может, он взглянет на нее, заговорит, растопит лед. Напрасно. Немного погодя услышала, что шелест страниц затих, рука разогнулась и опустила книгу на постель. Антон заснул, не погасив света.

Тогда она встала и, затаив дыхание, неслышно подошла к кровати. Взяла книгу и положила на столик. Хотѣла загасить свечу, но остановилась. Почти голая, в рубашке, сползавшей, как нарочно, с плеч, она боялась, как бы его не разбудить, чтобы он не увидел ее, и острое любопытство приковывало ее взгляд к этому чужому мужчине. Сон уже бросил на его лицо строгие и глубокие тени. Что же, он спит? И что он видит во сне? Что говорит его душа, свободная от будничных забот? Разве она знала! Почувствовала себя такой чужой, совсем одинокой, будто вдруг оторвалась от всего мира. Отвела взгляд от мужа и окинула глазами свое тело, от груди до пальцев ног. «Разве я старая?» Но тотчас подумала горько: «Что тело?» Ей хотѣлось плакать. Голая нога Антона высывалась из-под одеяла. Марта старательно прикрыла ее. «И тут я забочусь о теле», — презрительно усмехнулась и потушила свечу.

Но думы не давали ей покоя и в постели. Вечная забота о теле! Каждый день, годами она заботилась только о его теле: чтобы был сыт, хорошо одет, чтобы было ему удобно, чтобы не простудился. Не жалела на него ни времени, ни труда. Это была ее обязанность, такая естественная, что перестала даже казаться трудной. Жизнь до сих пор складывалась тихо, спокойно, — у нее не было причин жаловаться. Они не ссорились, люди их уважали, у них даже не было долгов! Она гордилась тем, что муж не играет в карты, и хвастала этим перед всеми.

И вот сегодня он все разбил, посеял тревогу, встал перед нею непонятным вопросом, требующим обязательного решения. Антон до сих пор казался ей простым и понятным. Все было в нем ясно, хорошо известно, укладывалось в рамки, и вот... Марта была оскорблена, Антон обманул ее. Затаил какое-то сокровище, нечто

ценное, на что у нее были права. Годами они делились только телом, отдаваясь грубым наслаждениям, радостям забот, мелким беспокойствам, оставаясь немymi духом. Может, в этом была ее вина? Может, в этом было проклятье жизни?

Слова, услышанные сегодня, — красота, которую способна почувствовать только одаренная душа, будили в Марте давнее и знакомое. «Ты понимаешь, что значит быть молодым и чистым? Ты не забыла?» Да, она помнит, хотя, пожалуй... почти забыла. Когда они поженились, еще в первое время после свадьбы у них находились другие слова, но жизнь их понемногу стирала и рассеивала, и Антон, каким-то чудом сохранивший их, теперь казался Марте непонятным и загадочным.

Антон ворочался в постели. Марта приподнимала голову с подушки и прислушивалась. Какое-то острое любопытство привлекало ее внимание к этому человеку, — он, казалось, даже дышал сегодня не так, как всегда. Ночной мрак мешал видеть Антона, но это лишь еще больше будило воображение. Марте казалось, что она все еще видит, как он бежит по комнате с внезапно помолодевшим лицом. Ей хотелось, чтобы поскорее настал день, пусть неведомый, но привлекательный этой неизвестностью.

Утром Антон столкнулся с Мартой только на миг, выходя из дому. Было что-то вызывающее и остро-лукавое в брошенном на него подчеркнуто-сухом взгляде. Но он вызова не принял.

День был хмурый, серый. Накрапывал дождь. Лениво, равнодушно, без надежды, что перестанет.

В обеденную пору Антон, возвращаясь домой, неожиданно встретил Марту, одетую в новый синий костюм, который так шел к ней. На пере шляпки дрожали мелкие капли. Она была свежая и легкая сегодня.

— Куда ты? — удивился Антон.

— Нужно было кое-что купить.

Краска залила ее лицо. В руках у нее ничего не было.

Очевидно, она вышла только для того, чтобы встретиться с ним, так как повернула и пошла рядом.

Сначала молчали, но потом она обратила его внимание на то, что все как бы расплылось под дождем. Расплылись тротуары, улицы и дома, блестящие же-



лезные крыши, мокрые лошади и люди, экипажи, деревья и окна магазинов. Казалось, дождь хотел смыть с земли все краски и очертания. Не правда ли?

Им навстречу спешила белокурая барышня в шляпе с широкими полями. Не успела проскользнуть мимо на резиновых каблуках, как щеки Марты залились ярким румянцем. Она заметила, словно про себя:

— Терпеть не могу блондинок!

Шли дальше, то молча, то разговаривая, но Антон несколько раз заметил, что жена ловит его взгляд, внимательно разглядывая тех, кто привлек его внимание.

Обед был уже готов. В столовой парадно белел стол, а на нем в высокой хрустальной вазе краснели свежие розы. Это был сюрприз — свежая скатерть, а особенно цветы в такую осеннюю пору! Антон к этому не привык.

Он удивленно взглянул на жену, она, словно избегая ответа, опустила глаза и выбежала в кухню.

Настал вечер. Антон и ждал Марту к себе и не ждал. Его желания двоились. Хотелось продолжать рассказ и хотелось затаить в себе все пережитое, как что-то дорогое, только ему понятное и ценное.

Но Марта вошла. Веселая, немного взволнованная, глаза блестели.

— Ну, вот и я!

Села, напряженно выпрямившись, в кресле и посмотрела на мужа.

— Пришла дослушать твой сон.

Казалось, он колебался, тогда она, желая заставить его говорить, снова спросила:

— Ты не сказал мне даже, как звалась твоя блондинка?

— Моя блондинка?

— Ха-ха! Твоя блондинка.

— Я не знаю. Я не спрашивал.

— Ни за что не поверю. Вы же были все время вместе.

— Что же из этого? Я не интересовался именем. Когда мы встречались, наши взгляды одинаково пили блеск солнца и моря — нам этого было достаточно. Мы вместе пили красоту из зеленой чаши, где зреет сок винограда, лимонов и апельсинов. Это нас соединяло... Что же еще тебе рассказать?..

Замолчал на минуту и начал снова:

— Обычно мы встречались утром, брали лодку и уплывали в море. Небо было синее моря, море было — синее неба. Мне казалось, они завидуют друг другу. Вдали трепетали паруса лодок, как крылья голубей в небе. Мы плыли вдоль серых скал, окаймленных рядом цветных моллюсков. Море колыхалось. И как только оно отбегало от скалы, та открывала розовые десны. Но тотчас же мягким любовным движением, как поцелуем, море снова закрывало этот свежий, здоровый рот.

Теперь с моря мы лучше видели остров. Солнце превращало простой камень в мрамор и заставляло его питать пробивавшуюся поросль. Он, казалось, дрожал весь от напряжения творческих сил, и только временами, когда на нем блуждали тени облаков, стихала оргия солнца, блеск красок, и это был короткий минутный отдых.

Отсюда нам стали понятнее вечные набеги моря на остров. В любом настроении оно неизменно ударяло о камень, вечно грызло его. Подгробало под себя камни и покрывало водой. Мы проплывали над ними. Как укрощенные чудища, лежали они на дне, тихие, смирные, бессильные, и покорно давали окутывать себя рыжей шерстью водорослей. Стертые в гальку камни серели на берегу, а там, где море успело перемолоть их в белый песок, волны играли над ним голубым огнем победы. Высокие скалы, гордо нависавшие над морем, сдались наконец: море выгрызло в них высокие и глубокие гроты. Даже не гроты, а целые храмы для культа фантазии. Мы заплывали туда. Ложились на дно лодки и минуту спустя попадали в сказочное царство. Там были чудеса, в которые и не поверишь сразу. Там воды горели сапфиром или изумрудом, там была пена цвета розы, своды, озаренные таинственным сиянием, зеленым, голубым, там вода серебрила лодку, весла и наши руки. Переливалась радуга, сверкали драгоценные камни, играли бриллианты, а разноцветные моллюски украшали подводные скалы своими телами.

У Голубого грота море поднималось, то и дело вливая в него серебро своих волн. Наш проводник брался за цепь, чтобы провести лодку, мы поднимались на хребте волны, и море сразу вносило нас в тесный проход. Она летела среди брызг и пены, скрежеща и ударяясь бортами

о скалы, и наконец, успокоенная, тихо покачивалась, как лебедь. Первое, что я заметил, когда поднялся, — это белые зубы моей спутницы, — их обнажила радость лазури. Может быть, и у меня так же сверкали зубы. Даже наверно. У меня нехватает слов описать тебе Голубой грот. Если бы ты могла создать тяжелый свод из литого серебра, расплавить дорогую бирюзу, чтобы она переливалась и играла огнями и бросала голубоватый металлический цвет на стены, если бы тебе удалось собрать с неба и с морской глади всю лазурь, чтобы насытить ею воздух пещеры, ты получила бы лишь слабое подобие этого грота. А как светилось тело в этой воде! Оно горело синим огнем. Мы колыхались в лодке, словно плавали в небе, черпали пригоршнями воду, а рассыпали дождь самоцветов. Серебряная волна то и дело вносила в грот другие лодки. А мы смотрели, как из них поднимались люди, и радость лазури обнажала их зубы...

Для разнообразия мы уходили в море ловить рыбу. Опускали лесу в глубину, и когда рыба клевала, леса билась на пальце, как пульс. Мы их вытаскивали на солнце, этих ярких, расписных рыбок, более похожих на экзотические цветы, чем на рыб, трехцветных виол, красных чертей и кардиналов, собачьих рыбок и королевских; мы собирали со дна моря роскошные букеты.

Возвращались опаленные солнцем, овеянные ветром, соленые от морской воды...

Но случалось, что спутница не приходила... Тогда...

Антон оборвал. Снова поднялся с кресла и заходил по комнате тяжелым, четким шагом, будто втоптывал в землю затаенные воспоминания.

— Тогда?.. — подхватила Марта брошенное слово.

Их глаза встретились на миг, столкнулись, как камень и огниво в жестокой борьбе...

— Тогда... — медленно цедя слово за словом, ответил Антон, — тогда я бродил один... Глухой, как скрипка, у которой оборваны струны... немой, как человек, неожиданно потерявший голос... Я звал ее, эту незнакомку... звал, чтобы вместе читать книгу красоты, которая без нее оставалась для меня закрытой. Я смотрел и не видел. Я ее звал, а она не приходила...

Марте показалось, что Антон даже вздохнул.

— Соединили нас снова лунные ночи. Я сидел где-то

на скале. Месяц еще не взошел. Хор цикад мягко стрекотал в сухой траве, а одна цикада, покрывая все, звонко тянула свою ноту, и казалось, между землей и небом, над замершим морем, дрожит и звенит бесконечная се-ребряная струна.

— Вам грустно? — услышал я знакомый голос из-за выступа скалы и тогда только ее заметил.

— Мне тоже грустно. Мы с вами, кажется, из породы таких же одиноких, как и наш остров.

Она села рядом и протянула руку к морю.

— Вы посмотрите, он все плывет. Вечно одинокий в морских просторах, а море все плещет в его края. И никуда не ведут от него пути. Разве вот месяц ночью построит золотой мост, соединит остров с чем-то далеким и неведомым. Но мост этот такой легкий, неверный, зыбкий, что только мечта может отважиться ступить на него и легким неслышным шагом уйти в даль...

Я услышал ее голос и перестал быть мертвым деревом скрипки. Она уже водила смычком своего воображения по натянутым струнам. Голос мой вновь ожил в груди, и глаза стали зрячими. Я видел, как восходил месяц, как море разостлало перед ним золотой ковер, а пальмы, взмахивая сотнями опахал, восклицали — «Осанна!» Почувствовал вдруг, как теплая волна воздуха, сотканная из лучей, запаха моря и диких трав, тихо пронеслась среди оливковых деревьев и ударила нам в лицо душистым прибоем. Увидел морщины Монте-Сола-ро, никогда его не старящие: все эти дикие камни, составившие полукруг античного театра, смотрящие на сцену моря, где месяц свершает свою извечную мистерию.

Антон задумался. Видимо, он старался что-то припомнить, напрягая память, и беспомощно молчал.

— Здесь в моем сне какой-то провал, — начал он виновато, — какая-то черная бездна. Не помню, что было. Я вдруг исчез, словно стертый с лица земли, исчезли со мной остров, море и она. Все провалилось в бездну.

Не помню, как я очутился в лодке. Не я, а мы. Мы были вдвоем. Месяц висел над морем. Далекie скалы стали ближе. Фиолетовые складки легли на их поверхность, и какая-то теплая, материнская забота заставила их наклониться над морем. Какая-то нежность соединила сушу и море, примирение и печаль. И медленно,

пока месяц поднимался и бледнел, поднимались и бледнели скалы. Вытянулись острые вершины, стали отчетливее отдельные камни, превратились в белый мрамор, оделись резьбой, — и поднялся перед нами остров из моря — весь, как Миланский собор. А месяц вымостил к нему дорогу золотом.

Наши весла тихо плескались в море. Под ними вырывались огни. Частые, маленькие, зеленые, как светляки ночью в конце июня.

Мы нарочно направляли лодку на тени, там ярче вспыхивали огни. Казалось, весла выгребали скрытые в море сокровища. Она расстегнула рукав, засучила до самого плеча и погрузила в воду руку, голубую от лунного света.

— Смотрите! — вскрикивала и пропускала сквозь пальцы веселые, мгновенно гаснущие огни.

— Теперь мы как боги! — смеялась она. — Кричите: «Да будет свет!»

— Да будет свет! — повторял я за ней и погружал руку в море.

Перегибаясь за борт лодки, мы были так близко друг от друга, что чувствовали на щеках легкое прикосновение волос и теплоту лиц, и смотрели, как загораются в таинственной глубине и скользят у нас между пальцев зеленые искры, одна, другая, десятая...

Потом я вынимал руки, с них стекала вода, брался за весла и греб дальше, рассыпая ливень искр.

Порой наша лодка натыкалась на рыбачью. Ее фонарь бросал красный свет на море, на снасти, канаты, борт баркаса и на славное, обветренное лицо.

— Счастливого лова! — кивала она головой рыбаку.

— Пусть Мадонна и вам пошлет счастья! — отзывался глубокий голос, и черная шляпа степенным движением прорезала свет.

Мы заплывали в гроты. В них было темно до черноты. Но стоило только потревожить этот черный сон, как он загорался целым пожаром, снопами искр и превращал воду в звездную ночь.

В «Гроте святых» нами овладел мистический, таинственный ужас. Мы только днем видели этот морской склеп, где камни напоминали уснувших людей. И сейчас там так же тихо дремали каменные люди. Так же лежала

навзничь спящая женщина, покрытая тканью, а по ее коленям и покрывалу блуждал луч месяца. В глубокой дреме склонился белый старец, горестно сжимая ладонями голову. В вышине, под сводами готического храма, мерцал свет невидимых лампад, и все блуждало по стенам, будто ветер качал лампы. Через зеленую, прорезанную светом месяца, воду мы видели, как дремлет на дне нагая женщина с ребенком на коленях, и свет скользил по ее округлым бедрам. Из черных, тайных уголков грота беспрестанно всплывали зеленые звезды и тихо гасли...

Потом мы выплывали в море. Далеко в его просторе светились огни рыбацких лодок. Море нас слегка колыхало, а мы сидели плечом к плечу, и наш трепет сливался воедино. И когда я взглянул на нее, то близко перед собой увидел ее губы, такие красные, что даже ночь...

Марта не дала ему договорить.

Она поднялась, бледная и строгая.

— Ты целовал ее?

В ее вопросе была боязливая уверенность.

Смотрела на него, словно хотела выпить скрытый яд из его глаз, и рука ее тяжело опустилась на стол.

Антон тоже вскочил. Что-то горячее, неистовое ударило ему в голову. Жестокое и острое, как отточенный нож, желаящий нанести рану.

— Да, целовал!.. — вне себя крикнул он жене. — Целовал, слышишь? Я целовал уста, говорившие моему сердцу, знавшие язык моей души... Разве я не вправе? Разве они того не стоят? Ты хотела бы, чтобы я навсегда онемел, как камень, как ты?.. Нет, я еще живой... слышишь, живой!.. Я целовал!

Он чувствовал, что ранит ее, и сладко замирал от жестокой радости.

Марта закрыла лицо руками. Громко плача, упала в кресло, а он смотрел на вздрагивающие от рыдания плечи и чувствовал облегчение.

Потом, вдруг опомнившись, бросился к жене.

— Что ты? Марточка... Марта! Не надо... Ну, что ты... это же только сон...

Но Марта отшатнулась от него и злобно топнула ногой.

— Прочь! Не смей прикасаться ко мне.

— Ну, полно же, Марта... — просил Антон, стараясь

отнять руки от ее лица... — Пойми же, что это только снилось, что ничего этого не было...

Но Марта рыдала все громче. Она не хотела слушать.  
— Ты ее целовал...

Он стоял на коленях, стараясь успокоить жену, оторвать ее руки от лица. И ему стало досадно на себя.

— Не будь ребенком, Марта. Пойми, наконец, что ты говоришь вздор, что за сны никто не отвечает...

Она как будто успокоилась, вытерла платком глаза и, отстранив руки Антона, поднялась с кресла.

— Я понимаю, что это был сон, — сказала холодно. — Но ты способен сделать то, что тебе снилось...

И хотела выйти из комнаты.

Тогда Антон загородил ей дорогу. Нет, он не выпустит ее. Если на то пошло, им нужно поговорить откровенно. Возможно... Возможно, что во сне он оставался самим собой и способен на такой поступок, но виновата в этом она...

Она? Ха-ха!

Она. Она не умела уважать жизнь, сохранять ее красоту. Ежедневно засоряла ее только мелочами, ненужными, житейскими дрязгами, пока не превратила ее в мусорную яму. Поэзия не может жить в мусорной яме, а без поэзии жизнь — преступление.

Марта кипела злостью.

А он? Разве он не замыкался от нее, не скрывал живую воду своей души, как скряга, который боится, как бы кто чужой не увидел его добра? Почему же виновата только она?

Нет, вначале он был другой, но нельзя вырастить цветы на безводной почве. Они увянут. Он понимает, что без прозы трудно прожить. Пусть будет наверху пена, но под ней в кубке должно играть чистое вино, и тот, кто разбавляет его беспрестанно водой, лишает вино вкуса.

За окнами бушевала осенняя непогода, и только в одной этой комнате, душной и дымной, среди сонного царства детских кроваток шла битва неудовлетворенных душ.

Они напоминали друг другу мельчайшие вины, грехи против духа святого, упрекали друг друга в равнодушии, винули в своем одиночестве и одичании среди житейского болота.

— Ты обросла буднями, как корой, — кричал Антон.

— А ты был дома только нахлебником.

Им было душно. Антон расстегнулся. Растрепанный, он носился по комнате, словно хотел раздвинуть плечами тесные стены, и длинные волосы гнались за ним в этом беге.

Марта покраснелась, вспотела, вытирала платочком шею и сверкала глазами.

— Ты... ты, как Цирцея, хотела превратить меня в свинью.

— Иди, целуйся с кем хочешь... мне все равно!

Они поссорились.



Теперь между ними часто возникали несогласия. Дикие, страстные ссоры, как молния, рассекали их жизнь, до сих пор такую спокойную, однообразную, «счастливую», как еще недавно думала Марта. Но стоило только прошуметь буре, чтобы сердце Марты, омытое слезами, цвело и молодело. Как бывала она счастлива, когда между двумя ссорами, хоть на минуту, ей удавалось найти общий с Антоном язык!

Марта ревновала Антона. Упорно, затаенно, горячо — ко всем и всему. К встречным женщинам, к природе, к вечерам, когда он заперался в своей комнате, к его мыслям и мечтам. Ей хотелось обладать им только для себя, нераздельно, полностью. Она не была в нем уверена. Вечно ее тревожили какие-то опасения, делали немного чужой для мужа. Теперь Антон не видел по утрам голых ног жены, не слышал скучных и прозаических снов, не подбирал по всем комнатам юбок. Что-то молодое, прежнее, девичье появилось, бродило в Марте, уничтожив покой, еще недавно столь желанный. Но в том, что она чувствовала необходимость снова добыть давно приобретенное в собственность, таилась новая привлекательность, отзвук ее весны. Она не знала, надолго ли останется сил, отшумят ли когда-нибудь бури, но теперь все чаще на их столе алели розы...

28 мая 1911 г.

Чернигов.



## ТЕНИ ЗАБЫТЫХ ПРЕДКОВ

Иван был девятнадцатым ребенком в гуцульской семье Палийчуков. Двадцатым и последним была Аннычка.

Кто знает, вечный ли шум Черемоша и жалобы горных потоков, наполнявших одинокую хату на высокой лысой горе, или печаль черных пихтовых лесов пугали дитя, только Иван все плакал, кричал по ночам, плохо рос и глядел на мать таким глубоким старчески-умным взором, что она в тревоге отводила от него глаза. Не раз она со страхом думала даже, что это не ее ребенок. Не береглась баба рожая, не обкурила хаты, не зажгла свечи, и хитрая бесовка успела подменить ее дитя своим чертенком.

Плохо росло дитя, а все же подрастало, и не успели оглянуться, как пришлось шить ему штаны. Но оно было попрежнему странным. Глядит прямо перед собой, а видит что-то далекое и неведомое никому, или без причины кричит. Штаны с него спадают, а оно стоит среди хаты, закрыв глаза, разинув рот, и верещит.

Мать тогда вынимала трубку изо рта и, замахнувшись на ребенка, сердито кричала:

— Чтоб тебе ни дна ни покрышки! Подмененный! Пропади ты пропадом, исчезни с глаз моих!

И он исчезал.

Катился по зеленым лужкам, небольшой, белый, словно шарик одуванчика, бесстрашно забирался в темный лес, где пихты шевелили над ним ветвями, как медведь лапами.

Оттуда смотрел на горы, на ближние и дальние вершины, голубевшие в небе, на черные пихтовые леса с их синим дыханием, на ясную зелень лужков, блестящих, словно зеркала, в рамках деревьев. Под ним, в долине, кипел холодный Черемош. По далеким холмам дремали на солнце одинокие селенья. Было так тихо и грустно, черные пихты беспрестанно поверяли грусть свою Черемошу, а он разносил ее по долинам и рассказывал.

— Ива!.. мо-ой!..— звали Ивана домой, но он этого не слышал, собирал малину, шелкал листьями, делал дудочки или пишал в травинку, подражая голосам птиц, всем звукам, слышанным в лесу. Едва заметный в лесной зелени, собирал цветы и увенчивал ими свою кресаню, а утомившись, ложился где-нибудь под сеном, сохшим на острове<sup>1</sup>, и пели ему, клоня ко сну, и пробуждали его своим звоном горные потоки.

Когда Ивану минуло семь лет, он уже глядел на свет иначе. Он уже знал многое.

Умел находить целебные растения — валерьяновый корень, белладонну, луговую герань, понимал, о чем кричит коршун, откуда берется кукушка, и, когда рассказывал об этом дома, мать неуверенно поглядывала на него: может быть, это «тот» с ним беседует. Знал, что на свете властвует нечистая сила; что Аридных правит всем; что в лесах полно леших, пасущих там свою скотинку: оленей, зайцев и коз; что там бродит веселый Чугайстыр, приглашает первого встречного потягивать и разрывает мавок; что живет в лесу голос топора. Выше, на безводных вершинах, мавки заводят свои бесконечные пляски, а по скалам прячется чорт. Мог бы рассказать и про русалок, выходящих в хорошие дни из воды на берег, чтобы петь песни, придумывать сказки и молитвы, об утопленниках, которые после захода солнца сушат бледное тело свое на речных камнях, заселяют скалы, леса, ущелья, хаты и огороды. Всякие злые духи подстерегают христианина или скот, чтобы сделать им зло.

Не раз, проснувшись ночью среди враждебной тишины, он дрожал, объятый страхом.

---

<sup>1</sup> Острев а—сухая пахта с сучьями, на которой сушится сено.

Всё свет был, как сказка, полон чудес, таинственен, занятен и страшен.

Теперь у него уже были обязанности — его посылали пасти коров. Гнал в лес своих «жовтаню» и «голубаню», и когда они утопали в волнах лесных трав и молодых пихточек и уже оттуда откликались, как из-под воды, печальным звоном своих колокольцев, он садился где-нибудь на склоне горы, доставал дудочку и наигрывал немудреные песни, которым научился у старших. Однако эта музыка не удовлетворяла его. ☹ досадой бросал дудочку и слушал иные мелодии, жившие в нем, неясные и неуловимые.

Снизу подымался к Ивану и заливал горы глухой гомон реки, а в него по временам капал прозрачный звон колокольцев. Сквозь пихты глядели грустные горы в печальных тенях, отброшенных облаками, постоянно стиравших бледную улыбку лугов. Настроение гор ежеминутно менялось: когда смеялся луг — хмурился лес, и как трудно было разгадать это подвижное лицо гор, как трудно было ребенку уловить фантастическую мелодию песни, которая вилась, шевелила крылышками у самого уха и не давалась.

Однажды он оставил своих коров и поднялся на самую вершину. По едва заметной тропинке поднимался все выше и выше, среди густых зарослей бледного папоротника, колючей ежевики и малины. Легко перескакивал с камешка на камешек, перелезал через упавшие деревья, продирался сквозь кусты. За ним поднимался из долины вечный шум реки, росли горы, и уже вставало на горизонте голубое виденье Черной горы. Длинная плакучая трава покрывала склоны, колокольчики коровы казались далекими вздохами, все чаще попадались большие камни, образовавшие дальше, на самой вершине, хаос разрушенного скала, разрисованных лишаями, сжатых змеиными объятьями пихтовых корней. Под ногами у Ивана каждый камень покрывали рыжеватые мхи, густые, мягкие, шелковые. Теплые и нежные, они таили в себе позолоченную солнцем воду летних дождей, мягко уходили под ногой и обнимали ее, как пуховая подушка. Кудрявая зелень брусники и черники запустила свои корешки в глубину мхов, а снаружи рассыпала росу красных и синих ягод.

Здесь Иван сел отдохнуть.

Нежно звенела над ним хвоя пихт, и шум ее смешивался с шумом реки, солнце налило золотом глубокую долину, зазеленели травы, где-то курился синий дымок костра. Из-за Игреца бархатным гулом катился гром.

Иван сидел и слушал, совсем забыв, что должен стеречь коров.

И вот внезапно в этой звонкой тишине услышал он тихую музыку, которая так долго и неуловимо вилась около его уха, что даже причиняла ему боль. Застывший, недвижимый, он вытянул шею и с радостным напряжением ловил удивительную мелодию песни. Так люди не играли, он по крайней мере никогда не слышал. Но кто же играл? Вокруг только лес, не видно было ни живой души. Иван оглянулся и окаменел. Верхом на камне сидел «тот» — чорт, скривив острую бородку, пригнув рожки и, зажмурясь, дул в свирель. «Нет моих коз... Нет моих коз...» — разливалась печально свирель. Но вот рожки поднялись, щеки раздулись и раскрылись глаза. «Есть мои козы... есть мои козы...» — запрыгали радостно звуки, и Иван со страхом увидел, как, раздвинув ветки, затрясли головами бородастые козлы.

Он хотел бежать и не мог. Сидел, прикованный к месту, и кричал немым криком от холодного ужаса, а когда, наконец, вернулся к нему голос, чорт взвился и вдруг исчез среди скал, а козлы обратились в корни деревьев, поваленных ветром.

Иван неся теперь без памяти вниз, словно слепой, разрывал предательские объятия ежевики, ломал сухие сучки, скатывался по скользким мхам и со страхом слышал, что за ним кто-то гонится. Наконец упал. Сколько лежал — не помнил.

Очнулся и, увидев знакомые места, успокоился немного. Удивленный, прислушивался некоторое время. Песня, казалось, уже звенела в нем самом. Он достал дудочку. Сперва не выходило, мелодия не давалась. Начинать играть сызнова, напрягал память, ловил какие-то звуки, и когда, наконец, нашел, что давно искал, что не давало ему покоя, — тогда по лесу поплыла странная, никому еще не известная песня; радость проникла в его сердце, залила солнцем горы, лес и травы, заклокотала в потоках, заставила Ивана вскочить, и он, забросив

дулочку в траву и полбоченясь, закружился в пляске. Перебирал ногами, легко поднимался на цыпочки, бил босыми пятками о землю, откалывал разные фигуры, вертелся и приседал. «Есть мои козы... есть мои козы...» — что-то пело в нем. На солнечном пятне полянки, закрывшемся в хмурое царство пихт, прыгал русский хлопчик, словно мотылек порхал со стебля на стебель; обе коровы — «биланя» и «голубаня», — раздвинув головами ветки, ласково глядели на него, жуя жвачку и позванивая колокольцами в такт его танцу.

Так нашел он в лесу то, что искал.

У себя дома Иван часто был свидетелем тревог и несчастий. На его памяти уже дважды около хаты грубила трембита<sup>1</sup>, оповещая горы и доли о смерти: однажды, когда брата Олексу придавило деревом в лесу, а второй раз, когда братчик Василь, славный веселый хлопец, погиб в битве с вражеским родом, зарубленный топориками. Это была старая вражда между их родом и родом Гутенюков. Хотя вся его семья кипела отвагой и ненавидела тот дьявольский род, но никто не мог обстоятельно рассказать Ивану, откуда пошла вражда. Он тоже горел желанием отомстить и, готовый броситься в битву, хватался за еще тяжелый для него отцовский топорик.

Это неверно, что Иван был девятнадцатым у отца, а Аннычка двадцатой. Их семья была небольшая: стариков двое да пятеро детей. Остальные пятнадцать покоились на погосте у церкви.

Все они были богомольны, любили ходить в церковь, особенно на престольный праздник. Там можно было увидеться с дальним родом, осевшим в окрестных селениях, да и представлялась возможность отплатить Гутенюкам за смерть Василя, за кровь Палийчуков, которая струилась не один раз.

Доставалась лучшая одежда, новые красные штаны, расшитые овечьи безрукавки, украшенные гвоздиками, пояса и сумки, затканые канителью запаски, красные платки шелковые и даже пышная белоснежная свитка, которую мать бережно несла на палке за плечом. Иван тоже получал кресаню и большую сумку, бившую его по ногам.

---

<sup>1</sup> Длинная, в сажень, труба из дерева.

Седлали лошадей, и по обгороженным тропинкам, по зеленому хребту двигался пышный поезд и украшал тропу словно красными маками.

По горам, по долам, по вершинам тянулись празднично одетые люди. Зеленая отава лугов вдруг расцветала, вдоль Черемоша двигался разноцветный поток, а где-то высоко, на черном покрывале пихт, жарко горела на утреннем солнце красный гуцульский зонтик.

Вскоре увидел Иван встречу враждующих родов.

Они уже возвращались из церкви, отец немного выпил.

Внезапно на узкой дорожке между скалой и Черемошем произошла давка. Повозки, конные и пешие, мужчины и женщины остановились и сбились в груды. В яростном крике, поднявшемся тотчас же, как вихрь, неизвестно отчего, блеснули железные топорики и заскакали перед самым лицом. Как кремь и огниво, встретились друг с другом роды — Гутенюки с Палийчуками, и прежде чем Иван успел опомниться, отец замахнулся и ударил кого-то плешмя топориком по голове, из которой брызнула кровь, залила лицо, сорочку и пышную безрукавку. Ахнули женщины, кинулись растаскивать, но человек с лицом, таким же красным, как его штаны, уже бил врага по голове, и зашатался Иванов отец, как подрубленная пихта. Иван бросился в битву. Не помнил, что делает. Что-то влекло его вперед. Но взрослые отравили ему ноги, и он не мог пробиться туда, где дрались. Все еще разгоряченный, охваченный злобой, он с разбегу наскочил на маленькую девочку, дрожавшую от страха около самой телеги. Ага! Это, наверно, Гутенюкова девочка! И не раздумывая долго, ударил девочку по лицу. Ее лицо перекосилось, она прижала руками рубашку к груди и пустилась бежать. Из-за пазухи выпали новые ленты, а девочка с криком бросилась их защищать. Он вырвал их у нее и бросил в воду. Тогда девочка поглядела на него исподлобья каким-то глубоким взглядом черных матовых глаз и спокойно сказала:

— Ничего... у меня есть другие... те даже лучше.

Она точно утешала его.

Удивленный ее кротостью, мальчик молчал.

— Мне мама купила новую запаску... и постолы... и чулки с узорами... и...

Он все еще не знал, что сказать.

— Я оденусь красиво и стану девишей...

Тогда ему завидно сделалось.

— А я умею играть на дудочке.

— А наш Федор сделал такую хорошую свирель... и как заиграет!

Иван надулся.

— А я чорта видел.

Она недоверчиво поглядела на него.

— А зачем ты дерешься?

— А ты зачем у воза стояла?

Она подумала немного, не зная, как ответить, и начала искать что-то за пазухой.

Наконец достала большую конфету.

— Смотри-ка!

Половину откусила, а другую медленным, полным доверия движеньем подала ему.

— На!

Он колебался, но взял.

Теперь они уже сидели рядышком, забыв про вопли битвы и сердитый шум реки, а девочка рассказывала, что зовут ее Маричка, что она пасет уже овец, что какая-то Марцынова — кривая — украла у них муку... и т. д.; обоим все это было интересно и понятно, а взгляд ее черных матовых глаз мягко проникал в Иваново сердце...

И в третий раз затрубила трембита о смерти в одинокой хате на высокой горе: на другой день после битвы умер старый Палийчук.

Трудные времена настали для семьи Ивана после смерти хозяина. Свила гнездо беспорядок, уходили достатки, продавались лужки один за другим, и скот таял, как в горах весною снега.

Но в Ивановой памяти смерть отца не так долго жила, как встреча с девочкой, которую он напрасно обидел, а она движением, полным доверия, протянула ему конфету. В его давнюю и беспричинную грусть влилась новая струйка. Она бессознательно влекла его в горы, заставляла бродить по соседним склонам, лесам и долинам, где бы он мог найти Маричку. И он увидел ее наконец: она пасла ягнят.

Маричка его встретила так, как будто давно ждала; он будет с нею пасти овечек. И верно! Пускай «жовта-

ня» и «голубаня» звенят колокольцами и мычат в лесу, он будет с нею пасти ягнят.

И как они их пасли!

Белые ярки, сбившись в тень, под пихту, глядели глубокими глазами, как катались по мхам двое детей, звеня в тишине молодым смехом. Утомившись, они забирались на белые камни и робко заглядывали оттуда в пропасть, из которой стремительно подымалось в небо черное виденье горы и дышало синью, не желавшей таять на солнце. В расщелине между горами летел в долину поток и тряс на камнях седой бородой. Так было тепло, одиноко и жутко в вековечной тишине, хранимой лесом, что дети слышали собственное дыханье. Ухо упорно ловило и увеличивало до бесконечности всякий звук, живущий в лесу, и иногда казалось им, что они слышат тайные шаги, глухие удары топора, тяжелые вздохи таинственных лесорубов.

— Слышишь, Ива? — шептала Маричка.

— Почему бы не слышать? Слышу.

Они оба знали, что это бродит по лесу невидимый топор, стучит по деревьям и тяжело дышит.

Страх гнал их оттуда в долину, где поток бежал спокойнее. Они разгребали камни в потоке, чтобы было глубже, и раздевшись, болтались в нем, как два лесных звереныша, не знавших, что такое стыд. Солнце отдыхало на их светлых волосах, било в глаза, а ледяная вода потока шипала тело.

Маричке первой становилось холодно, и она начинала бегать.

— Стой, — кричал ей Иван, — откуда ты?

— Я из Я-во-рова, — стучала зубами синяя Маричка.

— А чья ты?

— Кузнецова.

— Будь здорова, Кузнецова, — шипал ее Иван, и они бегали оба до тех пор, пока усталые, но согревшиеся, не падали в траву.

В тихой заводи ручейка, над которым горела мать-мачеха солнечным светом и синел борец кистью башмачков, жалобно звенели-кучкали лягушки.

Иван наклонялся над потоком и спрашивал лягушку:



— Кума кума, что варила?

— Бурак-борщ. Бурак-борщ. Бурак-борщ... — квакала Маричка.

— Бураки-ки-ки!.. Бураки-ки-ки!.. Бураки-ки-ки!.. — кричали оба, зажмурившись, даже лягушки удивленно замолкали.

И так они пасли, что не раз теряли овец.

Когда они старше стали, игры их изменились.

Теперь Иван был уже хлопец — стройный, крепкий, как пихточка, мазал кудри маслом, носил широкий пояс и пышную кресаню. Маричка тоже уже ходила в заплитках, а это означало, что она готовилась стать невестой.

Уже не пасли вместе ягнят, а встречались лишь в праздник или в воскресенье. Сходились у церкви или где-нибудь в лесу, чтобы родители не знали, как любятся дети враждующих родов. Маричке нравилось, когда он играл на свирели. Задумчивый, устремлял глаза куда-то мимо гор, словно видел, чего не видели другие, прикладывая резную дудку к пухлым губам, и странная песня, которую никто не играл, тихо лилась на зеленую отаву лугов, где спокойно стелили свои тени черные пихты. В холод бросало, и мороз шел по коже, когда вылетали первые свистящие звуки. Слово снега лежали на мертвых горах. Но вот из-за горы встает уже бог-солнце и слушает, приложившись ухом к земле. Зашевелились снега, пробудились воды, и зазвенела земля от пения потоков. Рассыпалось солнце цветочной пылью, легкой поступью ходят в пляске по лугам мавки, а под ногами у них зеленеет первая трава.

Зеленым духом дохнули пихты, зеленым смехом засмеялись травы, во всем мире только два цвета: в зеленом — земля, в голубом — небо... А внизу Черемош мчится, гонит зеленую кровь гор, тревожную и шумную...

Трембита!.. Туру-рай-ра... туру-рай-ра...

Заиграло сердце у пастухов, заблеяли овцы, почуяв свежий корм.

Шумит трава на холодных пастбищах, а из диких буреломом, из берлоги поднимается на задние лапы медведь, пробует голос и уже видит заспанным оком свою добычу.

Бьют ливни весенние, грохочут громом горные вершины — и злой дух холодом веет с Черногоры. А гут внезапно появляется солнце — праведный лик божий — и уже звенит косами, под которыми ложится на землю трава.

С горы на гору, от родничка к родничку порхает коломийка, такая легкая, прозрачная, что слышно, как у нее за плечами трепещут крылышки.

Ой прибiгла з полонинки  
Бiлая овечка —  
Люблю тебе, файна любко,  
Та й твої словечка...

Тихо звенит хвоя пихт, тихо шепчут в лесу холодные сны летней ночи, плачут колокольцы коров, и гора беспрестанно поверяет грусть свою потокам.

С шумом и стоном валится куда-то в долину срубленное дерево, даже горы вздыхают в ответ — и снова плачет трембита. Теперь уже о смерти. Заснул кто-то навсегда после тяжелого труда. Около Менчила кукушка куковала, и песенка чья-то навеки замолчала.

Маричка отвечала на игру свирели, как голубка дикому голубю, песнями. Она их знала множество. Откуда они брались — не могла рассказать. Они, должно быть, качались вместе с ней еще в зыбке, плескались в купели, возникали в ее груди так, как самосевом всходят цветы на лугах, как пихты растут по горам. И что бы на глаза ни попало, что бы ни случилось на свете: пропала ли овца, полюбил ли хлопец, изменила ли девушка, заболела корова, зашумела пихта, — все выливалось в песню, легкую, простую, как эти горы в их старом, первобытном бытии.

Маричка сама умела придумывать песни. Сидя на земле рядом с Иваном, она обнимала свои колени и тихо покачивалась в такт. И круглые икры, обожженные солнцем и голые от колен до красных онучей, темнели под краешком рубашки, и особенно милым становился излом полных губ, когда она начинала:

Зозулька ми закувала сива та маленька.  
На все село iскладена piсенька новенька.

Песня Марички рассказывала о хорошо знакомом случае, еще свежем: как околдовала Андрия Параська, как он умирал от этого и учил не любить чужих молодых; или о горе матери, сын которой погиб в лесу, придавленный деревом. Песни были печальные, простые, полные воплей. Разрывали сердце.

Она их, как обычно, кончала:

Ой кувала ми зозулька та й коло потічка.  
А хто ісклав співаночку? — Іванкова Марічка.

Она давно уже была Иванкова, еще с тринадцати лет. Что же в этом удивительного было? Пася скотину, видела часто, как любятя козел с козой, баран с овечкой — все было так просто, естественно, существовало с начала мира, и ни одна нечистая мысль не засоряла ее сердца. Правда, у коз и овец рождались после этого козлята и ягнята, но людям помогает ворожея. Маричка не боялась ничего. За поясом на голом теле она носила чеснок, над которым шептала знахарка, ей теперь ничего не повредит. Вспоминая об этом, Маричка лукаво улыбалась себе самой и обнимала Ивана.

— Сердце мое, Иванко! Будем мы парую?

— Бог даст, моя миленькая.

— Эй, нет! Великий гнев затаили в сердцах родители наши. Не миновать нам беды.

Тогда его глаза темнели, и топорик уходил в землю.

— И не надо их согласия. Пусть делают, что хотят, ты будешь моей.

— Ой, мой-мой! Что ты говоришь?

— Что слышишь, душенька.

И словно назло семье своей, он на танцах так отплясывал с девушкой, что даже постолы разлезались.

Однако не все складывалось так, как думал Иван. Хозяйство его рушилось, уже нехватало на всех работы, и надо было итти внаймы.

Печаль грызла Ивана.

— Должен итти в пастухи, Маричка, — грустил он заранее.

— Что ж, иди, Иванко, — покорно говорила Маричка. — Такая уж наша судьба...

И она песнями скрашивала их разлуку. Ей было жалко, что надолго прекратятся их встречи в тихом лесу.

Обнимала Ивана и, прижимаясь к его лицу русой головкой, тихо пела над его ухом:

Ізгадай мні, мій миленький,  
Два рази на днину,  
А я тебе ізгадаю  
Їм раз на годину.

— Будешь вспоминать меня?

— Буду, Маричка.

— Ничего! — утешала она его. — Ты должен, бедняжка, овец пасти, а я сено сгребать. Взберусь на копну да и посмотрю на горы, на лужок, а ты мне затруби... Может быть, услышу. А как пойдут мелкие дожди сеяться по горам, сяду, да и заплачу, что не видать милого. А как в погожую ночь выведет, взгляну, которая звезда над пастбищем, — ту видит Иванко... Только петь перестану...

— Зачем? Пой, Маричка, не теряй веселости своей, а я скоро вернусь.

Но она только грустно качала головой:

Співаночки мої милі,  
Де я вас подію?  
Хіба я вас, співаночки,  
Горами посю, —

тихо обращалась к нему Маричка.

Гой ви мете, співаночки,  
Горами співати,  
Я си буду, молоденька,  
Сльозами вмивати.

Маричка вздохнула и еще более печально добавила:

Ой як буде добра доля,  
Я вас позбираю,  
А як буде лиха доля,  
Я вас занехаю...

— Вот так и я... Может быть, и забуду...

Иван слушал тонкий девичий голос и думал, что она давно уже развеяла по горам песни свои, что их поют леса, и покосы, вершины и луга, ими звенят потоки, их напеваает солнце... Но придет пора, он вернется к ней, и она снова соберет песни, чтобы было чем отпраздновать свадьбу...

Теплым весенним утром пошел Иван на пастбище. Леса еще дышали тенями, горные воды шумели на порогах, а тропа радостно поднималась вверх среди изгородей. Хотя Ивану и тяжело было покинуть Маричку, однако солнце и шумная зеленая воля, поддерживавшая вершинами небо, вливали в него бодрость. Он легко перескакивал с камня на камень, словно горный поток, и приветствовал встречных, лишь бы только услышать собственный голос.

— Слава Иисусу!..

— Во веки веков слава.

На далеких холмах одиноко стояли тихие гуцульские дворы, вишневые от пихтового дыма, которым прокурились, острые крыши сараев с пахучим сеном, а в долине кудрявый Черемош сердито поблескивал сединой и мерцал под скалою недобрым зеленым огнем. Переходя поток за потоком, минуя хмурые леса, где звякал иногда колоколец коровы или белка осыпала с пихты шелуху от шишек, Иван подымался все выше. Солнце начинало печь, и каменистая тропинка натирала ноги. Теперь уже хаты попадались реже. Черемош серебряной нитью протянулся в долине, и шум его сюда не доходил. Леса уступали место горным лугам, мягким и пышным. Иван брел среди них, как по озерам цветов, нагибаясь иногда, чтобы украсить кресаню пучком красного мха или бледным венком из ромашек. Склоны гор уходили в глубокие черные чаши, где рождались холодные ручьи, куда не ступала человеческая нога, где нежился только бурый медведь — страшный враг скота — «вуйко». Вода встречалась реже. Зато как припал он к ней, когда находил родник, этот холодный кристалл, омывавший где-то желтые корни пихт и даже сюда доносивший гомон леса! Около такого родничка какая-то добрая душа оставляла горшок или криночку ряженки.

А тропка вела все дальше, куда-то в бурелом, где гнили друг на дружке голые колючие пихты без коры и хвои, словно скелеты. Пусто и дико было на этих лесных кладбищах, забытых богом и людьми, где только глухари тосковали да вились змеи. Тут были тишина, великий покой природы, строгость и грусть. За плечами

у Ивана уже росли горы и голубели дали. Орел подымался с каменных шпилей, благословляя их широким размахом крыльев, слышалось холодное дыхание пастбища, и разрасталось небо. Вместо лесов теперь стлался по земле можжевельник, черный ковер ползучих пихт, в котором путались ноги, и мхи одевали камень зеленым шелком. Далекие горы открывали одна за другой свои вершины, изгибали хребты, вставали, как волны в синем море. Казалось, морские буруны застыли как раз в то мгновение, когда буря подняла их со дна, чтобы кинуть на землю и залить мир. Уже синими тучами подпирала горизонт Буковинские вершины, окутались синевой ближние Синицы, Дземброня и Била Кобыла, курился Игрещ, колола небо острым шпилем Говерля, и Черногора тяжестью своей давила землю.

Пастбище! Он уже стоял на нем, на этом горном лугу, покрытом густой травой. Голубое море волнистых гэр обступило Ивана широким кругом, и казалось, что эти бесконечные синие валы движутся на него, готовые упасть к ногам.

Ветер, острый, как наточенный топор, бил ему в грудь, дыхание Ивана сливалось с дыханием гор, и гордость обуяла его душу. Он хотел крикнуть во все легкие, чтобы эхо прокатилось с горы на гору до самого горизонта, чтобы закачалось море вершин, но вдруг почувствовал, что его голос затерялся бы в этих просторах, словно комариный писк...

Приходилось спешить.

За холмом, в долинке, где ветер не так досаждал, он нашел стаю<sup>1</sup>, закопченную дымом. Дыра для выхода дыма чернела в стене холодным отверстием. Овечьи загородки стояли пустые, и пастухи возились там, устраниваясь, чтобы было где ночевать при овцах. Старший пастух был занят добываньем живого огня.

Приладив между дверью и косяком палку, двое тянули ремень поочередно, каждый в свою сторону, — отчего палка вращалась и скрипела.

— Слава Иисусу! — поздоровался Иван.

Но ему не ответили.

---

<sup>1</sup> Дошатый шалаш, в котором живут овчары и готовят сыр (брынзу).

Попрежнему жужжала палка, и двое, сосредоточенные и строгие, тем же движением тянули ремень, каждый к себе. Палка начинала дымиться, и вскоре небольшой огонек выскочил на нее и загорелся с обоих концов. Старший пастух благоговейно поднял горящую палку и воткнул в костер, разложенный у дверей.

— Во веки веков слава! — обратился он к Ивану. — Теперь у нас есть живой огонь, и пока он будет гореть, ни зверь, ни сила нечистая не тронет скота, да и нас, крещенных...

И ввел Ивана в шалаш, где от пустых бочонков, кадешек и голых лавок пахло запустеньем.

— Завтра пригонят скот, если б помог господь бог весь людям возратить, — откликнулся старший и рассказал, что Иван должен делать.

Было нечто спокойное, даже величественное в словах и жестах хозяина пастбища.

— Мико!.. — крикнул он в дверь, — разложи костер в стае...

Стройный кудрявый Микола с круглым женственным лицом внес в шалаш огонь.

— Ты ж кто, братчику, будешь, овчар? — поинтересовался Иван.

— Нет, я спузар, — показал свои зубы Микола. — Мое дело стеречь костры, чтоб не гасли все лето, иначе беда!... — Он даже с ужасом посмотрел вокруг. — Да ходить по воду к роднику, да в лес по дрова...

Тем временем костер на лугу разгорался. Полным значительности движеньем, как древний жрец, подбрасывал старший в него сухую пихту да свежую хвою, и синий дым легко поднимался, а затем, подхваченный ветром, натянулся на скалы, опоясывая черную полосу лесов, стелился по далеким голубым вершинам.

Пастбище начинало свою жизнь живым неугасимым огнем, который должен был его защищать от всего злого. И, точно зная это, огонь гордо извивался, как змея, и дышал все новыми клубами дыма...

Четыре сильные овчарки, расстелив в траве свои шубы, смотрели задумчиво на горы, готовые в один миг вскочить, оскалить зубы, ошетиниться.

День уже угасал. Горы меняли свое голубое убранство на розовые с золотом ризы.

Микола звал ужинать.

Тогда сошлись в стаю все пастухи и расположились вокруг живого огня, чтобы в мире вкусить свой первый кулеш на пастбище.

\* \* \*

Какое же это пастбище весной веселое, как овечки на него бегут из каждого селенья!

Высокий старший пастух, словно дух пастбища, обходит с огнем овчарню. Лицо у него серьезное, как у жреца, ноги ступают твердо, шаг его широк, а головня шипит над ним, как крылатый змей. Около ворот овчарни, там, где должны проходить овцы, старший оставляет огонь и прислушивается. Он слышит ход стада не только ухом. Он сердцем слышит, как из глубоких долин, где кипят реки да рвут берега, из тихих селений, с лужков катится вверх, на зов весны, живая волна скотинки, и под ногами у нее радостно дышит земля. Он чует далекое дыханье отары, мычанье коров и едва уловимые песни. А когда, наконец, показались люди и подняли длинные, позолоченные солнцем трембиты, чтобы приветствовать пастбище среди синих вершин, когда заблеяли овцы и шумным потоком залили все загородки, старший упал на колени и простер руки к небу. За ним склонились на молитву пастухи и люди, пригнавшие скот. Они просили бога, чтобы у овцы было такое горячее сердце, как горяч огонь, через который она переступала, чтобы господь милосердный защитил христианские стада на росах, на водах, на всех переходах от всякого лиха, зверя и случая. Как помог господь собрать скот в стадо, чтобы так же помог весь людям вернуть.

Ласково слушало небо чистосердечную молитву, добродушно хмурился Бескид, а ветер, пролетая, старательно причесывал травы на пастбище, как мать детскую головку..

\* \* \*

Ты, долинка у вершинки, ты чему так рада, не тому ли, что гуляет по лужайке стадо?

— Гись! Гись! — подгоняет пастух. Овцы лениво



подгибают колени, дрожат на тонких ножках и трясут руном Гисы! Гисы! — Голые морды, со старческим выражением скуки, открывают слюнявые губы, чтобы пожаловаться бог знает кому: бе-е.. ме-е... Два пастуха идут впереди. Красные штаны мирно прорезывают воздух, от движенья кланяется на кресане цветок. Выр! Выр!.. Овчарки нюхают ветер и одним глазом, искоса, поглядывают на овец — всё ли в порядке. Трется руно о руно белое о черное, волнуются пушистые спины, как в озере мелкие волны, и трепещет отара.. Птруа!.. Птруа!.. Гортанный оклик постоянно возвращает крайних в отару, держит разлив в берегах. Горы синеют вокруг, как море, ветер громоздит в небе облака. Дрожат курчавые овечьи хвосты, а головы все наклонились, и белые плоские зубы подгрызают под сгмый корень сладкий шафран, будяк, розовую кашку. Быр! Быр! Под ноги отаре стелет пастбище свой ковер, а она его накрывает движущимся рябым кожухом Хрум-хрусь... бе-е!.. бе-е!.. хрусь-хрусь... Тени облаков бродят по ближним холмам, передвигают их с места на место. Кажется, ходят горы, как валы в море, и только дальние неподвижно синеют, застыв на месте. Солнце залило овечье руно, разостлалось радугой на нем, зажгло травы зеленым огнем, за пастухами движутся длинные тени. Птруа!.. Птруа!.. Хрум-хрусь... хрусь-хрусь... Неслышно ступают пастухи в постолах, мягко катится шерстяная волна по лугу, и ветер начинает играть на далекой изгороди. Дзз...— поет он тонким голосом, задевая расколотую жердь; назойливо жужжит, как муха. Дзз...— вторит громко другая изгородь, наводя тоску. Облака растут, они уже закрыли полнеба, гаснет далекий Бескид и чернеет и хмурится в тенях, словно вдовец, а полянка еще молода. И спрашивает жалобный ветер в изгороди: «Почему не женишься, высокий Бескид?» — «Зеленая полянка за меня не пойдет», — печально вздыхает Бескид. Голубое небо зпачкано серым, море гор потемнело, поляна погасла, и отара ползет по ней, как серый лишай. Холодный ветер расправляет крылья, бьет прямо в грудь, проникая под безрукэвку. Так трудно дышать, что хочется повернуться к нему спиной. Пусть хлещет... Тонко затягивает песню изгородь, как муха в паутине, ноет боль нестерпимая, плачет одинокая грусть... Дзз... дзы-ы... Без передышки.

без конца. Выматывает жилы, и кроит, как ножом, сердце. Желал бы не слушать, и нельзя, хотел бы убежать, да где там? Гись-гись!.. А ты куда? Чтоб тебе лопнуть! Быр-быр!.. Мурка!.. Но Мурка уже бросилась вперед. Обгоняет овцу, ветер поднял на собаке шерсть, и овчарка уже поймала зубами овцу за загривок и бросила в отару. Дзз-ы-ы... Дззи-и-и... Так зубы болят однообразной и нестерпимой болью. Стиснул бы зубы и замолчал. Ной, выматывай душу, ни дна тебе ни покрышки. Почему изгородь плачет? Видно, это «тот» виноват, чтоб ему с места не сдвинуться! Вот так, кажется, упал бы на землю без сил, закрыл бы уши руками и заплакал... Ведь совсем измучился... Дзз-ы-ы!.. Дзи-и-и... Ой!..

Иван достает свирель и дует в нее изо всех сил, но тот, сумасшедший, сильнее его. Летит с Черногоры, как конь, не знающий узды, бьет копытами травы и разбрасывает гривой звуки свирели. А Черногора, словно ведьма, подмигивает бельмом — снеговым полем — изпод черных, растрепанных косм и пугает. Дзз-ы-ы... Дзи-у-у...

Закатились овцы в долинку, и здесь тише.

На сером небе показалось лазурное озеро. Острая луговая трава сильнее запахла. Озеро в небе выступило из берегов и уже широко разлило свои воды. Снова засинели вершины, а все долины налились золотом солнца.

Иван смотрит вниз. Там, где-то между горами, где люди, по зеленой отаве ходят белые ноги Марички. Ее глаза обращены к пастбищу. Поет ли свои песенки? А может быть, и впрямь развеяла их по горам, песни взошли цветами, а Маричка замолкла.

Ой, як будуть вівчарики  
Білі вівці пасти,  
Будуть мої співаночки  
За кресаню класти...—

вспоминается ему милый девичий голос, и он срывает цветок и украшает им свою кресаню.

Птруа.. Птруа... Печет. Становится душно. Катятся овцы, фыркают на ходу, вытягивают старческие губы, чтобы удобнее сорвать сладкий будяк, и оставляют за собой свежие орешки. Хрусь-хрусь... хрум-хрум... Трется

руно о руно, белое о черное, волнуются спины, как в озере мелкие волны... Бе-е... ме-е... а собаки все держат отару в берегах.

Утомились овчарки. Они ложатся, раздуваются их бока в траве. На длинный красный язык, свисающий между клыками, садятся мухи. «Быр! Быр!» — сердито кричит Иван, и собаки уже около овец.

Далеко, на полянке, под густым лесом, пасутся коровы. Бовгар<sup>1</sup> в задумчивости оперся на длинную трембиту.

Как медленно тянется время! Горный воздух прополоскал грудь, хочется есть. И как одиноко! Стоишь тут маленький, как былинка в поле. Под ногми зеленый остров, заливаемый голубыми водами далеких гор. А там, на суровых диких вершинах, куда нога человеческая не ступала, откуда вести не доходят, гнездится всякая нечисть, вражья сила, с которой трудно бороться. Одно остается — беречься...

Гись-гись! Трясут овцы зеленым полем и мягко ступают по траве постолы... Тишина такая, что слышно, как кровь течет в жилах. Одолевает дрема. Кладет мягкую лапку на глаза и на лицо и шепчет на ухо: спи... Овцы тают перед глазами... Вот уже они обратились в ягнят, а вот — ничего нет. Двигутся травы, как зеленая вода. Приходит Маричка. Ой, не обманешь, милая, ой, нет... Иван знает, что это лесная русалка, а не Маричка, что это она манит его. Что-то увлекает его за ней! Не хочет, а уже движется, как движутся травы зеленым потоком...

И вдруг дикий, предсмертный рев коровы пробуждает его. Что? Где? Бовгар как стоял, упершись трембитой в землю, так и застыл. Рыжий бык ударил ногами оземь, пригнул отвислую шею и поднял хвост. Он уже мчится на этот вопль, высоко скачет и рвет ногами траву. Режет ногами воздух. Бовгар встрепенулся и спешит за ним к лесу. Бахнул в лесу выстрел. Бах-бах-бах... Загремели из ружей вершины. Бах-бах-бах... — откликнулось вдаль, и все немеет. Тишина

«Наверно, «вуйко» зарезал корову», — думает Иван и пристально осматривает свою отару.

---

<sup>1</sup> Коровий пастух.

Птруа!.. Птруа!.. Солнце словно заснуло, ветер затих и перенесся с земли на небо. Он уже громоздит там тучи, такое же взволнованное море вершин, которое видел вокруг пастбищ. В бесконечных просторах исчезло время, и неизвестно, остановился ли день, или проходит...

Внезапно до слуха долетает долгожданный призыв трембиты. Он приносит запах кулеша и дыма, протяжным мелодичным трепетом повествует, что овчарки ждут овец...

Гись-гись... Мечутся псы, блеют овцы и льются перистым потоком в долину, тряся выменем, отяжелевшим от молока...

\* \* \*

Уже третьи сутки сеется на пастбище дробный, мелкий дождик. Закурились вершины, закуталось небо, и в сером тумане исчезли горы. Овцы едва двигались, тяжелые, полные воды, словно губки; одежда на пастухах стала холодной и заскорузла. Только и отдохнуть можно было под навесом в струнке<sup>1</sup> — во время доенья.

Иван сидит, прислонившись к доске, а ногами сжимает подоюник. Рядом с ним черный косматый козар<sup>2</sup>, за каждым его словом следует брань, а тут еще овчары. Нетерпеливые овцы, у которых прибывает молоко, протискиваются из загородки в струнку, чтобы их скорее подоили. Подождите, бедняжки, так дело не пойдет... надо по очереди.

«Рыст!» — сердито бросает сзади погонщик в овечий вопль и хлещет мокрым прутом. «Рыст!.. Рыст!..» — подбадривают пастухи и отодвигают колени от отверстия, через которое вскакивает в струнку овца. «А! чтоб тебя...» — бранится козар и не кончает: как же, скажешь в такое время!

Привычным движением Иван хватает овцу за хребет и тащит ее задом к широкому подоюнику. Покорно стоит овца, неуклюже расставив ноги, такая глупая, и слушает, как журчит молоко в подоюник. «Рыст!» — хле-

<sup>1</sup> Струнка — шалаш для доенья овец.

<sup>2</sup> Козар — козий пастух.

шет задних погонщик. «Рыст! Рыст!..» — покрикивают пастухи. Овцы, которых уже подоили, словно одурелые, падают в загородке на камень, кладут голову на ножки и вытягивают голые старческие губы. «Рыст! Рыст!..» — Ивановы руки беспрестанно мнут теплое овечье вымя, отодвигают подоюнки, а по рукам у него течет молоко, пропахшее жиром, и поднимается из подоюника густой сладкий пар. «Рыст! Рыст!» Вскакивают овцы, как ошалелые, расставляют над подоюником ноги, и десять пастушьих рук мнут теплое вымя. Жалобно плачет мокрая отара по обе стороны струнки, падают в загородке ослабевшие овцы, а густое молоко звонко журчит в подоюник и затекает теплой струйкой даже за рукав. «Рыст! Рыст!..»

Козар улыбается одними глазами своим козам. Они не такие, как овечки, у них горячее сердце. Они не падают замертво, как плохонькие овцы, а твердо стоят на тонких ногах. С любопытством подняли рожки и смотрят в туман, словно видят что-то, и так бодро трясутся их редкие бородки..

\* \* \*

Опустели овчарни. Тишина и запустенье. Может быть, там, где-то в глубоких долинах, откуда горы начинают расти, и раздается смех человеческий и голоса, но в это верится плохо. Здесь, на пастбище, где небо закрывает безлюдные просторы, живущие в одиночестве, только для себя, — здесь вековечная тишина.

Лишь в стае потрескивает неугасимый огонь и все провожает синий дым свой в путешествия. Парное молоко отдыхает в деревянной посуде, над ним склонился старший пастух. Он уже его заправил. Из-под полки под крышей, где сохнут большие круги сыра, дует на старшего ветер, но не может прогнать из стаи запах угля, сыра и овчины. Ведь точно так же пахнет и сам старший. Новые кадушки и бочонки безмолвствуют в углу, но достаточно постучать по ним — и откликнется голос, в них живущий. Холодная сыворотка поблескивает в ушате зеленым глазом. Старший сидит среди своего хозяйства, как отец среди детей. Все оно — черные лавки и стены, костер и дым, сыр, кадушки и сыворот-

ка — все такое близкое, родное, на всем почил его теплая рука.

Молоко уже густеет, но время его еще не настало. Тогда старший достает из-за пояса связку деревянных брусков и начинает читать. Там вырезано все, в этой деревянной книге, — у кого сколько овец и что кому принадлежит. Забота сдвигает его брови, а он упорно читает... «У Мосейчука штырнадцать овец, и ему следует...»

За стеной шалаша спузар выводит:

Питається у баранця

Круторіжка вівия:

— Ци ти вробиш, баранчику,  
Зеленого сінця?

— Распелся! — сердится старший, и снова пересчитывает зарубки.

Не знаєш ти, круторіжко,

Яка буде зима,

Ци ти вийдеш, ци не вийдеш

З полонинки жива... —

кончает спузар в сенях и входит в стаю.

Закопченный, черный, склоняется над огнем, а белые его зубы блестят. Огонь тихо потрескивает.

Молоко в ушате желтеет и становится густым. Старший наклонился над ним, сосредоточенный, даже суровый. Медленно расстегивает обшлага и по локоть погружает в него свои голые волосатые руки. И так застывает над молоком.

Теперь должно быть тихо в шалаше. Дверь заперта, и даже спузар не смеет кинуть взгляд на молоко, пока там творится что-то, пока старший колдует. Все будто застыло в немом ожиданье. Кадушки затаили в себе голос, притаились сыры на полках, заснули черные стены и лавки, огонь едва дышит, и даже дым стыдливо уходит в окно. Только по легкому движению жил на руках старшего заметно, что на дне посуды происходит что-то. Руки оживают понемногу, то поднимаются, то опускаются, закругляются локти, руки чем-то плещут, что-то взбивают и гладят там внутри, и вдруг со дна посуды, из-под молока, поднимается круглое тело сыра, рожденное чудом. Оно растет, поворачивает плоские бока, купается в белой купели, само белое и нежное, и,

когда старший его вынимает, зеленые воды звонко стекают в посуду.

Старший с облегчением вздохнул. Теперь и спузар может уже взглянуть. Славный родился сыр, старшему на утешенье и на пищу людям.

Распахивается дверь, ветер дует из-под полки под крышей, костер от радости лижет черный котел, в котором поет коломийки сыворотка, и среди дыма и огня блестят зубы спузаря... А когда солнце заходит, старший выносит из шалаша трембиту и трубит победно на все пустынные горы, что день окончился в мире, что сыр ему удался, кулеш готов и струнки ожидают нового молока.

\* \* \*

За время пребывания на пастбище было у Ивана немало приключений. Однажды он видел чудесную картину. Должен был уже гнать овец в стаю, когда случайно оглянулся на близкую вершину. Туман опустился и окутывал лес, а лес стал легким и седым, как привидение. Только полянка зеленела под ним да чернела одинокая пихта. И вот эта пихта задымилась и начала расти. Растет и растет,— и вышел из нее какой-то человек. Стал на полянке, белый, высокий, и крикнул в сторону леса, и сейчас же вышли из лесу олени, один за другим, а у каждого нового оленя рога все красивей, все веселей. Стадом выбежали серны, постояли, дрожа на тоненьких ножках, да и принялись щипать траву. А если рассыплются серны по сторонам, то медведь завернет их в стадо, как овец овчарка. А тот, белый, пасет, да еще покрикивает на скотинку. Тут внезапно поднялся ветер, и это стадо как прыснет кто куда, так и пропало. Вот так — словно дохнуть на стекло, оно запотеет, а потом исчезнет все, точно ничего и не было. Он показывал другим, но те удивлялись: «Где? Один туман».

В течение двух недель «большой», — так пастухи шлопотом называли медведя, — зарезал еще пять ко-ров.

Нередко туман заставлял овец на пастбище. В густой мгле, белой, как молоко, все исчезало: небо, горы, леса,

пастухи. «Г-ей!» — кричал Иван. «Г-ей!» — отвечало глухо на его крик, как из-под воды, а где был тот, что отвечал, — неизвестно. Овцы седым туманом катились у самых ног, а дальше исчезали и они. Иван шел, сам не зная куда, протянув руки вперед, словно боясь на что-нибудь наткнуться, и кричал: «Гей!..» «Где ты?» — откликалось уже позади, и Иван должен был оставаться. Стоял беспомощный, растерянный, в липком тумане, и когда прикладывал к губам трембиту, чтобы ответить, то противоположный конец трубы расплывался во мгле, а сдавленный голос ее тут же, на месте, падал ему под ноги. Так они потеряли несколько овец.

«Вуйко» задрал еще две коровы, но это было в последний раз: забрался он ночью к шалашу, да и наткнулся на кол. Теперь его шкура сушится на жердях и на нее брешут собаки.

По временам шумели на пастбище ливни. Илья-пророк воевал с «этими» — ни дна им ни крыши! Так сверкал мечом и так гремел из ружья — свят еси господи! — что лопалось небо и падало на горы, и как лопнет, так сейчас же что-то черное каждый раз замечется туда-сюда — и шашь под камень... Он, нечистый, чтоб ему пропасть, глумится над богом, кажет ему свое гузно, а пастуху беда: страху не оберешься да еще и промокнешь до нитки.

К Петрову дню выпал снег — и такой глубокий, что трое суток не сходил. Тогда заболело много овец.

Изредка приходили люди из долины. Их обступали, спрашивая наперебой:

— Что нового в деревне?

И, как дети, слушали бесхитростные рассказы о том, сколько люди скосили сена, что картошки нет, что кукуруза реденькая, а Мочарныкова Елена померла.

Потом все вместе пили за здоровье скотинки. Гости накладывали в бочонки брынзу и снова мирно спускались в долины.

По вечерам у шалаша пылали огни. Пастухи сбрасывали с себя одежду и отряхивали над огнем вшей или, собравшись вместе, соскучившись за лето без женщин, вели нескромные разговоры. Их хохот покрывал сонные вздохи скота.



Иван, прежде чем ложиться спать, звал к себе Миколу, любившего попеть и поговорить.

— Мико!.. Иди сюда, браччику!..

— Подожди, браччику Ива, я сейчас! — кричал спузар, стоя у шалаша, и еще оттуда долетала до Ивана его песня:

Чорно́гора хліб не родить,  
Не родить пшеницю,  
Викохує вівчариків,  
Сирок і жентицю...

Микола был сиротой и вырос на пастбище. «Нянчили меня овцы», — говорил он о себе, приглаживая непокорные кудряшки.

Управившись, ложился спузар рядом с Иваном, весь черный, закопченный и освещаемый огнем костра, блестел молодыми зубами. Иван придвинулся к Миколе близко, обнял его за шею и просил:

— Расскажи, браччику, сказку какую-нибудь, ты их много знаешь...

С черного неба капали звезды, и текла по нему белой пеной небесная река.

Над долинами дремали горы.

— Растут, — говорил, точно сам с собой, Иван.

— Кто?

— Горы.

— Прежде росли, теперь перестали...

Микола замолкает, но потом добавляет тихо:

— Сначала не было гор, только вода... Такая вода, словно море без берегов, и бог ходил по воде. Но раз он увидел, что на воде кружится пена. «Кто ты есть?» — спросил. А она говорит: «Не знаю. Живое есмь, а ходить не могу». А это был Ариднык. Бог о нем не знал, ведь Ариднык был, как бог, испокон веку. Дал ему бог руки и ноги, и ходят уже вместе, побратимами. Вот надоело им все по водам ходить, захотел бог землю создать, а достать со дна морского глины не умеет, ведь бог знал все на свете, только ничего не умел. А Ариднык все хорошо умел — да и говорит: «Я бы туда нырнул». — «Ныряй». Вот он нырнул на дно, сгреб в горсть глины, а остальную спрятал в рот, для себя, про запас. Взял бог глину, вокруг разбросал. «Больше нет?» —

«Нет». Благословил бог эту землю, да и стала она расти. А та, что во рту у сатаны, растет тоже. Растет да растет, уже и рот расперло, нельзя Ариднику дышать, глаза на лоб лезут. «Плюй!» — советует бог. Начал тот плевать, а где плюнет — вырастают горы, одна выше другой, до самого неба доходят. Они бы и небо пробили, если бы бог не остановил их. С тех пор перестали горы расти.

Странно Ивану, что горы такие красивые, такие веселые, а сотворил их нечистый.

— Рассказывай, браччику, дальше, — просит Иван, а Микола снова начинает:

— Аридник мастер был на все руки, что надумал, — сделал. А бог, если хотел что достать, должен был хитростью выманить у него или украсть. Наделал Аридник овец, сделал скрипку и играет, а овцы пасутся. Увидел бог, да и выкрал это, и уже оба пастушат. Все, что есть на свете, — ученость, мудреная штука всякая, — все от него, от сатаны. Где что есть, — телега, лошадь, музыка, мельница или хата, — все выдумал он... А бог только крал да отдавал людям. Так-то... Раз Ариднику холодно стало, и, чтоб согреться, выдумал он костер. Пришел бог к костру и смотрит на огонь. А нечистый уже знает, куда бог смотрит. «Все ты, говорит, у меня украл, а этого не дам». Но видит Аридник, что бог уже разводит огонь. Так ему стало досадно, что он взял, да и плюнул в божий костер. А из этой слюны и поднялся над огнем дым. Первый костер был без дыма, чистый, а с тех пор костры дымят...

Долго рассказывает Микола, а когда ненароком вспомнит чорта, тогда Иван крестит грудь под безрукавкой. Микола же сплевывает, чтобы нечистый не имел над ним власти...

Заболел Микола, и Иван вместо него стережет костры. Против огня, на лавке, спит старший пастух, а там, в углу, где беспокойно колеблются тени кадушек, стоит больно. В черном котле кипит вода, дым сбивается вверх, под крышей, вылетает в щели между досками. Нечистый иногда дунет в щель, тогда дым начнет валить во-всю и ест глаза, но это хорошо — нельзя

заснуть. А сон одолевает. Чтобы отогнать его, Иван устремляет глаза в живой огонь. Он должен сторожить огонь, эту душу пастбища, ведь кто знает, что произошло бы, если б не уберег он его. Уголья тлеют, и даль улыбается Ивану из-под тяжелого навеса и внезапно исчезает. Перед глазами уже плывут зеленые пятна, превращаются в луга, в пихтовый лес. По лугу ступают белые ноги Марички. Она бросает грабли и протягивает к нему руки. И в то мгновение, когда Иван вот-вот должен почувствовать мягкое тело Марички у своей груди, из лесу, рыча, выходит медведь, а белые овцы бросаются в стороны и отделяют его от Марички. «Тьфу, ни дна им ни покрывки!.. Неужели заснул!» Костер подмигивает ему, старший храпит, а под черным покрывалом подвижных теней стонет Микола.

«Не пора ли варить кулеш пастухам на завтрак?»

Иван выходит из стаи.

Тишина и холод охватывают его. Где-то в загородках дышит скотинка, сбились в груды овцы, слабо поблескивают у пастушьих шалашей костры. Овчарки обступили Ивана, вытягиваются, разгребают землю и трутся у ног. Черные горы залили долину, как огромная отара. Они проводят свою жизнь в такой тишине, что слышат даже дыханье скота. Над ними расстелилось небо, этот луг небесный, где пасутся звезды, как белые овечки. Существует ли еще что-нибудь на свете, кроме этих двух пастбищ? Одно разостлалось внизу, другое вверху, а между ними, как малое пятнышко, чернеет пастух.

А может быть, нет ничего. Может быть, ночь уже залила горы, может быть, сдвинулись горы, раздавили все живое, и одно Иваново сердце глухо колотится под безрукавкой в бесконечных мертвых просторах? Одиночество, подобное зубной боли, тянет за душу. Что-то огромное, враждебное давит его — эта окаменевшая тишина, равнодушный покой, этот сон небытия. Нетерпенье стучит в его виски, за горло хватает беспокойство, и вдруг, встрепенувшись, он с криком, улюлюканьем и воплем бросается на пастбище, чтобы среди гама овчарок дико ревушим клубком нарушить тишину, разбить ночь вдребезги, как камнем стекло. Ов-ов-ов!.. — откликаются пробужденные горы... Га-га-га... — повторяют

в тревоге дальние вершины, и снова сомкнулась разбитая тишина. Овчарки возвращаются, скалят зубы и машут хвостами.

Но стало еще печальней, тоскливей. Захотелось солнца, веселого шума реки, теплого запаха хаты, разговора. Грусть завладела сердцем, сладкая тоска. Воспоминания охватили Ивана и заволновались перед его глазами... И вдруг услышал он тихое: «Ива-а!» — кто-то его звал. Еот снова: «Ива-а!..»

Маричка? Откуда она взялась? Пришла на пастбище? Ночью? Заблудилась и зовёт? Или ему померещилось? Нет, она здесь. Сердце колотится в Ивановой груди, но он колеблется еще. Куда идти? И снова, в третий раз, долетает до него откуда-то: «Ива-а!..» Маричка... она... конечно... Он бежит напрямик, без тропинки, туда, откуда слышится голос, но встречает лишь пропасть, и здесь нельзя ни спуститься вниз, ни подняться на пастбище. Стоит и глядит в черную бездну. Тогда ему становится ясно, что его зовет лесная русалка. И, крестясь и оглядываясь, испуганно он возвращается к стае.

Пора варить кулеш. В кипящий котел он сыплет муку, режет ее крест-накрест, и ароматный пар вскоре смешивается с запахом дыма. Старший потягивается... Рассвет. Но кто звал Ивана? Может, это была все же Маричка?

Его тянет взглянуть еще раз, теперь, когда стало светлее. Идет на пастбище. Холодная роса садится на его постолы. Небо покраснелось, и побледнели звезды. Иван поднимается выше и вдруг холодеет. Где он? Что с ним? Куда девались горы? Воды залили все пастбище, затопили вершины, и луг плывет одиноко в бескрайнем море. С Черногоры задул ветер, полные воды волнуются тихо, чувствуется, как пока еще невидимое солнце растет в глубине, а вот выступила из моря вся седая вершина, с которой стекает вода. Сильнее задышал холод, растут валы на море, и вершины одна за другой пробиваются сквозь белую пену. Мир точно возродился. Воды стекли с вершин и ходят уже под ногами, а солнце подняло в небо свою корону и вот-вот покажет лицо, а из стаи доносится печальный голос стрембиты и заставляет пастбище проснуться.



Так проводил лето Иван на пастбище до той поры, пока оно не опустело. Стекла скотинка назад в долины, разобранная хозяевами, оттрубили трембиты, лежит примятая трава, а ветер осенний причитает над ней, как над мертвецом. Остались только старший и спузар. Они должны ждать, пока не погаснет огонь, этот огонь пастбищ, который сам родился, точно бог, сам должен и опочить. А когда и их уже не стало, на опечаленное пастбище приволоклась всяческая нечисть и шарит в шалаше и в загородках, — не осталось ли чего-нибудь для нее.



Напрасно Иван спешил с пастбища: он не застал Марички в живых. Накануне его возвращения, переходя Черемош, утонула она. Неожиданно поднялась вода, злые волны сбили Маричку с ног, бросили в водопад и понесли среди скал в долину. Маричку несла река, люди смотрели, как вертят ее волны, слышали крики и мольбы и не могли спасти.

Иван не верил. Конечно, это шутки Гутенюков. Узнали про их любовь и спрятали Маричку.

Но слыша со всех сторон одно и то же, решил искать тело. Должно же было прибить его где-нибудь к деревянной обшивке берегов, где-нибудь должны были выловить его люди. Пошел вдоль реки, полный жгучего гнева, ненавидя ее вечный шум, кипящую ярость.

В одной деревне все же нашел тело. Его уже вытащили на прибрежную гальку, но Иван не узнал Марички. Это не Маричка была, а какой-то мокрый мешок, синяя кровавая масса, размолотая речными камнями, как на мельнице...

Великая тоска овладела сердцем Ивана. Сперва ему захотелось броситься со скалы в водоворот: «На, сожри и меня!» Но затем щемящая печаль погнала его в горы, дальше от реки. Зажимал уши, чтобы не слышать предательского шума, принявшего в себя последнее дыхание его Марички. Блуждал по лесу среди камней, среди бурелома, как медведь, зализывающий раны, и даже

голод не мог прогнать его в селенье. Находил ежевику, бруснику, пил воду из родников и этим жил. Потом исчез. Люди полагали, что он погиб от великой тоски, а дивчата сложили песни про их любовь и смерть. И те песни разлетелись по горам. Шесть лет не было вести о нем, на седьмой год внезапно явился. Худой, черный, много старше свсих лет, но спокойный. Рассказывал, что пастушил на венгерской стороне. Еще год так походил, а потом женился. Надо же было хозяйничать.

Когда замолкли выстрелы пистолетов и свадебные песни, а жена пригнала к загородке овец и коров, Иван был доволен даже. Его Палагна была из богатого рода, надменная, здоровая баба, с грубым голосом и зубом. Правда, говорили, что она любила пышное платье и что немало денег будет стоить Ивану шелковые платки и дорогие мониста. Но это были басни! Поглядывая на овец, бляевших в загородках, на свое пестрое стадо, на коров, звеневших по лесным лужайкам, он не горевал.

Теперь ему уже было о чем заботиться. Не стремился к богатству — не для того гуцул живет на свете, — самый уход за скотинкой наполнял радостью сердце. Как дитя для матери, была для него скотинка. Все время, все мысли занимала забота о сене, о довольстве скотинки, чтобы не заболела, чтобы не сглазил кто, чтобы овцы счастливо ягнились, а коровы телились. Всюду, от всего грозила опасность, и надо было хорошо стеречь скот от гада, зверя и ведьм, которые всячески старались выдоить коров и губили скотинку. Надо было многое знать, окуривать, ворожить, собирать целебные травы и творить заговоры. Палагна ему помогала. Она была хорошей хозяйкой, и свои вечные заботы он делил с нею.

— Ну, и соседей дал нам господь бог! — плакалась она мужу. — Вошла давеча в хлев Хима, глянула на ягнят да как всплеснет руками: «Ой! Какне они красивые!» Вот, получай, думаю себе. Не успела с порога сойти, как два ягненка завертелись на месте — да тут им и конец... Чтoб тебе пусто было, ведьма!

— А я иду ночью, — рассказывал Иван, — мимо ее хаты да и смотрю: катится что-то круглое, словно клубок. Да и светится, как звезда. Остановился и гляжу, а

оно по выгону через изгородь да прямо в Химины двери... Здорово живешь!.. Догадался бы — снял с себя штаны, может, ведьму и поймал бы, а так ничего не вышло...

С другой стороны, на ближнем холме, соседом был Юра. О нем люди говорили, что он — как бог. Всеведущий и всемогущий, этот заклинатель града и злой знахарь. В своих крепких руках держал он силы небесные и земные, смерть и жизнь, здоровье скота и человека, его боялись, но в нем нуждались все.

Случалось, что и Иван обращался к нему, но каждый раз, встречая взгляды черных обжигающих глаз знахаря, сплевывал незаметно: «Чтоб тебе ослепнуть!»

Но больше всего докучала им Хима. Старая льстивая баба, всегда такая приветливая, она по вечерам обращалась в белого пса и шныряла по соседским загородкам. Не раз Иван запускал топором в нее, швырял вилами и прогонял.

Рябая корова на глазах худела и все меньше давала молока. Палагна знала, чьих рук это дело. Она поглядывала, нашептывала, по нескольку раз на вечер бегала к коровам, вставала даже ночью. Раз подняла такой переполох, что Иван бросился в загородку, как сумасшедший, и должен был сгонять с порога большую жабу, старавшуюся пролезть в хлев. Но жаба внезапно исчезла, а из-за изгороди уже скрипел Химин голос:

— Добрый вам вечер, соседусшки хорошие!.. Хе-хе... Бесстыдница!

Что только не вытворяла эта прирожденная ведьма! Обращалась в полотно, белевшее в сумерки по лесу, ползала ужом или катилась по холмам прозрачным клубком, наконец гасила месяц, чтобы было темно, пока она ходит к чужому скоту. Не один божился, что видел, как она трепалку доит: забьет в нее четыре колка и начнет доить — и надойт полный подойник.

Сколько хлопот было у Ивана! Он не имел даже времени ни о чем другом подумать. Хозяйство требовало вечной работы, жизнь скота так тесно сплеталась с его собственной жизнью, что вытесняла все другие мысли. Но иногда, неожиданно совсем, когда он бросал

взгляд на зеленые лужки, где отдыхало в копнах сено, или на полный задумчивости лес, тогда долетал до него оттуда давно забытый голос:

Ізгадай мні, мій миленький,  
Два рази на днину,  
А я тебе ізгадаю  
Сім раз на годину...

Тогда он бросал работу и где-то пропадал.

Надменная Палагна, которая привыкла шесть дней в неделю работать и только в праздник отдыхать, чванясь доброй одеждой, сердито упрекала его за его прихоти. Он сердился:

— Заткнись. Знай свое дело, а мне дай покой...

И сердился на самого себя: «Зачем все это?» — и виновато шел к коровам.

Приносил им хлеба или горсточку соли. С доверчивым мычаньем тянулась к нему его «биланя» или «голубаня», высовывала теплый, красный язык, слизывала соль, лизала руки. Влажные блестящие глаза приветливо глядели на него, а теплый дух полного вымени и свежего навоза снова восстанавливали утраченное спокойствие и равновесие.

В овчарне его заливало целое море скотинки, такой маленькой, круглой. Они знали своего хозяина, — эти бараны и овцы, и с радостным блеяньем терлись у его ног. Он запускал пальцы в их пушистую шерсть и с отеческим чувством брал на руки ягненка — и дух пастбища веял тогда над ним и звал в горы. Становилось спокойно и тепло на сердце.

В этом была Иванова радость.

Любил ли он Палагну? Такая мысль никогда не приходила ему в голову. Он — хозяин, она — хозяйка. И хотя детей у них не было, зато была скотинка — чего больше? Хозяйство шло хорошо, и Палагна раздобрела, стала толстой и красной, курила трубку, как Иванова мать, носила пышные шелковые платки, а на шее под зобом блестело у нее столько бус, что женщины лопались от зависти. Они ездили вместе в город или на храмовой праздник. Палагна сама седлала своего коня и вступала красным постолом в стремя так гордо, точно все горы принадлежали ей одной. На храмовом празд-



нике собирались разные люди, пенилось пиво, лилась водка, слетались всякие новости с дальних гор, Иван обнимал молодич, Палагну целовали чужие мужья, — подумаешь, невидаль какая! — и, довольные, что провели время так прекрасно, они возвращались к повседневным заботам.

К ним тоже приезжали хорошие хозяева в гости.

— Слава Иисусу! Как жинка, скотинка, здоровы ли?

— Здоровы, как вы?..

Садилась за резной стол тяжелые, в овчинных уборах и вкушали вместе свежий кулеш и ряженку острую, от которой облезал язык.

Так шла жизнь.

Для работы — будни, для ворожбы — праздник.

В сочельник Иван был всегда в странном настроении. Будто преисполненный чего-то таинственного и священного. Он все делал серьезно, словно службу божью правил. Раскладывал Палагне живой огонь для ужина, стелил сено на стол и под столом и, полный веры, мычал при этом, как корова, блеял овцой и ржал лошадь, — лишь бы плодился скот. Окуривал ладаном хату и кошары, чтобы отогнать зверя и ведьм, а когда красная от суеты Палагна сообщала, наконец, что готовы все двенадцать кушаний, он, прежде чем сесть за стол, нес ужин скотине. Она первой должна была попробовать голубцов, чернослива, бобов, кутьи, которые так старательно приготавливала для него Палагна. Но это было не все. Еще следовало созвать на тайную вечерю все враждебные силы, которых он остерегался всю жизнь. Брал в одну руку миску с едой, а в другую — топорик и выходил во двор. Зеленые горы, нарядившиеся теперь в белые свитки, чутко прислушивались, как звенело в небе золото звезд; мороз сверкал серебряным мечом, рассекая звуки в воздухе, а Иван простирал руку в это скованное зимой безлюдье и приглашал на тайную вечерю к себе всех колдунов, злых духов, звездочетов всяких, волков лесных и медведей. Он приглашал бурю, чтобы не отказала в милости притти к нему и отведать обильной пищи и водки, приглашал к ужину, но они не были милостивы, и никто не приходил, хотя Иван просил трижды. Тогда он творил заговор, чтобы они не являлись вовсе, — и с облегчением вздыхал.

Палагна ожидала в хате. Огонь в печи лежал утомленный, тихо дремал жар, кушанья отдыхали на сене, рождественская тишина всплывала из темных углов, голод влек к еде, но они еще не смели сесть за стол. Палагна бросала взгляд на мужа — и в согласии они вместе опускались на колени, прося бога, чтобы допустил к ужину души, неведомые никому, пропадом пропадающие, на лесных разработках убитые, дорогами изувеченные, водами потопленные. Никто о них не вспомнит, ни поднимаясь с постели, ни ложась, никто не вспоминает, дорогой идучи, а они, бедные души, горестно пребывают в пекле, ожидая сочельника.

И так молясь, Иван был уверен, что за плечами у него плачет, склонившись, Маричка, а души преждевременно умерших невидимо рассаживаются по лавкам.

— Обдуй, прежде чем сесть! — требовала от Ивана Палагна. Но он знал это и без нее. Старательно обдувал место на лавке, чтобы не придавить какую-нибудь душу, и садился ужинать...

Под Новый год к скоту в загородку приходил сам бог. В высоком небе ясно горели звезды, яростно трещал мороз, а седой бог шел босиком по рыхлому снегу и тихо отворял дверь овчарни.

Проснувшись ночью, Иван прислушивался и, казалось, слышал, как нежный голос спрашивает скотинку: «Хорошо ли ты, скотинка, накормлена, напоена ли хорошо? Бережет ли тебя хозяин?» Радостно блеяли овцы, веселым мычаньем отвечали коровы — хозяин обряжает их хорошо, совестливо, поит, кормит и даже нынче вычесывал шерсть. Теперь господь бог, наверно, подарит его новым приплодом.

И бог давал приплод. Овечки мирно ягнились, давали ягнят, коровы счастливо телились.

Палагна всегда была занята своей ворожбой. Жгла костер среди скотинки, чтобы она блестела и красивой была, как божий свет, чтобы к ней не приступил нечистый. Она делала, что только могла, чтобы скотинке была такой тихой, как корень в земле, такой обильной молоком, как потоки водою. Она ласково говорила скотинке:

— Ты будешь кормить меня и моего хозяина, а я тебя буду почитать, чтоб тебе легко спалось и редко

плакалось, чтобы домовые не узнали, где ты ночевала, где ты стояла, чтоб тебя кто-нибудь не сглазил...

Так шла жизнь, жизнь скота и людей, сливающаяся вместе, как два родничка в горах, — в один поток.

\* \* \*

Завтра большой праздник. Теплый Юрий отобрал от холодного Дмитра ключи мира, чтобы править землей. Полные воды, на которых плавает земля, вознесут ее выше к солнцу. Юрий украсит леса и луга, овца обрастет шерстью, как летняя земля травой, а сенокосы отдохнут от скотины, обильно покрываясь зеленью. Завтра весна — день радости и солнца, а уже сегодня горы цветут огнями и синий дым закрывает пихты прозрачной кисеей. И когда солнце снизилось, отцвели костры и дым их отлетел в небо, радостным криком откликнулась скотинка, которую перегоняли через жар, чтобы она была сильной летом, как костер, чтобы множилась, как множится от огня пепел.

Поздно ложились спать накануне Юрия люди, хотя рано должны были подниматься.

Палагна проснулась, как только начало светать. «Не рано ли?» — подумала вслух, но сейчас же вспомнила, что сегодня праздник и надо идти на луг. Сбросила теплое одеяло и встала. Иван еще спал. Печь вздыхала в углу черным зевом, а под ней уныло трещал сверчок. Палагна расстегнула сорочку, сбросила ее с себя, постояла голая среди хаты и, боязливо оглядываясь на Ивана, пошла к двери. Скрипнула дверь, и утренний холод обвеял ее тело. Горы еще спали. Еще спали пихты — как монахи, строгие; спали поседевшие за ночь лужайки и седые шпиги, расплывавшиеся в тумане. Холодная мгла подымалась из долины и простирала белые мохнатые лапы к черным пихтам, а под еще бледным небом рассказывал свои сны Черемош.

Палагна шла по мокрым травам и слегка дрожала от утреннего холодка. Она была уверена, что ее никто не увидит, а если и увидит, так что? Конечно, жалко было бы, чтобы ее ворожба оказалась напрасной. О другом не думала. Еще на благовещенье она зарыла в мура-

вейник соль, булку и монисто, и теперь следовало все это оттуда достать. Понемногу привыкала к холоду. Ее упругое тело, еще не знавшее материнства, свободно и гордо плыло по молодым травам лугов, такое розовое и свежее, как позолоченное облако, полное теплым весенним дождем. Наконец остановилась под буком, но прежде чем разрыть муравейник, она подняла руки к небу и с удовольствием потянулась всем своим телом, хрустнув косточками. И вдруг почувствовала, что теряет силы, что ей как-то нехорошо. Опустила беспомощно руки, взглянула перед собой и внезапно как бы провалилась в черную огнистую бездну, не отпускаящую ее от себя.

Юра-знахарь стоял за изгородью и глядел на Палагну.

Она хотела крикнуть на него — и не могла. Хотела закрыть грудь руками — но у нее не было сил их поднять. Старалась убежать — и врасгала в землю. Обомлев, стояла бессильная и упорно смотрела на два черных уголька, лишивших ее силы.

Наконец в ней шевельнулась злость. Ни к чему ее ворожба! Она сделала над собой усилие, чтобы разжечь эту злобу, и сердито крикнула ему:

— Чего уставился? Не видел?

Не спуская с нее глаз, сковавших ее, Юра блеснул зубами.

— Такой, как вы, Палагна, ей-богу, не видел.

И закинул ногу на изгородь.

Она видела хорошо, как плыли к ней эти два горящие уголька, испепелившие ее волю, а все же стояла и не могла пошевелиться, то ли в сладком, то ли в робком ожиданье.

Он уже был близко. Видела узоры его безрукавки... Раскрытый рот, блестящие зубы... приподнятую руку... Теплое его тело задышало рядом с ней, а она все еще стояла.

И только когда железные пальцы стиснули ее руку и привлекли к груди, она с криком вырвалась и бросилась домой.

Знахарь стоял, раздувая ноздри, и смотрел, как тело Палагны белело над травами, как волны Черемоша.

Затем, когда Палагна уже исчезла, он перелез через изгородь и снова начал сеять по выгону пепел вчерашнего костра, чтобы корова и мелкая скотинка, которые будут здесь пастись, обильно плодились, чтобы каждая овца приносила по два ягненка.

Палагна прибежала домой злая. Хорошо, что хоть Иван ничего не видел. Ну и соседка славный, чтоб ему сгореть! Не нашел другого времени... Чтоб тебе!.. А то, что ее ворожба была напрасной, так этого уже не поправишь. Колебалась, рассказывать про Юру Ивану или не тревожить его. Еще драка выйдет или ссора, а знахаря только задень! Вот надо было бы дать ему пощечину, да и все... Но Палагна знала, что она не в состоянии поднять на него руку. Даже при одной мысли об этом ощущала слабость во всем теле, в руках и ногах какое-то сладкое изнеможение. Ощущала словно паутину на всем теле от горячего взгляда черных глаз, от жадно раскрытого рта, от блеска зубов. И что б она ни делала в тот день, взгляд знахаря ее сковывал.

Около двух недель прошло с этого времени, а Палагна не говорила Ивану о встрече с Юрой. Она только присматривалась к мужу, — что-то давило его, какая-то тоска томила Ивана и делала слабым, что-то старческое, водянистое светилось в его усталых глазах. Заметно худел, становился равнодушным. Нет, Юра лучше. Если бы захотела любовника, взяли бы Юру. Но Палагна была гордой, ее силком не возьмешь. Так была сердита на знахаря.

Однажды они встретились у реки. Палагне на мгновение показалось, что она голая, что тонкая паутинка окутала все ее тело. Она точно сквозь сон услышала:

— Как спали, Палагночка-душенька?

На языке у нее вертелся ответ: «Хорошо, как вы?» — но она удержалась, надулась, высокомерно подняла голову и прошла мимо, словно не заметила его даже.

— Как здоровье? — услышала сзади во второй раз. Но не оглянулась.

«Ну, теперь жди беды!» — подумала со страхом.

И верно, едва вернулась домой, как Иван встретил ее известием, что сдохла овца. Но удивительно, ей совсем не было жалко овечки. Даже злилась, что Иван так убивается по ней.

Юра больше не переходил Палагне дорогу.

Однако ее мысли все чаще обращались к нему. С любопытством, охотно прислушивалась Палагна к рассказам о его силе и удивлялась, как много он может, этот горячий Юра который не видел никого лучше Палагны! Он был могучий, сильный, все знал. От его слова гибла скотина, сох и чернел, как дым, человек; он мог наслать смерть и подарить жизнь, разогнать тучи и остановить град, огнем черного глаза испепелить врагов и зажечь в женском сердце любовь. Он был земным богом, этот Юра, хотевший Палагны, простиравший к ней руки, в которых он держит силы мира.

Иногда ей было жаль коров и мужа, они всё таяли, как туман, на мгновенье оседавший на пихтах. С тоской она шла на луг под бук и там чувствовала на своей груди теплое дыханье Юра, железные его пальцы. Она стала бы его любовницей, если бы он только здесь появился.

Но он не появлялся...

Был горячий день. Игрец ушел во мглу. Над землей стоял пар, а от Черногоры беспрестанно бежали тучи и лились дожди, освещенные с одной стороны солнцем. Так парило, что Палагна ни за что не полезла бы на вершину, если бы не приснился ей сон, предвещавший скотине недоброе. Она хотела проведать коров в лесу. Вокруг нее горы дымились во мгле, словно закипели горные потоки, и от них валил пар. Внизу шумел Черемош. Ему жестко было лежать на скалах, и он перескакивал с камня на камень. Но едва успела Палагна взобраться наверх, как с Черногоры махнул крылом ветер и закачались деревья. «Не было бы бури», — подумала она и обратилась лицом к ветру. Ну, так и есть... Там клокотала тяжелая сине-белесая туча. Казалось, сама Черногора поднялась в небо, готовая опуститься на землю и все раздавить. Ветер бежал впереди нее и расталкивал пихты, а горы и долины почернели сразу, как после пожара. Нечего было и думать идти дальше. Палагна спряталась под шатром пихты. Пихта скрипела. Издалека мягко катился гром; тени быстро бежали по горам, смывая краски, а высокие пихты сгибались вдвое на далеких вершинах. «Еще град выпадет», — пугалась Палагна, плотно запахивая безрукавку.

А над головой уже шумело. Там, на Черногоре, где-то по замерзшим озерам колдуны кололи лед, и души казненных собирали его в мехи и мчались с ними по тучам, чтобы рассыпать лед над землей. «Погибнут покосы, засыплет их льдом, и заплачет голодная скотинка», — думала горько Но не успела окончить мысли, как ударил гром. Зашатались горы, пихты склонились до самой земли, земля поднялась, и все завертелось в вихре. Палагна едва успела ухватиться за ствол и, словно сквозь туман, увидела вдруг, как карабкался на гору какой-то человек Боролся с ветром, расставлял ноги, хватался руками за камни и все лез наверх. Вот уже он близко, согнулся вдвое, бежит и — наконец стал на вершине. Палагна узнала Юру.

«Наверно, за мной...» — испугалась Палагна. Но Юра, повидимому, ее не заметил.

Стал лицом к туче, одна нога вперед, и скрестил руки на груди. Запрокинул бледное лицо и вонзился хмурым глазом в тучу. Стоял так долгое мгновение, а туча шла на него. И вдруг резким движением он бросил кресаню на землю. Ветер сейчас же сдул шляпу в долину и подхватил длинные волосы Юры. Юра тогда поднял к туче палку, которую держал в руке, и крикнул в синее клочотанье:

— Стой! Я тебя не пускаю!..

Туча подумала немного и метнула в ответ огненную стрелу.

— Ой! — закрыла Палагна глаза рукой, когда рассыпались горы.

Но Юра твердо стоял, и кудри извивались над его головой, как змеи в гнезде.

— Ага! Ты так! — крикнул Юра туче. — Тогда я сотворю заговор. Я заклинаю вас, громы великие и малые, тучи и тучки, я приказываю тебе, непогода, уходи налево, на леса и воду... Иди, разлетись, как ветер по свету... Расползись и рассыпья, силы твоей тут нет.

Но туча только презрительно моргнула левым крылом и начала поворачивать направо, к лужкам.

— Несчастье! — сжала руки Палагна. — Начисто побьет покосы...

Однако Юра не думал сдаваться. Он только больше побледнел, только потемнели его глаза. Когда туча дви-

галась направо — и он шел направо, туча — налево, и он — налево. Он бегал за нею, борясь с ветром, размахивая руками, грозил палкой. Он вился, как вьюн, заставляя тучу повернуть, мерялся силой с нею, спорил... Вот-вот, еще немного, еще с этого края... Ощущал в груди силу, метал глазами молнии, вздымал руки в небо и творил заклинанья. Ветер развеивал на нем безрукавку и хлестал его грудь, туча ворчала, расплескивала гром, била в глаза дождем, вздрагивала над головой, готовая упасть, а он, весь в поту, едва переводя дыханье, метался по вершине в неистовстве, страшаясь потерять последние силы. Чувствовал, что уже слабеет, что в груди пусто, что буря рвет голос, дождь заливаает глаза, туча побеждает, и уже с последним усилием поднял к небу короткую палку:

— Стой!..

И туча внезапно остановилась. Удивленно подняла край, встала, как конь, на дыбы, заклокотала от скрытого гнева, отчаяния, бессилия и уже просила:

— Пусти! Куда мне деться?

— Не пусти.

— Пусти! Погибаем! — жалобно кричали души, сгибаясь под тяжестью переполненных градом мешков.

— Ага! Теперь ты просишь!.. Я тебя заклинаю, ступай в безвесть, в пропасть, где конь не ржет, корова не мычит, овца не блеет, куда ворон не долетает, где христианского голоса не слышать... Туда отпускаю тебя...

И удивительное дело — туча подчинилась, покорно повернула налево и развязала мешки над рекой, засыпав частым градом каменный берег. Белая завеса закрыла горы, а в глубокой долине что-то клокотало, ломалось, глухо шумело. Юра упал на землю и гяжело дышал.

А когда солнце разорвало тучу и мокрые травы вдруг улыгнулись, Юра словно сквозь сон увидел, что к нему бежит Палагна. Она вся приветливо сияла, как солнце, склонясь над ним, взволнованно спрашивала:

— Не случилось ли с тобой, Юрчик, чего злого?

— Ничего, Палагночка, душенька, ничего, иди сюда. Я отвратил бурю...

И простер руки к ней.

Так Палагна стала любовницей Юры.



Изан удивлялся Палагне. Она и прежде любила пышно одеваться, а теперь будто что-то на нее нашло: даже в будни носила шелковые платки, дорогие, затейливо расшитые, носила блестящие, затканые канителью запаски, а тяжелые украшения из монет сгибали ее шею! Иногда исчезала из дому и возвращалась поздно, красная, растрепанная, пьяная будто.

— Где ты шляешься? — сердился Иван. — Смотри, хозяйка!

Но Палагна только смеялась:

— Ого! Мне уже и погулять нельзя.. Хочу жить в свое удовольствие. Один раз живем на свете...

Что правда, то правда — жизнь наша коротка, блеснет и погаснет. Иван сам так думал, но Палагна заходила слишком далеко. Ежедневно она пила в корчме с Юрой, знахарем, при людях целовалась и обнималась с ним, не скрывая даже, что у нее любовник. Разве она первая? Испокон веку не бывало того, чтобы только одного держаться.

Все говорили о Палагне и Юре; слышал и Иван, но принимал все равнодушно. Знахарь так знахарь. Палагна цвела и веселилась, а Иван тосковал и сох, теряя силы. Он сам удивлялся такой перемене. Что случилось с ним? Силы оставляли его, глаза какие-то растерянные и водянистые, глубоко ввалились, жизнь потеряла для него смысл. Даже скотинка не доставляла прежней радости. Быть может, на него напустили порчу или сглазил кто? Не тосковал по Палагне, даже обиды не чувствовал, хотя дрался из-за жены с Юрой.

Не со злости, а оттого, что так «приличествует». Если бы не Семен, его побратим, заступившийся за Ивана, может быть, ничего и не было бы. Потому что, встретившись однажды в корчме с Юрой, Семен ударил его по лицу.

— Ах ты, бездельник, зачем тебе Палагна, мало своей жены!

Тогда Ивану стало стыдно. Он подскочил к Юре.

— Смотри за своей Гафией, а мою не тронь! — и затряс топориком перед носом Юры.

— Ты купил ее на базаре? — вспыхнул Юра.

Его топорик так же мерцал перед глазами Ивана.

— Чтоб тебя холера взяла!..

— Ах ты, разбойник!..

— На, получай!

Иван ударил первый, прямо в лоб. Но Юра, умытая кровью, успел рубануть Ивана между глаз и окровавил ему лицо и шею. Слепли оба от волны горячей крови, заливавшей им глаза, но все высекали огонь топориком о топорик, все наносили друг другу удары в грудь. Они танцевали смертельный танец — эти красные маски, которые дымились горячей кровью. У Юры уже была покалечена рука, но счастливым ударом он внезапно переломил надвое Иванов топорик. Иван пригнулся, ожидая смерти. Но Юра мгновенно укротил свою ярость и прекрасным величественным жестом отбросил в сторону топорик.

— На безоружного с топориком не иду!..

И они снова взялись за топорики.

Их едва растащили.

Ну, что ж. Иван обмыл свои раны, окрасив Черемош кровью, да и пошел к овцам. У них нашел он отдых и утешенье.

Однако драка не помогла. Все шло по-старому. Палагна так же не держалась своего дома, так же сох Иван. Его кожа почернела и натянулась на костях, глаза ввалились еще глубже, его пробирала лихорадка, раздраженье и беспокойство. Он даже утратил вкус к еде.

«Не иначе, как знахаря дело, — горько думал Иван, — злое задумал против меня, хочет со света сжить, да и сушит».

Он ходил к ворожее, та старалась отвратить от него беду — не помогло; видно, знахарь был сильней.

Иван даже удостоверился в этом. Как-то, проходя мимо хаты Юры, он услышал голос Палагны Неужели она? Ему стало душно.

Прижав сердце рукой, Иван приложил ухо к воротам. Не ошибся. То была Палагна. Отыскивая щель, в которую можно было бы заглянуть, Иван тихо двигался вдоль забора. Наконец ему удалось найти какое-то отверстие в заборе, и он увидел Палагну и знахаря Юра, нагнувшись, держал перед Палагной глиняную куклу и тыкал в нее пальцами от ног до головы.

— Забиваю колышек тут, — шептал зловеще, — и сохнул руки и ноги. В живот — лишается живота — жизни, не может есть...

— А если бы в голову вбил? — с любопытством спрашивала Палагна.

— Тогда гибнет тотчас же...

Ведь это они о нем сговаривались!.

Сознание этого туманом залило голову Ивана. Вот перескочить через забор и убить обоих на месте. Иван стиснул топорик, смерил глазами забор, но внезапно увял. Слабость и равнодушие снова обняли все его тело. Зачем? Для чего? Такая уж, видно, его доля. Ему сразу стало холодно. Бессильно опустил топорик и пошел дальше. Шел опустошенный, не чувствуя земли под ногами, потеряв тропинку. Красные круги носились перед его глазами и расплывались по горам.

Куда он шел? Не мог даже вспомнить. Блуждал без цели, карабкался на горы, спускался и поднимался, куда ноги несли. Наконец заметил, что сидит над рекой. Она клокотала и шумела под ногами у него, эта кровь зеленая зеленых гор, а он глядел, ничего не соображая, в стремнину, пока в его утомленном мозгу не загорелась первая ясная мысль: здесь когда-то брела Маричка. Тут ее взяла вода. И воспоминания уже сами начали возникать одно за другим, наполнять пустую грудь. Он снова видел Маричку, ее милое лицо, ее открытую доверчивую ласку, слушал ее голос, песни ее. «Изгадай мні, мій миленький, два рази на днину, а я тебе ізгадаю сім раз на годину...» И вот теперь ничего этого нет. Нет, и не вернется уже, как никогда не возвращается речная пена, уносимая течением. Тогда Маричка, а теперь он... Его звезда уже едва держится на небе, готовая скатиться. Ведь что наша жизнь? Вспышка в небе, цвет черешни... хрупкая и короткая...

Солнце скрылось за горами, и в тихих вечерних тенях задымилась гуцульские хаты. Синий дым проникал сквозь щели кровель и окутывал хаты, а они, расцветавшие на зелени гор, казались большими голубыми цветами.

Печаль наполняла сердце Ивана, душа тосковала о лучшем, хотя и неведомом, влеклась к другим прекрасным мирам, где можно было бы отдохнуть.

А когда подошла ночь и черные горы замигали светом одиноких селений, как чудовище злыми глазами, Иван почувствовал, что силы враждебные сильнее его, что он уже сломлен в борьбе.

\* \* \*

Иван очнулся.

— Вставай, — будила его Маричка. — Вставай и идем.

Он взглянул на нее и вовсе не удивился. Хорошо, что Маричка наконец пришла.

Поднялся и пошел за нею.

Они молча подымались на гору, и хотя была уже ночь, Иван ясно видел при свете звезд ее лицо. Перелезли через изгородь, отделявшую лужок от леса, и вступили в густую чашу пихт.

— Отчего ты так побледнел? Болен? — спросила Маричка.

— По тебе, душенька Маричка... по тебе тосковал... — Не спрашивал, куда идут. Ему было так хорошо с нею.

— Ты помнишь, сердце Иванко, как мы встречались в этом лесу: ты мне играл, а я обнимала тебя и целовала кудри милые?

— Ох, помню, Маричка, и век не забуду...

Он видел перед собой Маричку, но ему казалось странным, что он вместе с тем сознает, что это не Маричка, а мавка. Шел рядом с ней и боялся пустить Маричку вперед, чтобы не увидеть вместо ее спины кровавую рану с сердцем, желудком и всем прочим, как это у мавки бывает. На узких тропинках он жался к Маричке, лишь бы идти рядом с ней, не остаться позади, и ощущал ее теплоту.

— Давно я хотела тебя спросить: за что ты ударил меня по лицу? Тогда, помнишь, когда дрались роды наши, а я, видя кровь, дрожала у повозки...

— Потом ты побежала, а я бросил твои ленты в воду, а ты дала мне конфету...

— Я тебя полюбила сразу...

Они все углублялись в лес. Черные пихты добродушно протягивали свои мохнатые лапы, точно благословляя; кругом господствовала строгая, замкнутая в себе

тишина, и только в долинах с шумом разбивалось пенное своеволие потоков.

— Однажды я хотела тебя испугать и спряталась. Легла в мох, зарылась в папоротник и лежала тихонько. Ты звал, искал, едва не плакал. А я лежала, стараясь не смеяться, а когда ты, наконец, нашел меня что ты со мной сделал?

— Ха-ха!

— Ах ты... бесстыдник!

Мило надула губы и так лукаво поглядела на него.

— Ха-ха! — смеялся Иван.

— Ха-ха! — смеялись оба, прижавшись друг к другу.

Она напомнила ему все их детские игры, купания в ледяных потоках, шутки и песни, страхи и радости, горячие объятия и муку расставанья. Все эти милые мелочи, согревавшие им сердца.

— Отчего ты так долго не возвращался с пастбища, Иванок? Что там делал?

Ивану хотелось рассказать, как голосом Марички звала его лесная русалка, но он избегал этого воспоминания. Сознание его двоилось. Чувствовал, что около него Маричка, и знал, что Марички нет на свете, что это кто-то другой ведет его к бездне, на дикие вершины, чтобы погубить. А впрочем, ему хорошо было; он шел вслед за ее смехом, за ее щебетаньем девичьим, не боясь ничего, легкий и счастливый, каким был когда-то.

Все его заботы и тревоги, страх смерти, Палагна и злой знахарь — все куда-то исчезло, все отлетело, точно никогда этого не было. Беспечальная молодость и радость снова вели его по этим безлюдным вершинам, таким мертвым и одиноким, что даже лесной шопот не мог удержаться там и спускался в долину пеной потоков.

— А я все глядела, не идешь ли ты, все ждала, когда с пастбища вернешься. Не ела, не спала, песни растеряла, свет стал мне не мил... Пока мы любились, сухие дубы цвели, а как мы разлучились, и живые засохли.

— Не говори так, Маричка, не говори, любка... Теперь мы уже вместе. Никогда не разлучимся...

— Никогда? Ха-ха...

Иван вздрогнул и остановился. Сухой и зловещий смех резанул ему сердце. Недоверчиво посмотрел на нее.

— Смеешься, Маричка?

— Что ты, Иванко. Я не смеялась. Тебе показалось. Ты уже устал? Тебе трудно итти? Пройдем еще немного. Идем!

Она умоляла, и он пошел дальше, крепко прижавшись плечом к ее плечу, желая одного, — итти так, чтобы не остаться позади и не увидеть, что у Марички вместо одежды, вместо спины... Ах, что там... не хотел думать

Лес становился все гуще. Гнилой дух прелых стволов, запах кладбища лесного шел к ним из чаши, где гнили мертвые пихты и гнездились дурные грибы — огромные поганки, ядовитые сыроежки. Большие камни холодели под скользким мхом, голые корни пихт переплетали тропинку, усыпанную сухими иглами.

Они шли дальше и дальше, забирались в холодную и неприветливую глубь лесистых вершин.

Пришли на полянку. Здесь было светлее, пихты точно оставили за собой черноту глубокой ночи.

Маричка вдруг вздрогнула и остановилась. Вытянула шею и прислушивалась. Иван заметил, что тревога скользнула по ее лицу и она подняла брови. Что случилось? Но Маричка нетерпеливо прервала его вопросы, приложила палец к губам, в знак того, что он должен молчать, и вдруг исчезла. Все это произошло так неожиданно и странно, что Иван не успел опомниться.

Почему она испугалась, куда и зачем убежала? Он немного постоял на месте, надеясь, что Маричка вернется сейчас же, но ее долго не было, и он тихо позвал:

— Маричка!..

Мягкое покрывало пихтовых ветвей качнуло этот зов, и снова стало тихо.

Иван беспокоился. Хотел искать Маричку, но не знал, в какую сторону итти, не заметив, куда она исчезла. Еще заблудится где-нибудь в лесу или сорвется в пропасть. Не разложить ли костер? Увидит огонь и будет знать, куда вернуться.

Иван набросал сухих сучьев и поджег их. Огонь потрескал немного под ними и испустил дым, а когда дым

заметался над огнем, заметались и тени косматых пихт и наполнили полянку.

Иван сел на пенек и присмотрелся. Поляна была полна гнилыми стволами, колючей сеткой простирались острые сучья, среди которых вилась дикая малина. Нижние ветки пихт, тонкие и сухие, свисали вниз, как рыжие бороды.

Снова охватила Ивана тоска. Он вновь был один. Маричка не шла. Закурил трубку и смотрел в огонь, чтобы как-нибудь скоротать ожидание. Должна же была, наконец, прийти Маричка. Ему даже казалось, что он слышит ее шаги и треск веточек под ногами. О! Наконец она... Хотел встать и пойти ей навстречу, но не успел.

Сухие сучки тихо раздвинулись, и из лесу вышел какой-то человек.

Он был без одежды. Мягкие темные волосы покрывали все его тело, росли вокруг круглых и добрых глаз, переходили в клинышек бородки и свисали с груди. Он положил на большой живот заросшие шерстью руки и подошел к Ивану.

Тогда Иван сразу его узнал. Это был веселый Чугайстыр, добрый лесной дух, защищающий людей от мавок. Он был смертью для них: поймают и разорвет.

Чугайстыр добродушно улыбнулся, лукаво подмигнул Ивану и спросил:

— Куда побежала?

— Кто?

— Мавка.

«Это он о Маричке, — с ужасом подумал Иван, и его сердце заколотилось в груди, — вот почему она исчезла!..»

— Не знаю... Не видел, — равнодушно ответил Иван и предложил Чугайстыру:

— Садитесь.

Чугайстыр присел на пенек, отряхнулся от сухих листьев и вытянул ноги к огню.

Оба молчали. Лесной человек грелся у костра и поглаживал свой круглый живот, а Иван думал упорно, каким бы образом дольше задержать Чугайстыра, чтобы Маричка как можно дальше успела убежать.

Но Чугайстыр сам пришел ему на помощь.

Подмигнул Ивану лукавым глазом и сказал:

— Давай потанцуем?

— Почему бы и нет? — радостно поднялся Иван.

Подбросил в костер хвой, взглянул на постолы, обернул на себе рубашку и приготовился к танцу.

Чугайстыр уперся косматыми руками в бока и уже покачивался.

— Ну, начинай...

— Что ж, начинать так начинать.

Иван топнул, выставил ногу вперед, тряхнул всем телом и поплыл в легком гуцульском танце. Перед ним смешно изгибался Чугайстыр. Он жмурился, причмокивал, тряс животом, а его ноги, косматые, как у медведя, неуклюже топтались на месте, сгибались и разгибались, будто толстые ободья. Танец, повидимому, его горячил. Он уже подскакивал выше, приседал ниже, подбадривал себя веселым ворчаньем и отдувался, словно кузнечный мех. Пот каплями выступал вокруг его глаз, стекал струйками со лба ко рту; подмышки и живот были у него в мыле, как у лошади, и Чугайстыр совсем разошелся.

— Вот гайдук! Да второй! — кричал он Ивану и колотил пятками о землю.

— Да хромой!.. Да слепой!.. — поддавал жару Иван. — Го-го!.. танцовать как танцовать!

— Пусть будет так! — плескал в ладоши Чугайстыр и приседал, и вертелся вокруг самого себя.

— Ха-ха-ха! — хлопал себя по бедрам Иван.

Разве он не умеет танцовать?

Костер разгорался веселым огнем и отделял от танцующих тени, бившиеся и корчившиеся на залитой светом полянке.

Чугайстыр уставал. Ежеминутно подносил ко лбу пальцы с грязными ногтями, вытирая пот, уже не скакал, а только мелко трясся косматым телом на месте.

— Может, довольно? — задыхался Чугайстыр.

— Э, нет... еще немного.

Иван и сам едва не падал от утомленья. Вспотел, был весь мокрый, ноги болели у него, а грудь едва ловила воздух.

— Я еще сыграю тебе, чтобы ты танцевал, — подбадривал он Чугайстыра и выхватил свирель из-за пояса. — Ты еще такого не слыхивал, голубчик...



Он заиграл песню, подслушанную им  $\bar{y}$  нечистого в лесу: «Есть мои козы...» — и Чугайстыр, воодушевленный звуками песни, снова подбрасывал пятки выше, жмурился от удовольствия и, казалось, забывал об усталости.

Маричка могла быть теперь спокойна.

«Беги, Маричка... не бойся, душка... Твой враг тапцует», — пела свирель.

Шерсть облипла на Чугайстыре, точно он только что вылез из воды. Слюна текла струйкой изо рта, открытого радостью движенья. Чугайстыр весь блестел при огне, а Иван поддавал жару веселой игрой и, словно в беспамятстве, в изнеможении, в забытии, бил о камень поляны ногами, с которых уже слетели постолы...

Чугайстыр наконец изнемог.

— Будет, не могу...

Упал на траву и, закрыв глаза, тяжело дышал.

Иван повалился на землю рядом с Чугайстыром и оба они тяжело дышали.

Наконец Чугайстыр тихонько хихикнул:

— Ну, и намахался я сегодня здорово...

Удовлетворенно помял круглый живот, кряхтя, разгладил на груди волосы и начал прощаться.

— Покорно благодарим за танец.

— Будьте здоровы.

— Всего хорошего...

Раздвинул сухие веточки пихты и нырнул в лес.

Полянку снова обняли мрак и тишина. Костер, доглевая, мигал во тьме одиноким красным глазом.

Но куда же скрылась Маричка?

У Ивана было много еще о чем ей поведать. Ему хотелось рассказать ей всю свою жизнь, рассказать о тоске по ней, о безрадостных днях, одиночестве среди врагов, несчастливой женитьбе... Но где она была? Куда убежала? Может быть, налево? Ему казалось, что он видел ее в последний раз слева.

Иван направился налево. Тут была чаша. Пихты сбились так тесно, что трудно было пролезать между их шершавыми стволами. Сухие нижние сучки кололи ему лицо. А он шел. Брел в густой темноте, едва не падал и беспрестанно натывался на стволы. Иногда ему казалось, что кто-то его зовет. Останавливался, затаив

дыхание, и прислушивался. Но лес наполнял такая глубокая тишина, что шелест сухих сучков, которые он задевал плечом, казался ему шумным паденьем дерева, подрубленного топором. Иван шел дальше, протянув руки, словно слепой, который ловит руками воздух, боясь наткнуться на препятствие.

Внезапно до его слуха донеслось тихое, едва уловимое дыханье:

— Ива!..

Голос слышался где-то сзади, долетал откуда-то из глубины, словно пробивался сквозь море хвои.

Значит, Маричка была не тут.

Надо было вернуться назад. Иван спешил, ударялся коленями о пихты, отводил руками ветки и закрывал глаза, чтобы не наколоться на иголки. Ночь как бы хватала его за ноги и не хотела отпускать, а он волок ее за собой и рассекал грудь. Блуждал уже долго, а все не находил полянки. Земля под его ногами начинала теперь спускаться в долину, огромные камни преграждали путь. Он обходил их, скользя каждый раз на мхах, спотыкался, задев цепкие коренья, хватался за траву, чтобы не сорваться.

И снова из ущелья, из-под его ног, дошел до него слабый зов, заглушенный лесом:

— Ива-а!..

Он хотел откликнуться на голос Марички, но не смел, опасаясь Чугайстыра.

Теперь уже знал, где надо ее искать. Пойти направо и спуститься вниз. Но здесь было еще круче, и казалось странным, как могла спуститься здесь Маричка. Мелкие камни сыпались из-под ног у Ивана, с глухим шумом падая в черную глубину. Но он, ловкий, привычный к горам, умел останавливаться на краю кручи и снова осторожно искал упора для ног. Чем дальше, тем все трудней становился спуск. Раз едва не упал, но ухватился за выступ скалы и повис на руках. Не знал, что там, под ним, но почувствовал холод и зловещее дыханье бездны, разевавшей навстречу ему ненасытную пасть.

— Ива-а!.. — стонала Маричка где-то в глубине, и звучал в ее голосе призыв любви и муки.

— Иду, Маричка! — бился в Ивановой груди ответ, страшась вылететь оттуда.

Он уже забыл об осторожности. Скакал по камням, как дикий козел, едва ловя воздух открытым ртом, ранил руки и ноги, припадал грудью к острой скале; почва иногда уходила у него из-под ног, и, сквозь горячий туман желанья, которым он был охвачен, скатываясь в долину, Иван слышал только, как его торопит дорогой голос:

— Ива-а!..

— Я тут! — крикнул Иван и внезапно почувствовал, что его увлекает бездна. Обхватила, перегнула назад. Хватал руками воздух, ловил ногами сорвавшийся камень и чувствовал, что летит вниз, полный холода и странной пустоты. Черная тяжелая гора расправила крылья пихт и вмиг, как птица, взлетела над ним в небо, а острое смертельное любопытство обожгло мозг. Обо что ударится головой? Чувствовал еще, как трещат кости — острую нестерпимую боль, которая свела его тело, — и все расплылось в красном огне, и этот огонь сжигал его жизнь...

На другой день нашли пастухи едва живого Ивана.

\* \* \*

Печально рассказывала трембита горам про смерть.

Ведь у смерти здесь свой язык, на котором она говорит с одинокими лысыми горами. Били копытами лошади по каменным тропам, постола шуршали в темноте ночи, а из логовищ людских, затерянных в горах, спешили соседи на поздние огни. Преклоняли перед телом колени, клали на грудь мертвеца деньги на помин души и молча садились на лавки. Седые волосы сочтались с огнем красных платков, здоровый румянец — с желтым воском сморщенных лиц.

Погребальный свет плел сеть однообразных теней на мертвом и на живых лицах. Тряслись зобы многих хозяек, тихо сияли старческие глаза, уважая смерть; мудрый покой соединял жизнь и смерть, и жесткие нагруженные руки тяжело лежали у всех на коленях.

Палагна оправляла полотно на мертвеце, а пальцы ее ощущали холод мертвого тела, в то время как

теплый сладковатый запах воска, стёкавшего по свечам, подымал из груди к горлу жалость.

Трембита плакала под окном.

Желтое лицо Ивана спокойно лежало на полотне, затаив что-то, только ему известное, а правый глаз лукаво глядел из-под немного приподнятого века на медные деньги, на сложенные руки, в которых горела свеча.

У изголовья смертного ложа невидимо отдыхала душа; она еще не смела вылететь из хаты. Палагна обращалась к ней, к этой одинокой душеньке мужа, сиротливо жавшейся к недвижимому телу:

— Почему не заговоришь со мной, почему не взглянешь, не исцелишь ран моих? А в ту дорожку, в которую собираешься, муж, буду провожать тебя! — голосила Палагна, и грубый голос ее срывался на жалобных нотах.

— Хорошо голосит... — кивали головами старые соседки и слышали ответные вздохи, расплывавшиеся в шуме людских голосов.

— Мы вместе пастушили на пастбище... Раз как-то пасли овец, да и поднялся студеный ветер, будто зимой... Такая метель, что света не видать, а он, покойник... — рассказывал хозяин-сосед соседям. И губы их шевелились при этих воспоминаньях, ведь приличествовало утешить печальную душу, разлученную с телом.

— Ты ушел, а меня одну оставил... С кем же мне теперь хозяйничать, с кем скотиноньку обряжать? — вопрошала мужнину душу Палагна.

В раскрытые двери, прямо из темной ночи, вступали в хату все новые гости, преклоняли перед телом колени и снова бросали на грудь Ивана деньги, и опять пододвигались на лавках люди, чтобы дать место вновь прибывшим.

Толстые свечи медленно таяли, обливаясь воском, словно слезами, бледное пламя лизало душный воздух, и синий чад смешивался с печальным запахом воска и испарениями тел, висел над глухим гомоном в хате.

Становилось тесно. Лицо склонялось к лицу, теплое дыхание смешивалось с дыханьем, потные лбы ловили блеск погребального света, который зажег переменчивые огни на затканых канителью запасках, на поясах

и сумках. А хата все наполнялась новыми гостями. уже толпившимися за порогом.

Тело тронулось. Белесые пятна, как лишай, ползли по нему едва заметной тенью.

— Муж мой сладчайший, на беду ты меня оставил...— жаловалась Палагна.— Не будет кому в город пойти, и принести, и дать, и взять, и привезти...

А за окном скорбно повествовала об этом трембита, умножая ее горе.

Не достаточно ли уже причитаний для бедной души?

Эта мысль, повидимому, таилась под тяжестью гнетущей печали, потому что за порогом уже начиналось движение. Еще несмело топали ноги, толкались локти, лишь по временам гремела скамья, голоса рвались и смешивались в глухом гомоне толпы. И вот внезапно высокий женский смех рассек тяжелые покровы печали, прежде сдерживаемый шум вырвался, как вырывается пламя из-под шапки черного дыма.

— Эй, ты, носатый, купи у меня зайца! — басил молодой голос, и в ответ ему прокатился подавляемый смех:

— Ха-ха! Носатый!..

— Не хочу.

Начиналась забава.

Сидевшие ближе к двери повернулись спиной к телу, готовые присоединиться к игре. Веселая улыбка разгладила их лица, минуту тому назад сморщенные печалью, а заяц переходил все дальше и дальше, захватывая круг все шире и шире и уже добирался до самого мертвеца.

— Ха-ха! Горбатый!.. Ха-ха! Хромой!..

Пламя свечей колыхалось от этого смеха, и стоял дым и чад.

Один за другим гости вставали с лавок и расходились по углам, где было тесно и весело.

На лице мертвеца все разрастались пятна, словно затаенные мысли заставляли его шевелиться, беспрестанно меняя выражение. В поднятом уголке губ словно застыла горькая дума: что наша жизнь? Вспышка в небе, цвет черешни...

В сенях уже целовались.

— А кого выбираешь?

— Аннычку чернявую.

Аннычка будто бы не желала и упиралась, но десятки рук выталкивали ее из толпы, и горячие уста прибавляли ей смелости.

— Иди, девонька, иди...

И Аннычка обнимала того, кто ее выбрал, и звонко целовала в губы при общих радостных криках.

О теле забыли. Только три старухи остались при нем и скорбно глядели стеклянными глазами, как по желтому застывшему лицу ползала муха.

Молодицы спешили принять участие в игре. С глазами, в которых не успел еще угаснуть огонь смерти и стереться образ мертвеца, они охотно шли целоваться с чужими мужьями, равнодушные к своим мужьям, также обнимавшим и прижимавшим к себе чужих жен.

Звонкие поцелуи раздавались в хате и соединялись с плачем печальной трембиты, не перестававшей извещать дальние горы о смерти на одинокой горе.

Палагна не голосила больше. Уже было поздно, и надлежало хозяйке принять гостей.

Веселье все разгоралось. Становилось душно, люди прели в овчинных безрукавках, дышали испареньями, чадом теплого воска и запахом трупа, который уже начинал портиться. Все говорили громко, будто забыли, почему они здесь, рассказывали о своих приключениях и смеялись. Размахивали руками, хлопали друг друга по спинам и подмигивали женщинам.

Не вместившиеся в хате разложили костер на дворе и совершали вокруг него веселые игрища. В сенях погасили свет, дивчата визжали, а хлопцы давились от смеха. Игра потрясала стены хаты и волнами вопля билась о спокойное ложе мертвеца.

Желтый огонь свечей затмился в густом воздухе.

Даже старики принимали участие в забаве. Беспечный хохот потрясал их седые волосы, расправлял морщины и открывал гнилые пеньки зубов. Они помогали более молодым ловить женщин, расставив дрожавшие руки. Звенели мониста у молодых на груди, женский визг раздирал уши, гремели скамьи, сдвинутые с места, и ударялись о лавку, на которой лежал мертвец.

— Ха-ха!.. Ха-ха!.. — катилось от красного угла до порога, целые ряды людей сгибались от смеха вдвое, держась за животы.

Среди давки и тесноты нестерпимо трещала «мельница» деревянным треском.

— Что будешь молоть? — упорно выкрикивал мельник.

— Кукурузу... — проталкивались к нему дивчата, и ссорились между собой ряженые, приклеив длинные бороды из пакли.

Тугой жгут, свитый из полотенца, мокрый и размашистый, со свистом хлестал по спинам направо и налево. От него убегали, опрокидывая среди хохота и крика встречных, подымая пыль и портя воздух. Пол дрожал от тяжести молодых ног, и скакало на лавке тело, тряся желтым лицом, на котором все еще играла загадочная улыбка смерти.

На груди тихо брнчали медные деньги, брошенные добрыми людьми на перевоз души.

Под окнами скорбно рыдали трембиты.

*3 октября 1911 г.*

Чернигов.

## ПОДАРОК НА ИМЕНИНЫ

Карп Петрович Зайчик, околоточный надзиратель, вернулся, наконец, со службы домой. Фу-ты, ну-ты!.. Он был голоден и зол. Скрипел сапогами, хлопал дверьми. Базарная брань и беспорядок участка еще клокотали в нем,—сердито шевелились губы и квадратное лицо, наливался кровью кулак, еще более тяжелый от массивного перстня. Вошел в комнату, шелкнул по-офицерски лакированным сапогом о сапог и с досадой кинул фуражку на окно. Но от этого движения подскочил на подоконнике женин беззубый гребень, и легкий сбитый комок грязных волос прицепился к рукаву.

— Фу-ты! Б... привычки!

Сухой, жаркий, весь в пыли день уже угасал за окном. На столе мутно белели две пустые тарелки, и перевернутая ложка ловила красный отблеск заката.

— Сусанна!

— Несу! — ответил откуда-то из глубины низкий голос.

Карп Петрович устроился за столом и расстегнул мундир. Ему было душно. Суконный воротник тер шею, а китель еще и до сих пор в стирке!.. Сти-рка!..

Едва удержался от грубой брани.

Нетерпеливо пощипывал хлеб и, сопя, жевал.

Лакированные сапоги тонко скрипели под столом.

В дверях появилась Сусанна. Пар над блюдом застилал ей лицо, мягкое и белое, как из свежего теста, и она, словно летнее облако, проплыла от порога к столу в



своих муслинах, по которым ползли какие-то большие глупые цветы.

— Пришлось подогреть... все остыло...

— А ты не разбрасывала бы свои кудели по всем углам...

Сусанна сделала большие глаза:

— Где?

Карп Петрович разогнул палец, ткнул им назад, в окно, и застыл в гневе; глаза его были вытарашены, кулак красен.

— Б... привычки!

— Тс... — цикнула жена на него, — там Доря.

Карп Петрович искоса взглянул на щелку в дверях, откуда пробивался свет, и только теперь услышал звонкий голос мальчика, беспрестанно поющий:

— Семью восемь — пятьдесят шесть... семью восемь — пятьдесят шесть.

Это его сразу успокоило. Склонился к тарелке и начал хлебать суп, обводя время от времени комнату взглядом.

В углу под образами мертво мигала лампадка, с этажерки свисала новенькая гимназическая шинель, лоя пуговицами острые красные блики.

Разве завтра воскресенье? Фу-ты, ну-ты! Как он мог забыть? Ведь завтра Дорины именины...

Сусанна, выставив зад в больших, широких цветах, поднимала комок волос, упавший под стол.

«Б... привычки!» Вспомнил! Ну, и была в публичном доме, но потом они законно обвенчались. Разве она неверная жена? Однажды, правда... Да если бы не она, если бы не пошла на ночь к полицмейстеру, до сих пор кис бы в писарях... А теперь — надзиратель. Дорю в гимназии учат, и сама казначейша у них бывает.

Кровь заливала шею Сусанне, и только складки на шее белели, словно меловые.

Она сердито вышла из комнаты.

Карп Петрович жевал и в задумчивости мягко барабанил пальцами по столу.

— Доря!

Доря появился на пороге, серый и неуклюжий, в длинных, до полу, гимназических штанах, а отец смотрел на его ноги, негнущиеся и толстые, как у слоненка.

— Тебя сѣгодня спрашивали?

— По географии пять.

— А ты, случайно, не того... не бре-бре?

Доря обиженно фыркнул и откинул белобрысый вихор.

— Ей-богу, сам видел... А Козерогу пару влепили.

— Что это за Козерог?

— Там один у нас... Дорка Сосновский...

— Вице-губернаторский сын?

— Мы его хорошо сегодня намяли. Даже кровь носом пошла...

Карп Петрович ощутил холодок под мундиром. Такой знакомый и неприятный, с каким он всегда встречал начальство.

— Дор-ка! — крикнул он строго. — Только тронь мне его еще раз — я тебе дам!.. Фу-ты, ну-ты, господи боже... вице-губернаторский сын...

Он поднял палец с тяжелым перстнем и погрозил им. Сусанна принесла лампу и придвинула еду.

Муж не глядел на нее, еще скованный удивлением и страхом.

Жирное пятно отчетливо зачернело при свете на новеньком сукне мундира.

— Ешь... простынет... — напомнила Сусанна.

Он начал есть жадно и неопрятно, брызгал соусом на скатерть и чавкал, а на губах его, лоснящихся и красных, играла легкая усмешка. Он был все же удовлетворен. То, что его мальчишку звали так же, как и вице-губернаторского сына, что они вместе учились и что Доря осмелился бить такого барчонка, наполняло его радостным изумлением. Вот хотя бы и он, Карп Петрович! Он носил серебряные погоны и шашку, как офицер... Его боялись, — он мог причинить людям много зла... А несмотря на это, ему приходилось вытягиваться в струнку и козырять этому сопляку только потому, что тот был сыном его начальства. Как он был счастлив, когда ему однажды удалось подсадить барчонка в коляску, а вот его Доря... Хе-хе!

Сусанна тем временем таинственно закрывала что-то в углу на диване и тревожно поглядывала на дверь, за которой Доря бубнил уроки.

— Что ты смеешься?

Он шопотом рассказал ей то, что слышал от Дори, и оба долго улыбались друг другу глазами.

— Хе-хе!

— Хи-хи!

— Завтра нашему Доре кончается десятый год... — мечтательно проговорила Сусанна, показав порченные зубы, и отогнула уголок подушки, из-под которой что-то блеснуло.

— Покажи, Сузя... что там такое?

Карп Петрович поднялся из-за стола, несколько раз качнулся на блистающих лаком сапогах и подошел к дивану.

— Тс... — слабо пискнула Сусанна, колыхнув тяжелой грудью. Всем мягким телом, как тестом, вылезшим из квашни, навалилась на подушку.

— Потом покажу... а ты что ему подаришь?

Карп Петрович щелкнул пальцами. Фу-ты, ну ты! Его низкий лоб, ухотивший в заросли волос, как мелкая река в лозы, сморщился. Он открыл рот и немного подумал.

— Я...

Но Сусанна испуганно замахала на него руками. Еще Доря услышит!

Доря им мешал. Они хотели, чтобы он скорее шел спать.

За дверью слышался шелест страниц, хлопанье книгой по столу и сердитое ворчанье.

— Что ты, Дорик?

Он появился на пороге, лоб его и пальцы были в чернилах, он хныкал:

— Задачу не могу решить.

— Фу-ты, ну-ты! Вот какое горе... А подай-ка сюда задачу, посмотрим, что за зверь.

Карп Петрович потирал руки. Он походил на добродушного медведя перед ульем с медом.

Отставил далеко от себя книгу и читал, словно рапорт:

— «Трое купцов должны были поделиться». Ты представь себе трех купцов, например — наш Сруль, Ицек и Пинька... Кажется, нетрудно... «У второго было денег в два раза больше, чем у первого»... Понимаешь, чем у первого. «А у третьего столько же, сколько у тех двух

вместе»... Значит, у Пиньки было столько же, сколько у Сруля и Ицека. Ну, понял? Очень просто.

Но Карп Петрович и сам не верил, что это так просто. Он путался, кричал на Дорю, тыкал толстым пальцем в задачник, точно хотел раздавить всех трех купцов, и в конце концов так вспотел, что Доре неприятно было глядеть на капельки пота на лбу у отца.

— Идиотская задача. Чему вас там учат?

Он со злостью швырнул задачник и поднялся сердитый и окончательно взволнованный.

— Как они мучают бедных детей!.. — горячо возмутилась Сусанна, тоже от напряжения мокрая под облаком пышных муслинов.

Но Доря вдруг сверкнул глазами, ударил себя карандашом по лбу и в две минуты удовлетворил купцов.

— Тоже арихметик! — набросилась на мужа Сусанна. — Не мог разделить несколько рублей...

И обняла счастливым взором серую фигуру сына, точно чужую в длинных, до полу, брюках.

— «Арихметик»... Молчала бы, если сказать не умеешь! — сердито буркнул Карп Петрович. — У меня свои задачи. Побыла бы хоть раз на дежурстве.

Смутясь, он даже забыл щелкнуть по-офицерски сапогом о сапог.

Достал из брюк большой портсигар, тоже офицерский, взвесил его на ладони и закурил.

Зеленый свет лампы мягко сливался с розовым, струившимся от образа в углу, новые пуговицы на гимназической шинели горели, как самоцветы, а синий дым папиросы легкими волнами парил в теплой тишине комнаты. Доря снова бубнил за дверью.

Карп Петрович снял с этажерки шинель и мял в руке сукно.

— Материал хороший, кажется.. и сшил неплохо.

Он любовно погладил шинель и снова повесил ее на место.

— Ах, какой Доря смешной! Оделся утром, фуражку на голову — и вошел ко мне в спальню. Я только что проснулась, была в одной рубашке, да как крикну с перепугу, решила — кто чужой... Потом мы долго смеялись.

— Сколько взял Шмуль за фуражку?

— Рубль двадцать отдала... Божился, что потерял на этом тридцать копеек.

— Ах, сукин сын! Больше рубля не надо было давать. Где же фуражка?

Она подала ему фуражку, сняв ее осторожно со стены, на которой висела икона, и он долго любовался новым серебром листочков, — непонятным и таинственным для него символом гимназической мудрости.

Затем их глаза встретились и засияли; супруги поняли друг друга без слов.

— Хе-хе! Как, шельма, быстро решил задачу!

— Хи-хи... И по географии пять.

Их еще больше радовало, что вице-губернаторский сын получил только двойку.

Доря пришел сказать доброй ночи.

Они остались одни.

Карп Петрович нетерпеливо набросился на жену:

— Показывай, что ты купила?

Но Сусанна и сама уже доставала из-под подушки подарок. Опустилась в белых волнах платья на пол, и под тяжелой грудью ее сухо затрещала пружина.

Он, скрипя сапогами, тоже присел около жены, едва не задохнувшись от сладкого запаха пудры.

Наконец жестяной пароходик выскользнул из рук и поплыл по полу, роя носом, словно на волнах, и наполняя комнату громким дребезжанием металла.

— Как ты думаешь, Карп, Дорик обрадуется?

Карп Петрович не ответил. Он молча следил за пароходом и, когда тот зацепился за ножку стула, отцепил и пустил дальше.

Потом еще раз завел.

— Убери свой хвост! — нетерпеливо прикрикнул на жену, когда пароходик ткнулся носом в ее юбку.— Расселась!..

Он даже ползал за ним по полу.

Сусанна сидела счастливая, показывая порченные зубы, вся в тених от широкого круга волос, на две трети чужих.

Пароходик дребезжал.

Наконец Карп Петрович поднялся. Перевел взгляд с игрушки на жену и презрительно чмокнул губами.

— Чорт знает что...

— Как чорт знает что? — удивилась Сусанна.

— Конечно. Не пристало ему забавляться игрушками.

— Что ты знаешь, кроме своего участка? Ты бы посмотрел, как Доря еще и сейчас одевает своих кукол, а он «чорт знает что»!

Сусанна от неудовольствия скисла и осела, как тесто в квашне.

— Интересно, что ты придумал?

Карп Петрович вдруг просиял. Лицо его осветила добрая улыбка, и тепло вспыхнули глаза.

— Я ему игрушки не подарю... Я для него такое придумал...

Он даже торжественно поднял палец с тяжелым перстнем.

— Я для него такое придумал, что... фу-ты, ну-ты! Запомнит навсегда. И даже вице-губернаторский мальчик не сможет того увидеть, что я покажу Доре... Пусть...

— Да не тяни...

— Пусть будет чем вспомнить отца. Состарится, внукам рассказывать станет: «Еот, скажет, был я ребенком еще, а мой покойный отец...»

— Карп! Почему ты не скажешь сразу?

Сусанна даже всхлипнула от нетерпенья.

Тогда Карп Петрович приблизился к ней, вытянул красную шею и почему-то перешел на шопот:

— Я повезу его завтра смотреть, как будут вешать.

— Ах, ах! — испугалась Сусанна. — Как можно ребенка...

— «Ребенка, ребенка»... — передразнил Карп Петрович. — Именно ребенка. Разве ему не интересно? Ребенок еще лучше запомнит. Надо, чтобы у него остались воспоминания на всю жизнь. А она думает как? Гладить по головке да держать у своей юбки?

Он уже кричал и своим криком убеждал мягкотелую Сусанну:

— Во-спи-ты-вать надо!

— Ах, ах! — она вздохнула и таращила глаза на мужа. — Может быть, и верно! Пускай посмотрит. Нет, верно, пускай. Придется ли другой раз! Сколько детей:

и ӯ казначейши, и ӯ полицмейстера... а никто не уви-  
дит, один Доря...

Она начала привыкать к этой мысли. Подумать только: он увидит, как будут вешать человека. Ей и самой бы хотелось. Ах, Дорка, счастливый...

Забыла о Дорке и стала думать о себе. Ей было горько. Прожила на свете тридцать лет, и ни разу не пришлось ничего подобного видеть. Разве Карп когда-нибудь подумал о ней? Сиди весь век на кухне, возись с помоями, нет тебе ни удовольствия, ни развлечения...

— А кого вешать будут? — сверкнула она глазами.

Карп Петрович поколебался с минуту и, наконец, махнул рукой.

— Ну, хорошо. Ты знаешь, Сузя, я не имею права рассказывать, но тебе скажу, а ты смотри у меня — ша! ни словечка никому. Вешаем женщину, бросившую в губернатора бомбу.

— Ах, ах! Ты ее видел? Молодая, красивая? Вот бы интересно. Голубчик, Карп... мне бы взглянуть... хоть издали, как-нибудь...

Карп Петрович испуганно замахал на нее руками.

— Фу-ты, ну-ты! Только тебя нехватает. Мне и с Доркой трудно...

Сусанна надулась. Всегда так. О ней и не думают. Однако в заботах о Доре она скоро забыла свое неудовольствие. Долго совещалась с мужем, когда будить мальчика, как его одеть, пускать ли в гимназию завтра, может быть сделать ему праздник.

— Разумеется! — развеселился Карп Петрович. — Пусть погуляет.

Он был в чудесном настроении. Насвистывал вальс, который теперь ежедневно играли в цирке, щелкал сапогом о сапог, как настоящий офицер.

— Палачом, наверно, Яким будет, — бросила, точно не к мужу обращаясь, Сусанна.

— Яким.

— Кто б мог подумать! Вынянчил нашего мальчика... Доря так его любит.

— Залоем пьет, стерва.

Она все больше проникалась мужниным планом. Ну и придумал.

Зеленая лампа тепло сияла в комнате, как доброе сердце в груди, пароходик дремал на полу, уткнувшись в диван. Карп Петрович со скрипом дрыгал ногой в такт своим мыслям, а Сусанна в мирной тишине комнаты мечтала о лучших временах, когда Карпа, наконец, оценят.

И полная радостного чувства, тихо подошла к мужу и поцеловала в мокрый лоб.

— Пора спать... завтра надо вставать рано... Ах, Дорик, счастливый!

\* \* \*

— Отстань, мама!

Доря не хотел вставать. Тарашил глаза, испуганные светом, и вновь падал на подушку. Но когда мать заключила его в свои объятия и на полу затрещал пароходик — вспомнил сразу, что сегодня его день. Тогда он быстро соскочил с постели, теплый, золотистый, длинный, и присел посреди комнаты над пароходом.

Вдруг большие, холодные от умыванья руки легли ему на грудь и ребра и подняли куда-то ввысь, в смешанный запах табака и помады, в щекотание жестких волос, теплых отцовских губ. Слегка оцарапанный твердым холодом пуговиц и погон, Доря доверчиво прижался к отцу, а когда пятки его снова коснулись пола, густой голос мягко прогудел над ним:

— Одевайся скорей. Сейчас поедем.

Доря поднял на отца глаза.

Поедут? Куда?

Рыбу ловить? Тихая река, можно ходить босиком по песочку... Удочка дугой, и серебряный блеск рыбки на леске. «Бултых», — сказала вода, проглотив камешек. А может, поедут куда-нибудь далеко, далеко... в неведомый город. Будут ехать, ехать, ехать... Деревья станут кружиться и убегать назад. Нивы сами лягут лопшалам под ноги. Мухи облепят конские крупы, а над головой будет пищать птичка...

Хотелось спросить отца, но его уже не было.

И внезапно ранец, полный книг, все испортил.

«А гимназия? А уроки?»

— В гимназию сегодня не пойдешь, Дорик, — поняла его Сусанна.



Он повернулся на одной ножке, шлепнул себя по бедрам с радостным писком птенчика и опять присел над своим пароходом.

Но его начали торопить.

Одевался спеша, в праздничном настроении, ощущая полноту бытия, дрожая каждой жилкой от холодка рубашки и теплых маминых рук, жадно глядящий на мир, словно воробушек, который все раскрывает клюв в гнезде.

Незастегнутый, с поясом в руке, обежал весь дом. У крыльца дремали извозчик и лошадь, на кухне пищали котята, в столовой отец допивал чай.

Доря хотел приласкаться к нему, но не смел. Только благодарно обнял глазами широкую спину и парадные погоны.

«Селедка!» — вспомнил свое гимназическое прозвище, — и до слез обидно стало за отца: ведь из-за него так дразнили.

Утро стояло тихое и теплое, но Доре велели надеть ватную шинель. Твердый воротник подпирал ему шею, а мать, еще вся в белом, склонилась над ним припухшим от сна лицом и, непричесанная, щекотала его волосами, с трудом просовывая пуговицы в новые петли.

— Ну, пора ехать.

Улицы были безлюдны. И как странно было, что еще спят дома, деревья и заборы, а они едут куда-то, неизвестно зачем, и отец молчит. Отцовские руки, в белых нигяных перчатках, тяжело лежали на эфесе шашки, а извозчикова спина сонно покачивалась с боку на бок. Проезжали мимо здания гимназии, застывшего в надменности тяжких колонн и черных холодных окон. Жаль, что еще так рано и никто не увидит, как Доря едет в неведомые края, в теплой, новенькой шинели. «Прощайте, прощайте! Не вернусь никогда...» — и за спиной остались бы только завистливые взгляды мальчиков, раскрытые от смеха рты, полные белых зубов.

Из города спустились в долину, и колеса внезапно затихли, словно в воду попали, запахло хлебом, а небольшие дома дремали, как коровы на скотном дворе.

— Тебе удобно? — спросил отец, и Доря поймал его взгляд на своем гербе, на сияющей пуговицами груди.

Начинало светать. Густой запах поздних гречих и сухого жнивья донсился с поля. Оно уже расстилало по обеим сторонам вырезные, как у бабочки, крылья, а в зеленом небе рождались голоса.

Земля пробуждалась. Гречиха заколыхалась белыми пенистыми волнами. К пашне припадали теплыми грудками птицы, а ветер покачивал царские скипетры и васильки. Полные, розовые, как только что проснувшиеся дети, плыли гучки, на жнивье уже начинали свою работу жуки, а полевые мухи почесывали лапками брюшко и расправляли смятые крылышки. Можно было слышать неуловимое дыхание жизни, движение земных соков, с ними перекликались Дорина горячая кровь. Куда еще ехать? Вот сойти бы здесь, побегать по широкому полю или полежать на траве.

Взошло бы жаркое солнце, и протянулись бы над полем, словно струны, осенние паутины.

Карп Петрович тревожно посматривал вперед. Он боялся опоздать. Ему хотелось сказать Доре, куда они едут. Говорить или нет? На квадратном лице легли одна за другой мелкие морщинки, а руки утратили тяжелую неподвижность. Нет, не надо говорить, пускай это будет сюрприз. Он любовно обнял Дорю за талию и прижал к себе.

Белая извозчицья кобыла заметно хромала. Приподнимала заднюю ногу и старалась бежать на трех. «Ах, стерва, мучает бедную лошаденку... Фу-ты, ну-ты! Не подковал, скотина!..» И только тут в нем зашевелилась мысль: хорошо ли он поступил, взяв с собою Дорю? Но набежали воспоминанья — и он успокоился. Еще в детстве его возили смотреть на расстрел трех солдат, и эта картина осталась у него перед глазами на всю жизнь, тогда как другие подобные картины, которые он часто видел, уже не производили на него такого впечатленья. Может, следовало бы взять разрешение у Дориного директора?

— Доря! Ты боишься директора?

— Коровы?

— Какой коровы? — удивился Карп Петрович.

— У нас так директора дразнят.

Доря надулся, втянул голову в плечи и важно и гнусаво процедил:

— Госпо-да гимназисты обязаны вести себя пристойно, ходить в церковь, уважать...

— Ха-ха! — не удержался Карп Петрович. — Как, как?

Перед ним, точно живой, встал толстый директор с большим застывшим лицом, по самую фуражку полный тупого чванства, и неповоротливый, как стельная корова.

— Ах ты, пузыры! Как ты смеешь смеяться над своим начальством?

Но Доря не верил в неискренний гнев отца. Он так надулся, что даже покраснел, расставлял ноги, словно поленья, и, неуклюже растопырив пальцы, гну-савил:

— Замеченных в занятии социализмом или в хождении после шести часов по городу...

— Ха-ха! — хохотал Карп Петрович, забыв свою серьезность, — настоящий комедiant!.. Стой! — внезапно толкнул он извозчика в спину, — не видишь, приехали...

В стороне от дороги две дикие груши трепетали мелким листом на утреннем холодке.

— Сворачивай под груши...

Еще красный и вздрагивающий от смеха, Карп Петрович слез с пролетки, взял Дорю за руку и подвел к деревьям.

Тогда Доря увидел, что он стоит над оврагом, что желтая глина скатывается у него из-под ног, что на дне чернеют люди, а в густых предутренних тенях отчетливо белеют столбы.

Что это такое?

Сначала он подумал, что сегодня народное гулянье, что вот-вот вдруг заиграет шарманка и закачаются на качелях люди.

Он был разочарован немного.

Отец крепко сжал его руку и глухо, с присвистом сказал:

— Смотри и не пропускай ничего, старайся, чтобы тебя никто не заметил. Лучше всего спрячься за грушу.

Потом начал спускаться в овраг, мерцая серебром погон и осыпая шашкой глину, а его руки, зажатые в перчатки, плавали в воздухе, как голуби.

Утро светлело. На горизонте, за оврагом, легкие тучки загорались, как от огня солома; а тяжелые — тлели красным цветом, точно дубовый уголь.

На помост, к сосновым столбам, кто-то влез и потянул за веревку, словно хотел удостовериться, крепка ли.

— Яким! — обрадовался Доря. Ему показалось, что он видит водянистые, блуждающие глаза Якима, в которые он так часто глядел, когда тот еще носил его на руках.

— А где же музыка?

Но вместо музыкантов он увидел мундиры и холодный блеск ружей. Отец, вытянувшись в струнку, отдавал кому-то честь, а его белая, в перчатке, рука и согнутый локоть будто бы дрожали. У кого-то ярко желтели погоны по обеим сторонам безусого лица и два ряда пуговиц сливались в желтые дорожки. Несколько поодаль стоял поп, мотал лысой головой, словно комаров отгонял, и все расстилал серебряный шелк бороды по сукну черной рясы, все гладил фиолетовые отвороты широких рукавов.

«Молебен?» — подумал Доря.

Ему стало скучно, и он услышал над головой мелкий торопливый шопот груши.

Оглянулся на извозчика. Нагнувшись, тот ковырял в колесе пальцем. Его долгополый синий кафтан весь в рыжих складках закрывал ноги, точно юбка. Белая лошаденка дремала на трех ногах, подогнув четвертую.

Над головой коротким отрывистым писком откликнулась птичка.

Доря снова взглянул в овраг. Теперь он заметил женщину среди группы мужчин. Косынка, завязанная узлом под подбородком, сливалась с ее лицом в одно белесое пятно, а на темной одежде светились, как ночью фосфор, руки, белые и прозрачные.

— Приехал смотреть, панич?

Извозчик вдруг подошел к нему и стал рядом.

— А что? — повернулся к нему Доря.

— Ничего, смотри. Вырастешь — пригодится.

В его круглом глазе, — другой глаз извозчик прищурил, — в голосе, в уголках губ было что-то вызывающее, оскорбительное.

— Молебен будут служить, Семен?

— Кха! — крикнул Семен. — Молебен, так его мать... Они ей отслужат молебен...

— Нет, скажи правду, Семен — просил его Доря.

Семен молчал. Насмешка застыла на его лице, и лицо стало твердым, жестоким.

Молча поднял он полы кафтана под самую грудь, достал табак и принялся свертывать цыгарку. Кобыла начала мочиться. Семен посвистал ей тихонько, а тем временем табачная труха высыпалась из цыгарки на землю. Кончив свертывать, он старательно заклеил цыгарку и недоверчиво глянул на Дорю.

— Папенька не сказывали?

— Ей-богу, нет, — божился Доря. — Сегодня, видишь, мои именины, и он...

— Так... на именины, значит... Ловко придумал.

Семен зажал цыгарку между толстыми черными пальцами, а другую руку поднял, повел ею вокруг шеи, дернул вверх, захрипел, потом засмеялся.

— Капуг!

— Капуг? — вытаращил Доря на него большие и невинные глаза.

Тогда извозчик объяснил:

— Повесят барышню сейчас... Молебен, так их мать...

Доря почувствовал, как по его телу прошел холодок.

— Неправда... ты все шутишь... — покраснел он сразу.

— Конечно, шучу...

И снова захрипел, сделав над головой то же самое движение.

Что-то подступило к Дориному сердцу и так нехорошо разлилось по рукам и ногам.

— Как, совсем повесят?

Голос его оборвался, и губы перекошились от жалости.

— Не совсем, а только пока ноги не перестанут дергаться...

Швырнул окурок, сплюнул и прибавил:

— Яким справится скоро... не впервой!

Солнце зажгло кровавые огни на клеенчатой шляпе Семена, а Доря смотрел на него с таким холодным

ужасом, словно не Яким, а извозчик должен был сейчас вешать женщину с бледным лицом.

В голове его вдруг пронеслись разговоры, слышанные дома. Отдельные слова казались тогда такими обычными, далекими и невероятными, как в сказке... А теперь все приблизилось и ожило.

Теперь он иначе взглянул на этот обрэг, на неподвижные ряды солдат, блестящие формы начальства, на бледную женщину в белой косынке и сосновые столбы. Все это слилось в одном слове: «повесят» — невыносимо ужасном и диком

Яким тем временем перестал поправлять веревку, — она слегка покачивалась, — спустился вниз и подошел к женщине. Женщина отстранила его движеньем худой, будто голубой руки, сделала неровный шаг, а затем твердо пошла к столбам.

«Вот сейчас!.. Вот сейчас...» — что-то крикнуло в Доре и обожгло, а его ноги сами шагнули в пропасть, обсыпая глину... Карп Петрович все посматривал наверх, под груши. Ему иногда казалось, что он видит там Дорю, мерцанье пуговиц на гимназической шинели, знал, что поступил незаконно, взяв с собой мальчика, и опасался неприятностей. А вдруг увидят? Однако все шло как следует: солдаты тупо стояли, будто безмолвный частокор, товариш прокурора все поджимал губы и закатывал глаза, как жертва вечерняя, поп поправлял наперсный крест и гладил свои шелковые отвороты. Яким что-то слишком долго возился, беспокойно рассыпая взгляды волянистых глаз. Полинмейстер сдержанным баском отдавал какие-то ненужные распоряженья, лишь бы говорить. Карп Петрович невнимательно их слушал, стараясь сдерживать руку, трепетавшую от локтя до кончиков пальцев и барабанившую мелко в висок. Когда б уж.. скорей конец... Скорее б уж истекли эти несколько минут.

Женщина зачем-то развязала косынку, опустила ее на плечи и, встряхнув черными волосами, сдвинулась с места. Карп Петрович чувствовал, что он холодеет в напряженной тишине, что в голове у него, как тяжелая волна, колыхнулась мысль: «Все ли видит Доря?» — и проплыл образ Сусанны, слушающей рассказы сына.

Женщина уже стояла на помосте. Заколыхалась ряса, и поднялся в воздухе крест. Яким положил руку на петлю, забегал вокруг глазами; глухо звякнули тяжелые ружья, будто железо вздохнуло, а косою луч обмакнул концы обнаженных шашек в кровь.

И вот тут случилось что-то странное, непонятное, словно камень сорвался с горы и покатился под ноги. Круглый и толстый в своей ватной шинели, Доря промчался к помосту, метя лапами глину, теряя синюю фуражку и широко расставляя руки.

Наскочил на женщину и с криком обнял ее колени.

— Не надо!

От неожиданности и крика, раздавшегося, как выстрел, среди них, люди вздрогнули в тревоге и метнули глазами вверх на высокие стены оврага, словно оттуда надвигалась на них опасность.

А Доря все крепче прижимался к коленям, пряча стриженую голову в черной юбке, и видно было, как его плечи дергались от детских рыданий.

— Не надо!.. Не трогайте!..

Женщина одно мгновение стояла высокая, но вдруг как-то осунулась и стала несчастной. Потом нагнулась и положила прозрачную руку на детскую головку.

И так все застыло в немом ожиданье: женщина, ребенок, солдаты и начальство.

Первым опомнился полицмейстер.

— Чей ребенок? Убрать!..

Он не узнал своего голоса, но от этого резкого окрика все почувствовали себя свободней, и каждый старался сделать вид, что он не испугался.

Карп Петрович бросился исполнять приказ, однако почувствовал, что не может. Его колени подгибались и стыли. Он овладел собой и рысью подбежал к ребенку, но шашка ему мешала, била его по ногам, и без того чужим.

Однако нелегко было оторвать Дорю. Он отбивался всем телом и, словно в беспамятстве, все повторял плача, еще глубже пряча голову в теплые колени:

— Не дам!.. Не хочу!..

Наконец женщина покачнулась, оторванная от ребенка. Карп Петрович поволок сына. По дороге поднял Дорину фуражку, старательно, хотя и не сознавая

этого, обтер ее рукавом от глины и понес в левой руке.

— Папа, не надо... папа, не позволяй... — упирался Доря, но, чувствуя, что отца не уговорить, поднял кулак и кричал:

— Яким! Не смей! Я тебя, стерва...

— Молчи! — шипел отец и ташил его дальше.

Только на горе удалось Доре вырваться. Он заглянул в овраг и увидел: сияя на солнце, качалась в воздухе длинная черная фигура. Повернулась в одну сторону и остановилась... Потом в другую, и снова остановилась.

Тогда Доря замолчал, посмотрел зло на отца и хрипло бросил ему в лицо:

— Хулиган! Селедка!

Больше не успел, потому что упал в траву, сбитый кулаком с ног.

\* \* \*

Они возвращались домой уже не такие парадные. Лакированные сапоги отца были в пыли, рукав мундира в глине. На новенькой гимназической шинели против колена зеленело травяное пятно, а одна пуговица печально висела на черной нитке. Белая лошаденка, став теперь на солнце еще белее, трусила печально на трех ногах. Карп Петрович не смотрел на нее. Сидел, отвернувшись от Дори, и тупо думал. Он желал Доре добра, а вместо этого — такая неблагодарность. Сыновья брань горела в нем и жгла.

«Хулиган. Селедка...» и кто? Кость от его кости и кровь от крови».

Карп Петрович старался думать о другом. Хотел себя уверить, что у него есть более важные дела, о которых следует подумать. Губернатор теперь, наверно, выгонит со службы, а директор исключит Дорю. С холодком в сердце хватался он за эти неприятные мысли, представлял себе губернаторский гнев, свои просьбы, гнусавый директорский голос: «Нам протестантов не надо...» — и одновременно чувствовал, будто что-то ему мешает, словно камешек, попавший в сапог. Тут, рядом, сидел его собственный ребенок, затаивший вражду в



сердце, предъявляющий какие-то права на отца, на его поступки, его сын, который рассуждал, точно чужой, и ему надо было дать ответ. «Фу-ты, ну-ты...» Это его раздражало. Не мог же он, отец и полицейский чиновник, которого боялись даже взрослые, смириться и каяться перед каким-то сопляком. И он снова упорно старался думать о всяких мелочах — о разговорах с начальством, о неминуемых слезах Сусанны и даже о захромавшей лошаденке: «Не подковал, стерва...» — лишь бы заглушить это жгучее и непослушное, отделаться от того, что мешало ему, как острый камешек.

А Доря, сжавшись, весь уйдя в тяжелую шинель, тихо всхлипывал от тайного рыдания. Перед его глазами все еще качалась черная фигура — то в одну сторону, то в другую... «Подожди, — думал он с горечью про отца, — узнаешь ты, когда я повешусь... Заберусь на чердак, сниму пояс, и никто не увидит...» Ему стало жаль себя. А может быть, лучше убить Якима? Придет Яким к ним на кухню и, как обычно, заснет на лавке. Тогда Доря тихонько возьмет нож, нагочит... или нет, лучше топор — и отрубит Якиму голову по самые плечи.

Небольшая птичка упорно летала над Дориной головой. То поднималась, то опускалась с пискom, и быстро-быстро трепетали короткие крылышки. Он заинтересовался ею и долго следил за ее полетом. Но вдруг вспомнил, что он именинник, и легкую руку, так нежно гладившую его голову, — и снова тихо заплакал.

«Узнаешь ты... ах, узнаешь, когда я повешусь...»

Сквозь теплые слезы, тяжелые и большие, в которых все расплывалось, как в тумане, мелькали вербы и телеграфные столбы. Они отрывались от земли, поднимались вверх и тихо покачивались... То в одну сторону, то в другую...

4 января 1912 г.

Капри, «Villa Serafina».

## ЛОШАДИ НЕ ВИНОВАТЫ

— Савка! Где мой одеколон?

Аркадий Петрович Мальна высунулся в окно и сердито кричал на своего лакея, помогавшего выпрягать из фаэтона взмыленных лошадей.

Стоял вспотевший, в одной сорочке, расстегнутой на груди, и нетерпеливо смотрел, как Савка в своей синей с галунами ливрее бежал по двору.

Одеколон был здесь, на туалетном столике, но Аркадий Петрович его не заметил.

— Вечно куда-нибудь засунешь!..

Он кисло буркнул, взял из рук Савки флакон, скинул сорочку и принялся обтирать одеколоном белое, желтеющее от старости тело.

— Ух... Как приятно освежает! — Потер ладонью грудь, на которой серебрились гонкие волоски, освежил подмышками, сбрызнул лысину и тонкие, старчески дряблые руки с сухими пальцами. Потом достал из шкафа свежую сорочку.

Повидимому, он был в чудеснейшем настроении, как всегда после беседы с мужиками своего села. Ему было приятно, что он, старый генерал, которого соседи считали «красным» и неблагонадежным, всегда оставался верен себе. И в это тревожное время он попрежнему отстаивал взгляд, что земля должна принадлежать тем, кто ее обрабатывает. «Пора нам уже распрощаться с барством», — подумал Аркадий Петрович, застегивая левую манжету и принимаясь за правую. При этом вдруг

вспомнил, как радостно загудел сход когда он разъяснил права народа на землю

Это, как всегда, взволновало его, и после такого разговора он почувствовал бодрость и аппетит.

Когда он уже заправлял сорочку в брюки, скрипнула дверь и на него бросилась Мышка, любимая собачка, породистый фокстерьер.

— Где ты, шельма, была? — нагнулся к ней Аркадий Петрович. — Говори, где ты, шельма, была? — Он любовно щекотал ей шею и уши, а она морщила носик, вертела обручком хвоста и ловчилась лизнуть его в лицо. — Где ты шлялась, негодная?

В окно вливался поток полуденного света, и видно было, как сплошным морем плыли куда-то еще зеленые нивы, девятьсот десятин панской земли, которая то спускалась в балку, то вновь поднималась, подобно волнам.

Аркадий Петрович сделал гребнем пробор на редких волосах, расчесал усы с пожелтевшими концами и долго любовался сухим высоким лбом и благородным барским лицом, отражавшимся в синеватых отливах туалетного зеркала.

Серые, немного холодные глаза уже потускнели, на белках виднелись красные жилки, и это беспокоило его: «надо опять класть примочку!..» Сбоку на носу он заметил прыщик, достал из несесера кольдкрем, помазал и припудрил.

— Есть!

Ему хотелось есть, как молодому, двадцатипятилетнему, и это его радостно волновало. Как все задвигается в доме, когда узнают, что он голоден! Как заахает жена, его старая хлопотливая Соня, засуетится Савка, и все будут смотреть ему в рот. У него так редко бывает аппетит...

Но Савка не приходил с докладом.

Аркадий Петрович выдвинул ящик комода и достал оттуда аккуратно сложенную блузу из серой шерсти, à la Толстой.

Приятно вздрагивая освеженным телом, натягивая рукава, он чувствовал себя демократом, другом народа, которому нечего бояться. С тех пор как он оставил свое министерство и поселился в деревне, мужики его

полюбили. Еще бы! Он крестил и венчал, прощал по-  
травы, давал советы и все даже звали его «отцом».

Он с удовольствием думал обо всем этом, а также и  
о том, что к обеду будут шампиньоны, которые утром  
Палашка несла в фартуке с огорода.

И тут же Савка, просунув в двери руки в белых  
перчатках, почтительно доложил, что обед подан.

Аркадий Петрович, похожий в своей широкой блузе  
на колокол, вошел в столовую.

Тотчас же задвигались кресла, и склонились над ним,  
целуя руки, — с одной стороны его лысеющий сын Анто-  
ша, а с другой — дочь, белокурая Лида, двадцатипяти-  
летняя вдова. Они еще не виделись сегодня: Антоша  
недавно приехал с фермы, а Лида спала до полудня.

Софья Петровна — Соня, — в свежем летнем капо-  
те, уже держала в руке серебряную разливательную  
ложку. Перед ней стоял горячий борщ. Стол был на-  
крыт на девять персон.

Аркадий Петрович опустился в широкое кресло,  
возглавлявшее стол, и похлопал рукой по соседнему  
креслу.

— Мышка! Сюда!..

Фокстерьер посмотрел на него закившим глазом,  
вскочил на кресло и сел на свой обрубленный хвост-  
тик.

— А где Жан? Позовите Жана! — обратился ко всем  
и ни кому в отдельности Аркадий Петрович.

Но в тот же момент открылись двери, и слепой Жан,  
брат жены, адмирал в отставке, вошел под руку со  
своим «миноносцем», как он называл лакея.

Высокий, крепкий, похожий на грот-мачту, плохо  
выбритый, Жан нашупывал грубой палкой пол и едва  
сгибал колени, одеревенелый и неповоротливый из-за  
слепоты.

Его долго и шумно усаживали на место, а «мино-  
носец» стал сзади за креслом.

— Добрый день, Жан! — приветствовал его Арка-  
дий Петрович со своего почетного места. — Что сни-  
лось?

Все улыбнулись этой ежедневной шутке, а Жан охот-  
но, как ни в чем не бывало, начал рассказывать, обрагив  
бельма куда-то в стену — через стол.

— Приснился город. Не те уродливые коробки, что зовете домами. Это была не куча грязи и мусора, не логовище людской нужды... словом, мне приснилось не то, что вы называете городом.

Он даже поморщился.

— Я видел прекрасный, невиданный город. Все, что люди создали в архитектуре, шедевры прошлого, настоящего и будущего, красота и удобства, храм, достойный человека... Только ваши потомки...

— Жан, твой борщ остынет!

— Ах, прости, Соня!.. Ну, мой «миноносец номер семнадцать», подвяжи салфетку...

— Есть, — встrepенулcя «миноносец № 17» (по порядку лакеев, которых Жан часто менял). Он уже давно держал наготове салфетку.

— Я думаю, что-о... — благосклонно отозвалась Лида, склонив набок белокурую головку мадонны.

— Начали возить сено, Антоша? — заинтересовался Аркадий Петрович.

Антоша не слышал. Он накладывал своему лягавому псу Нептуну, сидевшему рядом с ним на стуле, кости на тарелку, и все видели только его макушку с редкими волосами.

Софье Петровне было неприятно смотреть, как неприятно ест Жан, оставляя на усах куски свеклы, и она обратилась к сыну.

— Антоша, тебя отец спрашивает о сене.

— Ах, прости... — поднял он загорелое лицо и засюсюкал: — Вместо двенадцати возов привезли только десять. Артем съездил два раза и бросил: говорит, что его Ксенька напоролась ногой на железные грабли и надо звать фельдшера, — врет, конечно... А Бондаришин еще зимой взял деньги, а теперь крутит...

Антоша вспотел и покраснелся от борща и хозяйственных забот. На его белом лбу густо проступил пот, а глаза посоловели.

Он знал обо всем, что происходило в селе. У него было не меньше десятка детей от сельских дивчат, и не раз он мерялся силой с самыми крепкими парнями, не смотря на офицерский чин.

— Все они таковы! — сердито вздохнула Софья Петровна и погладила таксу, сидевшую возле нее на

стуле с важно выпяченной рыжей грудью, похожей на жилет.

— Вы придираетесь, дети мои, — благодушно отозвался Аркадий Петрович, кончая с борщом. — У мужика есть свои потребности, так же как и у нас грешных.

Он был в прекрасном настроении после сегодняшнего схода.

— Безусловно, мне кажется, что отец...

Лида снова любезно наклонила головку мадонны и кисло растянула широкие бледные губы.

Но тут Антоша рассердился. Вечно эта Лида! Ее напели, как на граммофонную пластинку, либеральные студенты, и она повторяет всякую чушь...

— Мужик останется мужиком, что ни говорите... Ты его медом, а он...

Отставной адмирал («броненосец», как он себя называл) почуял опасность от такого разговора. И пока Савка, ловко двигая руками в белых перчатках, собирал тарелки у господ и у собак, он начал рассказывать свой второй сон.

Он будто был в концерте. Это была музыка новых поколений, неслыханных сочетаний звуков, нечто такое, перед чем Бах, Гайдн и Бетховен — пигмеи...

Антоше стало скучно. Он уже наслушался дядиных снов и предпочел заняться своим Нептуном.

Отрезал корочку хлеба и положил ее собаке на нос.

— Тубо!

Нептун сидел важно и недовольно щурил глаза.

На минуту в столовой затихло.

— Пиль!..

Только Лида вытягивала длинную открытую шею и учтиво наклонялась в сторону дяди.

Но ее Мильтончик, стриженный пудель с боа на шее, как у дамы, и с голым задом, тронул лапой ее руку, прося еду. Она обернулась к нему, поправила на собаке бант, такой же голубой, как ее платье, и дала Мильтону тартинку с маслом.

Хозяйка ждала, чтобы подали жаркое.

— Теперь действительность удивительнее снов! — повела она плечами и посмотрела на потолок.

А Антоша подхватил:

— Что правда, то правда. Такое творится вокруг, что не знаешь, чем и кончится. Вчера, говорят, мужики запахали земли барона Клейнберга. Вышли в поле с плугами всей деревней и прогнали батраков барона.

— Как? Уже захватили?

— Фью-ю! — свистнул Антоша. — Нет больше у барона поместья, да и сам он бежал... Ужас, что творится повсюду, а тут еще вы, папа, со своим либерализмом.

— Ах, ах! — вздохнула хозяйка дома.

— Ну, нам не придется бежать, — засмеялся Аркадий Петрович. — Нас не тронут. Правда, Мышка, нам ничего с тобой не будет? Правда, собачка? — Он щекотал ей морду, а она раскрывала розовую пасть, слегка брала его палец в зубы и вертела обручком хвоста. — Мне нет нужды скрывать свои мысли. — Он вынул палец и держал его на отлете. — Ну, вот. Мужики имеют право на землю. Не мы обрабатываем землю, а они. Ну, вот. Я и твержу об этом всегда...

— Аркадий!.. *Laissez donc... Le domestique écoute!*

Софья Петровна с перепугу заговорила басом.

Однако это нисколько не помогло.

— А ты, душенька, вечно барствовать хотела бы. Довольно. Побарствовала, и хватит. Надо же и другим. Не бойся, всей земли не отберут, оставят немного и нам... так, десятин пять... Я на старости буду огородником. Надену широкополую шляпу, отращу бороду до пояса. Я буду сажать, ты собирать, а Антоша — возить в город... Ха-ха!...

— Он еще шутит!

Софья Петровна сердито обвела взглядом всю семью и четырех собак, сидевших за столом, но сочувствовал ей только Антоша.

В знак протеста он налил себе рюмку водки, выпил ее залпом и, откинувшись в кресле, заложил руки в карманы своих офицерских брюк. Жан спокойно жевал жаркое под защитой «миноносца», Савка сделал вид, словно его нет в комнате, а Лидя растянула губы и нагнулась к отцу.

— Я была уверена, что-о...

Но Антоша не дал ей окончить:

— Шутить хорошо дома, в семье, но зачем же отец проповедует это мужикам. Они так настроены, что каждую минуту чего-то ждешь...

— Я не шучу. Пора отбросить предрассудки. Если хочешь есть, работай, душа моя. Ну, вот.

Он был весел, продолжал развивать свой план и с возросшим аппетитом набирал на тарелку целую кучу салата, не замечая даже, что бедная забытая Мышка, не спуская с него глаз, беспрестанно облизывается и вертит хвостом.

— Лида в своем прекрасном платье, которое, кстати, ей так идет, каждое утро будет выгонять корову, а вечером доить, подоткнув подол... Ха-ха!..

— Что касается меня, то я...

— Ну, вот и отлично...

Подávalи сладкое. Савка гремел ложечками и просовывал руки в белых перчатках между локтями господ и собачьими мордами. Жан испачкал сметаной адмиральскую тужурку, и «миноносец» старательно вытирал салфеткой пятно. Такса Софьи Петровны лизала тарелку, а Мильгончик, забыв приличие, повизгивал потихоньку, чтобы обратить на себя внимание.

— Аркадий! Положить тебе еще крему?

— Положи, положи, та chérie, я сегодня голоден.

Нет, действительно он ощущал бодрость после сегодняшнего схода, на котором решительно отстаивал права народа на землю.

— Блажен, иже и скоты милует... — ответил цитатой на свои мысли молчаливый Жан и бельмами осветил свое щетинистое лицо. — Миноносец! дай папироску...

— Есть!

— Bravo, Жан, bravo!.. — рассмеялся Аркадий Петрович. — То ведь скоты, а то люди...

— Ну, пошли тексты из священного писания. — Антоша терпеть их не мог.

Он бросил в угол комнаты скомканный платок, а Нептун соскочил и принес его. Забавно было смотреть, как Нептун на бегу хлопал отвислым ухом и держал белую понюску под черным холодным носом.

— Нептун! Ici!..

Он осторожно вынул изо рта собаки мокрый от слюны платок.



Но Нептун вдруг застыл. Поднял голову вверх и громко два раз залаял. Забеспокоились и другие собаки, а Мышка бросилась к дверям и, подвернув под себя короткий хвостик, залилась колокольчиком.

— Кто там? Посмотри, Савка.

Савка вернулся и доложил, что пришли мужики.

— А! мужики... Зови их сюда.

— Аркадий, может, ты кончил бы сперва обед? Они пождут.

Аркадий Петрович ни за что не соглашался... Он уже кончил.

Мужики вошли и столпились у порога. Был среди них и Бондаришин, который взял деньги и не выехал сегодня за панским сеном.

— Что скажете, добрые люди?

Люди молча топтались на одном месте, белые, как овцы, в своих полотняных одеждах, и поглядывали на блестящий посудой стол, за которым восседали господа и собаки.

— По какому делу пришли?

Рыжий Панас подмигнул седому Марку, а тот толкнул локтем Ивана. Иван же считал, что лучше всех скажет кум Бондаришин, и все в знак согласия заморгали на него. Бондаришин не решался выйти из тесной группы и оттуда поклонился милостивому пану.

— Пришли к пану поговорить о земле.

— Очень рад. О какой земле?

Бондаришин замолчал и оглянулся на кума. Тогда Иван выручил:

— О панской, прошу позволения...

— Что теперь такие, значит, времена пошли... — прибавил Марко.

— Да и пан сами нам говорили... — не стерпел Панас. А Бондаришин закончил:

— Вот общество и порешило... Отберем землю у пана...

— Что?

Аркадий Петрович неожиданно вскрикнул.

Он встал из-за стола и приблизился к ним с салфеткой в руках.

Но люди были такие спокойные, словно пришли посоветоваться о хозяйственных обычных делах.

Седой Марко тоже низко поклонился и покорно зашамкал:

— Мы не хотим обидеть пана... пусть будет все мирно, по-божески...

— Молчите, пусть говорит кум Бондаришин, — отвел деда рукой рыжий Панас.

Теперь уже вся семья — Софья Петровна, Антоша и Лида — вскочили со своих мест и стали за спиной хозяйки на дома.

Только слепой Жан остался сидеть, поворачивая бельмами на собак, лизавших тарелки.

А Бондаришин продолжал так же покорно и как будто безразлично:

— Боже сохрани... оставим и пану немного земельки: на какую-нибудь грядку, на лук, значит, чтоб было чем суп заправить... да на крокет...

— Ах, ах! — сделалось дурно Софье Петровне, и пока Лида подавала ей воду, Антоша заложил руки в карманы офицерских брюк и процедил сквозь зубы:

— Вот негодяи!..

— Мы так потому, что пан был добрым для нас, спасибо пану, — кланялся Бондаришин.

— Еще бы... Грех что-нибудь сказать... все люди пана «отцом родным» называют... — гудели за ним.

— Ну, хорошо, — сдержал обиду Аркадий Петрович. — Не отказываюсь от своих слов... Если так решило общество...

Его голос стал ледяным.

— Аркадий! Что ты говоришь!.. Да как вы смеете! — волновалась Софья Петровна.

Антоша порывался что-то говорить, и синие жилы напрягались у него на белом лбу.

— Так вот, пане... через два дня будет праздник, тогда общество и разделит землю. А тем временем пусть пан обдумает, где оставить на грядки... у дома или в поле.

— Конечно, возле дома... унавожено лучше... и удобнее будет... — посоветовал рыжий Панас.

— За два дня пан сам обдумает... Мы не хотим сразу... потому что вы у нас добрый, спасибо милостивому пану и вашей пани... Они нас никогда не забывали...

— А как же... насчет порошка там какого или мази... кто же как не наши паны... Оставайтесь здоровы...

И пока выходили мужики, все стояли, как заколдованные, только Аркадий Петрович теребил рукой салфетку.

Но Софья Петровна быстро опомнилась:

— Аркадий! Ты с ума сошел! Ты не имеешь права отдавать землю. У тебя есть дети!..

— Этого нельзя оставить! Тут нужно принять меры!..— горячился Антоша и так толкнул Нептуна, что собака взвизгнула у него под ногами.

Только Лида все еще сочувственно наклоняла к отцу открытую шею и растягивала в улыбку, правда бледную, широкий рот.

— Ах, оставьте меня в покое! — раздраженно вскрикнул Аркадий Петрович. — Поймите, наконец, что я иначе не могу...

Скомкал салфетку, бросил на стол и выбежал из комнаты.

Среди суеты и шума, поднявшихся после этого, Жан неожиданно пробасил:

— Ну, «миноносец», разводи пары. Пора нам отправиться в дальнее плавание...

— Есть! — встрепенулся «миноносец».

Но плавание не состоялось. Все решили, что сейчас же необходимо посоветоваться, и пригласили Жана.

А чтобы прислуга не слышала, взяли его под руки и вышли из столовой вместе со всеми собаками.

Только Мышка куда-то исчезла.

\* \* \*

Мышка, наконец, отыскала своего хозяина в кабинете. Стоял у стеклянной двери, выходящей на террасу, и следил, как с назойливым жужжанием билась о стекло муха. Мышка ткнулась носом в его сапог, но он ее не заметил. Тогда она начала прыгать на дверь, чтобы поймать муху, но не поймала, утомилась и легла в углу на подушку.

Сквозь стекло виднелись белые колонны террасы, а за ними цветник. На клумбах горели маки, а ранние левкой

едва начинали распускаться. Аркадий Петрович ежедневно видел цветник, но только сегодня он привлек его взгляд. Отворил дверь и подставил солнцу лысину. Потом тяжело сошел по ступенькам и наклонился над цветами.

Но они уже не занимали его. Он чувствовал какую-то тяжесть и не хотел признаться, что это была обида. Разумеется, они имеют право на землю, он всегда держался этого взгляда и всегда высказывал его, но чтобы у него... Вот тебе и добрые «соседские» отношения! Вспомнил все свои советы и помощь, крестины и сельские свадьбы, на которых был посаженным отцом. У этого самого Бондаришина он, кажется, крестил... А теперь все это забыто!

«На грядку лука и на крокет... Ха-ха!..»

Солнце напекало ему лысину. Оно непреодолимо и беспрестанно обжигало лучами цветник и поля, бегущие с холма на холм до горизонта.

Вернулся в дом, надел картуз и, вместо того, чтобы отдохнуть по привычке на кушетке после обеда, отправился во двор. Широкий двор зеленел муравой. Кучер возился с фаэтоном, а Савка вертелся возле него. Наверное, уже толкуют о новостях. Аркадий Петрович хотел приказать оседлать коня, но как-то не решался, словно очутился в чужом хозяйстве. Молча прошел он мимо них в ворота и вышел в поле. Рожь уже зацветала. Желтые пыльники тихо колыхались на волосинках вдоль колоса, и незаметная пыль золотилась на солнце. Детские глаза васильков мелькали в хлебах. Мышка вдруг зашелестела во ржи и побежала по тропинке вперед. Нивы то постепенно спускались в долину, то вдруг поднимались на отлогие холмы, словно земля в сладкой истоме выгибала спину, а Аркадий Петрович, отдавшись воле зеленых волн, старался ни о чем не думать и только вглядывался в таинственную глубину густых зарослей ржи, только ощущал под ногами нежную мягкость межи. Правда, с поля поднимались какие-то голоса, что-то говорили ему, но он не хотел слышать этого. Хотел покоя и одиночества. Но чем дальше уходил он в поле, тем явственнее становился голос земли, мягкий, неверный и спорил с ним. И тут он впервые ощутил всем существом, что это зывала к нему его земля, что он с ней так

свыкся, как с женой, сыном, дочерью. Что здесь, где он проходит, ступали ноги отца и деда, и над полями раздавался их голос, голос целого рода Малын, что все, чем он гордится и что ценит в себе, — его ум, вкус и культуру, даже его идеи, — все вскормили, все взрастили эти поля.

Но Аркадий Петрович уже смеялся над собою: «Ха-ха!.. Заговорила дворянская кровь!..»

Усилием воли он отмахнулся от этих мыслей и побрел дальше.

Слева, у сырой долины, кончалась рожь и начинался луг. Здесь паслись коровы и жеребята. Пастушок Фелька, увидев пана, снял рванный картуз и стоял так, босой, с сумками через плечо.

— Надень картуз! — крикнул Аркадий Петрович.

Пастух не расслышал и бежал к нему.

— Картуз... картуз надень!..

Коровы разбрелись по лугу, жирные, сочные, как и трава. Жеребята подняли головы навстречу хозяину и ждали, напрягли жилы на крепких шеях, готовые вспрыгнуть и помчаться по лугу на тонких, упругих ногах.

Подошел к любимому Ваське и начал почесывать ему шею, а Васька положил морду на его плечо, мечтательно смягчив выражение пугливых глаз. И так они долго стояли в какой-то животной приязни, и обоим было хорошо — одному почесывать, а другому принимать эту ласку.

«И это отнимут», — горько подумал Аркадий Петрович, продолжая путь.

Он шел по свежей траве, влажной в низинах, а солнце зажгло зеленым огнем конский шавель и стебли чертополоха.

Было сегодня что-то пленительное, что-то особенное в его земле, как в лице покойницы, с которой прожил всю жизнь, а теперь должен расстаться навеки. Какие-то цветы и растения, бывало незаметные, тихая ласковость контуров, ароматы трав и земли, теплые родные просторы.

Высокие вербы шумели над рвом, и небо между ними синело, словно эмаль. Перепрыгнул через канаву, испугавшись в магеринке и польни, и снова вышел на тропинку. По одну сторону волновалась рожь, по другую желтел глинистый овраг, пестревший красными маками.

Как красиво! Ему казалось, что он здесь впервые. Не чужое ли это все? Нет, он шел по своей земле. Удивительно, как он мало знает поместье. Мухи жужжали в цветах. Мышка рылась в глине и обнюхивала ямку. Тропинка постепенно поднималась в гору, местами теряясь в густых лопухах. Теперь поле все шире расправляло плечи, все дальше расстилало свои одежды, и когда он взобрался на холм, перед ним открылись во всей красе его нивы, зеленое пятно заливного луга, далекая полоска леса... И здесь, стоя на своей земле, он больше почувствовал, чем подумал, что никому ее не отдаст.

— Стрелять буду, если придут...

Это так неожиданно прозвучало, что он удивленно оглянулся.

Неужели это он?

Но вокруг только нивы катились с холма на холм.

Ему сделалось стыдно. Фу, какое свинство!.. Снял картуз и вытер на лбу пот. Неужели он мог дойти до этого? Разумеется, нет. Разве он может пойти против себя, против всего, во что он верил, чего не скрывал. Таких, как он, — горсточка, и что они значат в великом процессе жизни? Несколько засохших листочков на зеленом празднике весны. Ясно, грядкой лука не проживешь, придется служить под старость. Две маленькие комнатки на окраине. Жена сама будет готовить обед. Он — ходить с кошелкой на базар. Ставь самовар, Аркадий!.. В самом деле, умеет ли он поставить самовар? Надо научиться. Антоша и Лида заработают на хлеб, они молодые. А тебе, Мышка, придется забыть кремы и вкусные косточки...

Глупая Мышка будто обрадовалась такой перспективе. Прыгала ему на ногу и вымазала землю брюки. Но что там брюки! Ему даже приятно было воображать себя бедным, забытым, стертym великим процессом. Он мученик и добровольно несет свой крест. Ощущал, как его тело приятно покрывается испариной, дыхание становится чистым и легким, а жалость к себе возбуждает аппетит. Такой молодой аппетит, такой здоровый, что просто чудо!

Догадаются ли только приготовить к ужину свеженькие шампиньоны так, как он любит: цельенькие, густо политые сметаной и освеженные зеленым лучком...

Надо было сказать Мотре... Чорт побери! Всегда эти истории разжигают его кровь, заставляют ее играть... Но, собственно говоря, что же случилось? Какая-то невероятная похвальба, глупые угрозы. Они развеются тотчас, стоит только поговорить с селом. Все будет по-старому тихо и мирно, ведь кто бы осмелился отобрать у него землю... У него? Ха-ха!

— Мышка, avanti!

Однако дома и не думали подавать ужин.

Софья Петровна ждала его на террасе, и не успел он снять картуз, как она напустилась на него:

— Аркадий, у тебя есть дети!

— Под глазами у нее чернели круги.

— Ну, есть, душенька.

— Тут не до шуток. Ты должен ехать к губернатору...

Аркадий Петрович подернул плечами и отвернулся.

— Надо просить, чтобы он сейчас же прислал казаков.

— Прости, Соня, ты мелешь вздор.

— А что же, дожидаться, чтобы мужики землю отобрали?

— Ну, и отберут. Земля принадлежит им.

— Ты помешался на либеральных идеях. Если ты упрямишься, я их сама позову.

— Я не потерплю казаков у себя.

— Без них не обойдешься.

— А я устрою скандал, я не знаю, что сделаю... в тюрьму пойду... в Сибирь...

— Аркадий, голубчик...

— ...на каторгу пойду, а не допущу...

— Пойми же, Аркадий...

Но он не хотел понимать. Расшумелся, как самовар, который вот-вот побежит. Кричал, весь красный и мокрый, топал ногами и так махал руками, будто перед ним была не жена, а ненавистные казаки.

Так из разговора ничего и не вышло, только ужин ему испортили. Тем более, что забыли приготовить шампиньоны.

— А где же Антоша?

Его не было за ужином. И по тому, как смутилась Софья Петровна, сочиняя небылицы, по тому, как Лида сжала губы, он догадался, что от него что-то скрывают.

Но ничего не сказал.

Наутро Аркадий Петрович проснулся в отвратительном настроении. Уже в том, как Савка внес воду и с грохотом поставил на умывальник, а выходя стукнул дверь, он почувствовал неуважение к себе.

«Знает, шельма, что мужики завтра отберут землю, а с голодранцем нечего церемониться...»

Позавтракал без аппетита и отправился по хозяйству. Обошел сад, запертые амбары, у которых Мотря, подоткнув подол, кормила гусей, пустые хлевы, откуда из глубоких черных отверстий шел едкий запах.

Кучер во дворе мыл фаэтон.

Потом заглянул в конюшню. Там топтались лошади и жевали овес, а у дверей лежала большая куча старого навоза. Возле нее, уронив оглобли в траву, покоилась мокрая бочка с водою.

— Ферапонт, сейчас же перебрось навоз за конюшню! Набросал перед дверьми, словно напоказ...

Кучер разогнул спину и стоял, держа мокрую тряпку в красных руках.

— Слушаюсь!

«А ведь ни к чему это, — подумал Аркадий Петрович, — а раз велел...»

Мимо ворот проходил Бондаришин и, увидевши пана, поклонился ему.

«Вишь, едва приподнял бриль, — вскипел Аркадий Петрович. — Что я им теперь? Я им уже не нужен... Хам!» — бросил сквозь зубы, глядя вслед Бондаришину.

Спустившись с крыльца, отправлялся в ежедневное «плавание» слепой адмирал под руку со своим «миноносцем». Они прошли мимо, должно быть не заметив его.

«И этот сегодня ведет себя иначе», — подумал Аркадий Петрович о «миноносце».

«Радуется, поди, bestия, что больше не будет панов».

Аркадий Петрович отправился в поле как-то так бесцельно. Надвинулась туча. «А ведь сено возят!» — вспомнил он с тревогою. Крупные капли упали уже на картуз, на руки и на лицо. Запахло рожью. Думал, что надо вернуться, и не возвращался.

И вдруг теплые небесные воды пролились на нивы из недр сизой тучи, но сейчас же, где-то неподалеку, солнце



зажгло радугу, и дождь прекратился. Тяжелые капли повисли на колосьях, легкий пар поднялся над нивами. Аркадий Петрович тоже почувствовал испарину. Но он не обрадовался: ему уже больше хотелось туч и дождя, чем солнца. Чорт побери сено, пусть пропадает!..

Так же, не задумываясь зачем, вернулся во двор. Кучер все еще возился с фазоном. Куча навоза, почерневшая от дождя, так же лежала у дверей конюшни, над ней стоял пар.

Аркадий Петрович даже задрожал от злости.

— Ферапонт! что я велел?.. Десять раз тебе повторять? Пошел сейчас же к навозу!..

Он поднял палку и, потрясая ею, тыкал, указывая на конюшню, пока удивленный кучер лениво брелся за вилы.

«Это он нарочно, — думал Аркадий Петрович. — Что будет завтра — увидим, а сегодня я еще хозяин».

В кабинете он немного успокоился. Снял верхнюю одежду и в сорочке лег на кушетку.

«Глупости. Стоит ли так волноваться? Не все ли равно, где будет лежать навоз?»

Ему стало немного стыдно перед Ферапонтом.

Полежал молча, зажмурил глаза.

«А теперь что?»

Открыл глаза и посмотрел на потолок.

Ответа не было.

В венецианское окно широким потоком лилось солнце, в его сизой мути кружились пылинки, в столовой гремела посуда. Накрывали на стол. Аркадий Петрович невольно прислушивался, как там стучали чьи-то каблочки, передвигались стулья, тонко звенело стекло. Все было по-старому, жизнь шла будничным, обычным ходом и странно было думать, что произойдет как-то перемена. Однако она должна была произойти. Это вносило двойственность в его настроение. Снова собирал всякие тревожащие мелочи — наглый вид Савки, упрямство Ферапонта, неуважение к нему встречных крестьян, и ему хотелось, чтобы неизвестное «завтра» пришло, наконец, и повело игру, острую и небезопасную. Как он будет завтра держаться? Станет ли стрелять и защищаться или спокойно отдаст мужикам землю? Не знал. И в том, что он пока этого не знал, — помимо всяких

рассуждений, — таилось любопытство к неизбежному «завтра».

Вынул часы и посмотрел.

— Без десяти двенадцать, — сказал громко. И подумал: «Значит, осталось меньше суток».

Завтра... Вдруг представил себе завтрашнее утро... С криком сойдется во двор все общество, тонко завизжат бабы, ссорясь из-за клочка земли... дети станут заглядывать в окна и лазить по террасе, будто у себя дома...

Снова вынул часы.

Прошло четыре минуты

Фу-у-у!..

Поднялся с кушетки на разбитых старческих ногах и подошел к окну.

Далеко, до самого горизонта, волновались на ветре вивы, равнодушные к тому, кто будет владеть ими, издавна привыкшие к мужицким рукам.

За обедом Антоши не было.

И опять кабинет. Опять сказывалась «дворянская кровь», говорил рассудок, мучила совесть, каждый по-своему, а под всем этим — только острое любопытство к тому, что будет и как оно будет. Наполнил комнату дымом сигары, избородил пол петлями шагов, насытил воздух мыслями, а все же завтрашний день сидел в нем, как пуля, которую, не разрезав тело, никак не извлечь.

По двору промчался Антоша в пыли, на взмыленной лошади, и слышно было, как он прошел прямо в комнату к Софье Петровне, а в столовой тем временем стали готовить для него обед.

«Уж немного осталось... ночь и несколько часов», — поглядывал на часы Аркадий Петрович.

Гени росли... Солнце собиралось садиться за конюшней. Пастух пригнал с поля стадо. Коровы важно несли в загон свое голое розовое вымя и крутые рога. Жеребята прыгали по зеленому двору.

«Неужели завтра и это станет не моим?» — с грустью подумал Аркадий Петрович и вдруг услышал, что Лида говорит:

— Ты не волнуйся, папа, но...

— Что такое? — быстро обернулся он к дочери.

Она стояла в дверях с бледным лицом мадонны и скорбно растягивала губы.

— Не надо слишком волноваться... пришли казаки...

— Как... казаки?

— Губернатор прислал... Стоят на дороге.

Аркадий Петрович даже отшатнулся. Кровь вдруг бросилась ему в лицо, зжгла лысину, и среди этого пожара выделялись желтые усы и сердито плавали глаза, серые, поблекшие, как два замерзших озера.

— Что же это такое?.. Я не просил... А, понимаю, это заговор против меня... Чорт... Я не допущу... Позвать Антошу!..

Он даже поднял руку, сухую, барскую белую руку, будто собирался побить Антошу.

— Я думаю, что... — в испуге сказала растерянная Лида.

Она что-то хотела добавить, чтобы успокоить отца, но он бегал, как разъяренный петух, бьющий себя крыльями и вытягивающий шею перед решительным боем.

— Подать Антошу!..

Запыленный и потный, на разбитых седлом ногах появился в дверях Антоша. За его спиной пряталась встревоженная мать.

— Ты привел казаков?

— Я или не я, это, папа, неважно, — засюсюкал Антоша, расставив ноги в офицерских брюках.

— Ага! Неважно... Ну хорошо, так я же вам покажу!.. Я их быстро прогоню... Пустите! — кричал он на всех, хотя его никто не держал, и бегал по комнате, словно совсем потерял рассудок.

— Аркадий... успокойся, Аркадий... — молила Софья Петровна, расставляя руки в дверях. — Ты же видишь, ночь, люди столько прошли, утомились, голодны, мужики их не принимают... как же так можно...

— А! что мне люди... хорошие люди! У меня — и вдруг казаки... Пустите меня сейчас же...

— Но, папа, мне кажется, что... — вмешалась Лида.

— Прогнать нетрудно, — перебил Лиду Антоша, — только что же из этого выйдет?.. Корма в селе теперь не достанешь, да мужики и не дадут добровольно... разве грабить начнут... Если ты этого хочешь, прогони!..

— Ах, бедные лошади, — вздохнула Лида, — разве они виноваты?..

— Что ты сказала? — остановился против нее Аркадий Петрович, поднявши брови.

— Я говорю, папа, что лошади не виноваты...

— Их можно бы поставить на ночь под навесом возле конюшни, — отозвался Антоша.

— И дать овса... не пообедем от этого... — прибавила Софья Петровна.

— Оставьте, пожалуйста, ваши советы при себе! Мне они не нужны... — носился по комнате Аркадий Петрович, хватаясь за голову. — Я и сам знаю, что лошади не виноваты, — остановился он возле дочери. — Это ты правду сказала. Лошади здесь ни при чем... ну и что же из этого?

Но тон уже был неуверенный. Аркадий Петрович словно увял. Кровь у него отлила, усы слились с лицом, глаза утратили твердость холодного льда, в них уже светилось что-то покорное и виноватое, когда он взглянул на сына.

Поколебался минуту и неожиданно спросил:

— А хватит у нас овса?

— Уж раздобуду!.. И сено есть свежее...

Не ожидая дальнейшего, Антоша исчез в сенях.

— Привести казаков!.. — вскинул плечами Аркадий Петрович, снова зашагав по комнате. — Я и казаки!.. Кто бы этому поверил?

В его движениях не было таких острых, как раньше, линий.

Гнев сорвался, как морская волна, что мигом поднялась в зеленой злобе, потом опала и с легким шипением поползла пеной по лесочку.

Сквозь открытые двери доносилось ржание голодных лошадей, въезжавших во двор, и бряцание оружия на казаках.

\* \* \*

«Страшный день» начинался совсем нестрашно. Под окнами возились и чирикали воробьи, солнце встало такое веселое, что смеялись все окна, стены и даже постель, на которой спал Аркадий Петрович. Еще не одевшись, он подбежал к окну. Теплый воздух мягко коснулся его груди, а глаза сразу остановились на длинном

ряде конских крупов. Дюжие казаки, в одних цветных рубахах, чистили лошадей, и солнце играло на их обнаженных по локоть руках, на загорелых шеях, в разлитой кругом воде.

Он глядел на солнце, на свои нивы, на множество ног, конских и казачьих, одинаково громко топавших по земле, вбирал в себя птичьи голоса, фыркание лошадей, грубую солдатскую брань и вдруг почувствовал, что он голоден.

— Савка! — крикнул он на всю комнату, — подавай кофе!.. — и нырнул обратно в постель, чтобы еще хоть немного понежить старческое тело.

А когда Савка принес кофе, он с любовью взглянул на ароматный напиток, понюхал теплый еще хлеб и выругал Савку за то, что на сливках чересчур тонкая пенка.

Мышка сладко спала, свернувшись комочком в ногах на постели.

*2—15 марта 1912 г.*

Капри, «Villa Serafina»

## ХВАЛА ЖИЗНИ!

Прошло немного более года после того, как землетрясение превратило прекрасную Мессину в груды камней. Была весна, море было спокойное и синее, и небо — тоже; солнце заливало померанцевые сады на холмах и, глядя с парохода на серый труп города, я не мог себе представить той страшной ночи, когда земля в грозном гневе стряхнула с себя величественный город с такой легкостью, как пес стряхивает воду, вылезши из речки.

Вступив на землю, я ожидал найти тишину и холод большого кладбища и был поражен, когда увидел осли с полными корзинами на спине, который осторожно переступал через камни размытой мостовой, держась в тени от разрушенных стен прибрежных домов.

За ним бежал парень и с сицилийским жаром кричал:

— Cipolla! Cipolla! (Лук! Лук!)

Кому он кричал? Кому хотел продать? Не тем ли камням, что раньше были спаяны в сплошную стену, а теперь снова начали жить отдельной жизнью?

Однако подходили люди. Неожиданно из улиц, из безлюдной груды камней, выплывали черные фигуры и бесшумно ступали по горячей земле. Группами и поодиночке. Шли какие-то дамы в длинных черных вуалях, с мертвыми застывшими лицами, угрюмые рабочие, и их суровый вид словно завершал костюмы, черные вплоть до самых галстуков из крепа. Тонкий железный столб

фонаря неестественно наклонялся над ними, словно приглядывался сверху стеклянными глазами. С одной стороны мягко плескалось море, с другой — висели треснувшие стены дворцов, без окон и крыш, с дверьми, до половины заваленными щебнем. И снова двигались черные мужчины, и тихие, точно монахи, женщины шли как провожающие на похоронах отдать кому-то последний долг. Чем дальше я продвигался, тем чаще встречал этих людей в трауре, тем яснее чувствовал, как меня охватывает какое-то беспокойство. Я должен был обходить целые горы битого кирпича, балок, извести и камней, наваленных тут же среди улиц, перепрыгивать расщелины в земле, похожие на жадно раскрытые рты, перелезть через мраморные колонны и заглядывать в окна, откуда смотрело на меня опустевшее жилище. И снова из-за угла тихо выплывала черная фигура и встречалась со мной молчаливым взглядом. Тогда я наконец понял, что меня беспокоит. Глаза! Эти страшные, черные, испуганные глаза, запечатлевшие весь ад рождественской ночи<sup>1</sup>, больше уже ничего не могут видеть. Может светить солнце, быть лазурным море и небо, смеяться радость, а эти глаза, в больших орбитах, расширенные и мертво блестящие, все будут глядеть в глубь себя и, как безумные, всматриваться в расшатанные стены, в огонь и трупы самых близких. Мне казалось, если бы сфотографировать их, на пластинке вышли бы не человеческие глаза, а картина разрушения.

Боковые улицы уже немного расчищены. Зато с обеих сторон рухнувшие стены фасадов образовали толстый слой спрессованных балок, матрацев, книг, извести, железных кроватей и человеческих тел. Там, где стены еще стояли, они едва держались, и сквозь широкие трещины виднелось синее небо. Иногда в выбитых дверях видны были одинокие ступени, ведущие неведомо куда, ступени, на которые уже никто не ступит. Где-то высоко под небом в пятиэтажном доме завалилась только передняя стена и середина дома стояла открытая, точно на сцене. Веселенькие обои, железная кровать, через спинку которой свисает полотенце, фотография на стене, образ Мадонны в изголовье постели. И эта интимность чужого

---

<sup>1</sup> Мессина разрушена на рождество.

жилья, где еще как будто сохранилось тепло человеческой руки, производила на меня более сильное впечатление, чем совсем мертвые серые руины.

Я знал, что это город-кладбище, что из-под развалин его еще не откопано около сорока тысяч трупов, что в этой окружающей меня спрессованной массе лежат в разных позах раздавленные дети, женщины и мужчины.

Шли раскопки. Группа рабочих то наклонялась, то выпрямлялась над грудой щебня, и мерно поднимались кирки и ломы. Где-то высоко на стене, согнувшись, сидел полицейский в пелерине, и его кепи блестело на солнце. Внезапно он встал, приложил руку к кепи и почтительно застыл. Я подошел. Рабочие выгнали из-под балок женскую рубашку, потом вынули ноги и положили в медный таз. За ногами шло туловище, живот и грудь — и все складывалось в медный таз. Я отошел. Мне захотелось взглянуть на небо, но тут я вдруг увидел повсюду среди развалин, выше и ниже, такие же группы рабочих. И ежеминутно полицейский вставал и прикладывал руку к кепи.

На площади перед собором было так тесно, что негде было повернуться. Вся она была завалена старым мрамором церкви, обломками пилястров, орнаментами амбразур. Мозаичные боги без голов с половинками лиц валялись тут же, в пыли под ногами. Старинный фонтан пострадал мало, но с той ночи он высох, словно выплакал слезы над чужим горем. Сухие рты тритонов умирали от жажды.

— Синьор осматривает наши руины?

Я оглянулся. Около меня стоял какой-то черный господин с бледным лицом, видимо, еще недавно полный. Желтые мешки под глазами и на щеках свисали так же свободно и ненужно, как и его одежда, широкая, потертая, словно чужая. В левой руке он стыдливо сжимал пучок лука. Я встретился с его глазами. Ах, опять эти глаза!

— Да, да, signore, вот что осталось от нашего прекрасного города. Кто не видел — представить себе не может той адской ночи. Такая была пальба, такая канонада, словно все силы небесные, земные и морские палили сразу из своих пушек. У меня и поныне шум в ушах...



Я был богатым и счастливым, *signore*, у меня была жена, четверо детей и банкирская контора. Теперь семья и все богатство лежит под обломками, а я вот чем принужден питаться!..

И аффектированным движением истинного сицилийца он поднял руку и потряс луком так, что зелень его пересекла серые руины и зазеленела на лазурном небе.

— Мои дома стояли недалеко отсюда. Может, синьор желает осмотреть?

Вокруг его рта легла горькая складка.

Я поблагодарил и пошел дальше.

В узких улочках, как в коридоре, было безлюдно и уныло. Справа и слева тянулись бесконечные спрессованные массы дерева, кирпича, бумаги, одежды, ламп, мебели и человеческих тел. Казалось, все несчастья, которые кинулись в этих людских закоулках, набросали баррикады, чтобы не допустить помощи. Над головой ошетинились разрушенные стены, готовые вот-вот упасть. Внизу, в тени развалин, сидела женщина в трауре, с черными непокрытыми волосами, а на коленях у нее играл ребенок. Ее печальное лицо и погасшие глаза заставили мою руку полезть в кошелек, но на мое движение женщина не ответила ответным движением. Она лишь покачала отрицательно головой. Тогда я понял, — это одна из тех, которые привыкли подавать, но еще не научились принимать.

Изредка проходил какой-нибудь рабочий, заложив руки в карманы, сосредоточив в лице с тонкими губами презрение к этой земле, которая не умела уважать человеческий труд... Сквозь выбитые стекла смотрело на меня пустое жилище, забытые гардины в паутине, висячая лампа на треснувшем потолке. Я продвигался дальше.

Сейчас мое внимание занимала как бы застывшая фигура старика, которая одинаково чернела высоко на развалинах домов. Я видел согнутую спину, старый помятый цилиндр и руки, сложенные на коленях. Только кончик белой бороды светлел из-под цилиндра на черной груди, плотно застегнутой на все пуговицы. И когда я так приглядывался к этому неподвижному пятну печали и отчаяния, под ногами у меня вдруг глухо заворчала и качнулась земля, словно спина коровы, которая хочет

подняться. Землетрясение! Я понял сразу. Я стоял, оцепенев, и смотрел, как сдвинулись стены, будто живые, как они зашатались над головой; и пока я ждал, что вот-вот они упадут на меня, вся моя жизнь в одно мгновение пронеслась перед глазами, и — странная вещь, я не спускал глаз с унылой фигуры старика. Через минуту земля затихла, стены опять отвердели, сбросив с себя только камушки, а согбенный старик не поднимал даже головы: так же склонялся цилиндр, скрывая бороду до половины, горбилась спина, и руки неподвижно лежали на черных коленях.

Не помню, как я очутился на улице S. Martino. Здесь были люди, была какая-то жизнь. Они уже успели поставить тесные деревянные лавки, словно коробки из-под макарон, и торговали фотографиями для «форестьеров»<sup>1</sup>, хлебом и фруктами. Порой неприятное впечатление производила витрина, где новый черный бархат был покрыт часами, брошками, шпильками и кольцами. Все это было потертое и старое, со следами рук хозяев, теперь уже мертвых, и этот потускневший металл скрывал в себе немало историй.

В одном месте собралась толпа, преимущественно женщин. Они облепили повозку, как черный пчелиный рой. Какой-то представительный господин, стоя на повозке, возвышался над ними. Я издали видел его белую манишку, фрак и рыжие баки на лице министра. Он что-то говорил толпе. Вздымал руки к небу, простирая их к людям, его голос гудел убеждением и вдохновением. Я решил, что это проповедник, который говорит о тленности всего живого перед жестоким лицом природы, пред неумолимостью смерти. И я подошел к толпе.

Но как же я был поражен, когда увидел, что весь передок повозки уставлен красивыми баночками с золотыми этикетками, а важный господин простирает над толпою к небу эти самые блестящие баночки.

— Синьоры и синьориты! — выкрикивал он из глубины груди, от самого сердца, — синьоры и синьориты! Вы видите здесь одно из настоящих чудес современной косметики. Эта помада — самое верное средство сохранить молодость и красоту. Легким слоем вы покрываете ею

---

<sup>1</sup> Так называются в Италии иностранцы.

лицо на ночь и утром встает свежими, как роза от росы... Каждая баночка — четыре сольдо...<sup>1</sup>

Он совал их в руки женщинам, брал новую баночку и поднимал ее над головой толпы в блеске полуденного солнца.

-- Синьоры и синьориты! Молодость и красота — только четыре сольдо!

А черные женщины в траурном крепе теснились вокруг повозки, и эти страшные, мертвенно блестящие глаза, которые не вмещались в орбитах, вобрали в себя расшатанные стены, огонь, трупы самых близких и могли бы дать фотографию катастрофы, следили жадно за каждым движением рыжеволосого шарлатана и ловили ухом, еще полным грома адской ночи и криков смерти, его вдохновенную речь:

— Синьоры и синьориты!.. Вы видите одно из настоящих чудес... Только четыре сольдо за молодость и красоту...

Я перевел взгляд в долину. Где-то вдали, с грохотом и тучами пыли, валили наиболее опасные стены домов, то тут, то там среди серого щебня и руин вставал полицейский и прикладывал руку к кепи, отдавая честь мертвому. Но это меня уже не поражало. Я вдруг увидел далекие зеленые горы, залитые радостным солнцем, померанцевые сады, бесконечный шелковый простор голубого моря, и душа моя пропела над этим кладбищем хвалу жизни...

3 мая 1912 г.

Чернигов.

---

<sup>1</sup> Сольдо — мелкая монета около двух копеек.

## НА ОСТРОВЕ

Едва закрываю глаза — комната (она только что стала моею) вдруг исчезает: ее вытесняет фиолетовое рога-тое пятно и плывет по зеленоватым волнам, как гигантская тень корабля.

Таким представляется мне остров, на который сегодня я вступил и где буду жить.

И тут же слышу дробное постукивание подошв о камень, тех деревянных звонких подошв, которые отбрасывают от себя круглые женские пятки, словно сыплют грецкие орехи на жесть. Трах... тах-тах-тах...

На фоне вечернего неба проплывают четыре женщины с корзинами на головах, будто античные вазы. Правая рука согнута кольцом между корзиной и плечом, а левая свободно опущена и то выставляет, то прячет ладонь.

Трах-тах-тах-тах... — постукивает о камень дерево подошв.

Серая стена.

Расставив негибкие ноги, возле нее стоит осел. Ему скучно, как английскому лорду, который видел весь свет. Глаза в белых мохнатых кольцах, как в очках, и гной длинной полоской тянется до самого беловатого носа. Не болен ли ты, бедный ослик. Вата торчит из твоих ушей, а хвост так покорно прикрывает кургузый зад.

На piazz'e еще белеют колонны, и наклонившиеся над морем черные силуэтики перерезывают линию неаполитанских огней.

Трах-тах-тах-тах...

На башне бьют часы: два раза скромно и шесть раз тяжело и полнозвучно.

С улиц исчезают люди, магазины гаснут, закрывают глаза — двери и окна, — и остров сплпнет.

А море внизу шумит.

И снова ослик, видимо последний. Его уши еще издали покачиваются, как пальмы на ветру.

Заполнив улочку грохотом огромных колес, мчатся мимо меня, а я встречаю, как уже хорошо знакомые, те же очки, нос, мышиный белый живот и нескладно обте-санный зад с плотно прижатым хвостом.

Теперь я иду в одиночестве между домами, словно по коридору. Две стены, как почетный караул, молча про-пускают меня вперед, над головой порою блеснет фонарь. Нет, я не один. Моя тень, как невольник, расстилается у ног и показывает дорогу. Потом она вдруг отбегает на-зад и, уцепившись за меня, покорно ползет по камням между двумя немеющими стенами...

Трах-тах-тах-тах... — звонко сыплются грецкие орехи на твердый камень, но где — впереди, позади или надо мной — не знаю...

\* \* \*

Просыпаюсь в непонятной тревоге и сажусь на по-стели. Знаю, что теперь ночь, но что случилось? Телефон звонит громко и упорно. Может быть, какое-нибудь не-счастье, потоп, землетрясение? Звонки не дают притти в себя. Часто, визгливо, как истерический смех, льются беспрестанно и наполняют тревогой дом. Встать и спро-сить, кто звонит? Крикнуть телефону в глотку, заткнуть сердитым: кто звонит? Но я не встаю. Слышу в своей комнате какие-то тревожные шумы, кто-то ходит по ней, затаив стоны, шелестит во тьме бумагой, толкает стены и дребезжит стеклами. А телефон бьется в истерическом припадке, заливается, как безумный, и этот смех его пре-вращается в сплошной поток рыдания.

Тогда я догадываюсь: буря.

Это она так раскачивает море и скалы: сдвинула остров, понесла его по волнам, а сама в бешенстве кри-чит в телефон.

Мне кажется, что покачнулась кровать, покачнулись стены — и я плыву. Ну, что ж, плыть так плыть. Засовы-ваю голову под подушку и засыпаю.

Встаю уже поздно, бегу не одетый к окну и открываю обе половины. Эге-ге-э! Хотя солнце ослепляет, но я вижу, что мы и впрямь плывем. Море вспенилось и кипит, а ветер надул сосны на вершинах скал и мчит остров на этих черных парусах, как корабль.

Море поблескивает злой голубизной, водяная пыль бьет его белым крылом.

Изогнулось, поднялось крыло вверх и, пронзенное солнцем, упало. А за ним летит другое, третье.

Кажется, что неведомые голубые птицы налетели вдруг на море и упорно бьют грудью, подняв широкие белые крылья.

Одеваюсь. Выхожу. Куда там! Нечем дышать. Ветер загоняет дыханье обратно в грудь. Схватил деревья за чубы, гнет к земле. Сам стонет, и стонут деревья. Злобно воют узкие проходы, виноградник и дома. Качается земля под ногами, как палуба корабля, и, чтобы не упасть, хватаюсь за стены. Согнулся вдвое, надутый ветром, словно парус, прищурил глаза и вижу ползущих на четвереньках «пассажиров».

— Buon giorno! — кричу.

Не слышат. Ветер сорвал мое приветствие и кинул его в море. Вот оно несется в сбитой крыльями пене и сияет на солнце.

А может быть, и меня приветствовали, но ветер точно так же стер улыбку с их губ и швырнул в море?

Все пригнулось на острове-корабле, который несется по морю на черных ветрилах: пассажиры, скалы, дома, и только солнце — капитан — веселое, бодрое, уверено в себе.

Весь день мы куда-то плыли, и всю ночь напролет море выло, как пес.

\* \* \*

А на другой день словно никогда ничего и не было.

Море так невинно голубеет под стенами скал, и солнце так ласково светит, что даже камни смеются.

Земля сразу помолодела. Фундаменты террас смеются солнцу, а тени от виноградных лоз густыми узорами заткали золотые ризы садилов.

— Buon giorno!

Виноградарь, наклонившись, копается в тучной земле. Вот он поднялся и красный берёт загорается цветком на синем море. На фоне перекрученных лоз, капусты и кирказона сияют глаза.

— Buon giorno, signore!

Мы встречаемся впервые, но какое это имеет значение? Он вытащил тяжелую мотыгу из земли и, не успев разогнуть спину, обтереть лоб, стал делиться со мною своей удовлетворенностью и радостью. Он говорит мне, что погода чудесная, что повеял сирокко и можно ожидать дождя. Я добавляю, что сегодня, среди зимы, пахнет весной,— и наши глаза, как четыре старых знакомых, полны согласия и доброжелательства.

Передо мною тропинка, зеленый бархат замшевых стен.

Позади — снова погружается в землю кирка, и красный берёт то кланяется черной земле, то пылает на фоне моря.

Солнце бродит среди инкрустации теней.

А я смотрю на небо. Оно сегодня тихое, синее, глубокое и так щедро истекает вниз, что рождает уверенность: это оно наполняет море голубизной.

Откуда идет тишина — от меня или входит в меня? Не знаю. Дреmlют скалы, и черные стволы пиний застыли в тишине. Кажется, все мы растворились в ней. Опуститься бы на камни и вот так же пить солнце, как и они, так же купать свой взор в небе. Разве не приятно было дремать, подобно террасам, каменным корзинам виноградных садов? Стать вот такой жилистой лозой, как будто ввинченной глубоко в землю, и тянуть оттуда золотистый сок, чтобы налить им гроздь?

Солнце бродит среди инкрустации теней — черной по золотому,— и я слышу тихий ропот голого винограда, ответные вздохи земли и вижу жилистые руки, подобные лозам, бронзовые лица, которые наклоняются то и дело, а порой бросают мне чистое золото приветствия:

— Добрый день... добрый день...

Перегибаюсь через стену и улыбаюсь ребенку. Он кудрявый, грязноносый, на солнце золотятся голые колени, и, посасывая померанец, он улыбается мне.

А как хорошо собирать улыбки и отдавать их другим!..

Я люблю свою комнату. Белую, словно снегурка, с букетом ирисов на столе и с Ботичелли на стене. Но наибольшую радость доставляет мне окно. Целый день в него глядит море. От восхода до захода солнца голубеют в моей комнате стекла, как глаза моря.

Теперь не то.

Как горько плачут они сегодня, беловато-мутные, ослепшие, они, привыкшие видеть красоту синего моря! Померкли мои стены и мебель, расплылся Ботичелли, а по бельмам стекол беспрерывно стекают слезы.

Ощущаю беспокойство. Кто знает — отчего? Беспредельно встаю, хожу по комнате и опять тяжело сажусь. Мне тесно в моей одежде, неудобно в комнате. Глухая тревога стучится в сердце, словно хочет туда войти. Перекладываю все на столе, без надобности передвигаю книги и раздражаюсь, что потерялся карандаш. Где карандаш? Ощупал стол, разворошил бумаги, перемешал книги. Кто взял карандаш? Знаю, что он мне не нужен, этот куцый огрызок, и знаю, что мой покой зависит от того, найду ли я карандаш.

Стекла рыдают попрежнему.

Все, чего ни коснутся мои руки, — влажное, дряблое или липкое, все насытил своим дыханием сирокко. Отяжелела одежда, отсырел табак, и страницы книг будто вышли из бани. Где же карандаш?.. Ага! Вот он, негодный... и швырнул его так, что он сломался.

Что там творится за окном? Тревога своего добилась. Толкнусь по комнате, как шмель в окне, и чувствую потребность переставить мебель, передвинуть шкафы, стол, стулья — все по-новому, все иначе: раздвинуть стены или совсем их разрушить...

Что там творится за окном? Не успел распахнуть, как теплый сирокко кладет мокрую лапу мне на лицо и наполняет влажным дыханием всю комнату. Бельма у меня на глазах или действительно ничего не видно? Серые воды густо плывут с серого неба на посеревшую землю. Они уже смыли все краски, полиняло море, скалы, деревья. Monte Solago плавает тенью в мутных просторах, а Castelione — как привидение: показалось и исчезло. И все постепенно исчезает: море, скалы, земля.



Только из безвестного обильно стремятся в безвестное серые небесные воды и тяжело дышит сирокко.

Затворяю окно и в отчаянии сажусь за стол.

Стены погасли, расплылся, стал тенью Ботичелли, по бельмам стекол стекают слезы, и меня охватывает желание раствориться, стать тенью.

\* \* \*

Не пойти ли в город? Еще издали с радостью замечаю розовые плиты городской площади, желтые стены *funicolare* и башню. Никому не знакомый, сажусь на скамью, слушаю и смотрю. Сквозь белые колонны синее море, по *Monte Solago* ползет туман. Подо мной с подзвонным гуденьем движется на берег вагон.

На башне бьют часы три раза тонко и десять густо.

Люди проходят туда и сюда. Какие-то черные фигуры, матовые лица и красная гвоздика в петлице. Сбились в кучу, потом цепочкой оперлись на барьер, словно галки на телеграфной проволоке.

Толстый портье, неуклюжий, как слон, паралитик, будто врос в желтую стену. Руки у него, как у крота, и лежат на коленях. Вот он тяжело поднялся и переставил стулья, которые сдает на прокат желающим. Концы плетенья торчат в них из-под сиденья. Мой парикмахер, сдвинув котелок на затылок, со скучающим видом, как всегда, разглядывает витрину электрических приборов. Стоит долго, упорно, как всегда, зевает и отходит.

На башне бьет одиннадцать.

Худошавые юноши из отелей, с галунами на новеньких костюмах, пока нет парохода, постукивают каблуками по розовым плитам. «*Hôtel Royal*» толкнул «*Hôtel Pagano*». «*Hôtel Faraglioni*» закурил папироску.

Согнувшись и налегая на толстую палку, портье шаркает ногами, чтобы подать кому-то стул.

Жалкий шеголь подпер плечом белую колонну. Потрепанные штаны, порыжевший пиджак— все обесцвечено, словно он долго валялся в известковой яме. Креп на рукаве, а из бокового кармашка торчит кончик розового платка.

Снова вечность отбивает пятнадцать минут.

Туда и сюда снуют черные фигуры.

Море шумит.

Желтые спинки фиакров, стоящих в ряд, блестят на солнце.

По Monte Solago ползет седой туман.

Парикмахера опять привлекает витрина. Котелок съехал на шею, а он упорно разглядывает электрические принадлежности, как и ежедневно.

Голубые факино (носильщики) в широких блузах расхаживают, заложив руки в карманы: еще нет парохода.

Старик-портье зевает истерически, подобно ослу. Короткие, как у крота, руки лежат на коленях.

Проходят американки. Безобразные, худые, широкоротые, все в белых вязаных куртках и в желтых туфлях.

— Shall we have time before breakfast?

— O, yes!..

Холодные глаза скользнули по всему, словно льдинки.

Дети гоняют по piazz'e собаку. Собака прыгает и падает кому-то под ноги.

Из-за белых колонн выплывает пароход — две голые мачты и черная труба.

Скучающие люди сбились в кучку и перегнулись через барьер. Всем интересно.

Дымок от папироски вьется в воздухе.

На башне часы бьют еще раз.

В море всплывают и тотчас исчезают пенистые волны, словно утопают рыбацкие челны, погружаясь в воду белым парусом.

Полицейский в черном плаще — щеки синие, а нос красный — сонно машет прутиком в воздухе и, может быть, в тысячный раз оглядывает все те же дома.

Купы белого, словно лысого, кирказона расстилают зеленую листву под навесом магазина.

Портье, наверно, врос в желтую стену.

Прошли две простоволосые девушки, полногрудые, с красными платками на плечах.

Осел, грохоча огромными колесами, привозит на piazz'u полную повозку капусты, а толстая женщина, делая непринужденные свободные движения, какие бывают только у рыбы в воде, что-то выкрикивает.

Подо мной с подземным гулом проползает снизу вагон и в дверях появляются пышные жандармы в треуголках, с плюмажами и с густым серебром на мундирах.

Первый извозчик примчал пассажиров; молодцы из отелей налетают на него, как воробьи.

Женщины-носильщицы поднимают на головы чемоданы из желтой кожи.

Свободный факино поет.

По Monte Solago ползет седой туман.

Лошади фиакров бьют подковами о камень.

Портье жует что-то, и его полное лицо ходит вместе с жирным подбородком, будто плавает на волнах

За проливом сизый Везувий придавил берег, словно смертный грех.

Возвращаются полногрудые девушки.

На башне пробило двенадцать.

Люди спуют без конца — кто знает, куда и зачем, а все это похоже на театр марионеток, в котором режиссер перепутал порядок пьесы.

Не так ли и в жизни?

В отелях глухо гудят гонги, сзывая на завтрак. Площадь постепенно пустеет. Остаются только розовые плиты мостовой, да колонны белеют на фоне синего моря.

На Monte Solago медленно надвигается туман...

\* \* \*

Я каждый день прохожу мимо пустынного, заброшенного сада. Две-три зеленые террасы и группа маслин. Больше ничего. Внизу трава прямо-таки огнем горит, над нею поблескивают серебром седые кроны.

Мимо проходят люди, постукивает копытом идущий по тропинке осел, а садик — запущенный, позабытый, и прохожие голько скользят глазами по немямным травам, да солнце идет по кругу, передвигая тени. Вот они мягко разостлались, фантастические и кривобокие, как будто маслины, отраженные в воде.

Опираясь о стену, часами наблюдаю, как тени бесшумно бродят. Они перерезают первую террасу и

бросают сетку на другие. Трава между ними горит. Или начинают менять форму: там укоротили ветку, а там слились воедино и подобрались черным клубочком под корень.

Два белых мотылька один за другим слетают откуда-то на тихую траву, как черешневый цвет: то сверкнут на солнце, то станут серыми в тени. Трепещут крылышками, коснется самец самочки, и это ухаживание продолжается.

Серебряные кроны позванивают листьями вверх.

Иду дальше.

На Punta Fragata сажусь и словно погружаюсь в море. Его нежная лазурь вливается в меня через глаза и наполняет до края. Солнце растопляет скалы, а само на горизонте загляделось в зеркало моря и подожгло воду.

От нестерпимого блеска закрываю глаза. Тогда слышу, что под ногами шумит. Это море разрывает свою синюю одежду об острые скалы и швыряет белые клочья, забрасывает ими весь берег. Даже сквозь веки вижу этот белый клекот, пронизанный солнцем. Поистине чортова кухня, где вечно кипит и убегает молоко.

Подходят люди и треском иностранных слов заглушают море.

Тогда возвращаюсь назад.

Опираюсь о стену и опять с удивительным спокойствием гляжу на пустынный садик, на зеленые террасы, на купы маслин. Тени вытягивают свои суставы, ложатся в другую сторону, и вырастает на земле другой, лежащий, садик.

Седые кроны позванивают вверх, под ними весь день тихо светятся травы.

Птичка порой попрыгает в ветвях, повертит хвостиком. Порой почистит носик...

\* \* \*

Старый Джузеппе вечно поет. Ему не мешают его семьдесят лет и то, что у него чернеет беззубый рот: он всегда открыт у него для песни.

Седая щетина лико топорщится на щеках, берёт на макушке, а обнаженные руки никогда не знают отдыха

Еще море спит, а он уже скрипит подошвами по прибрежному песку и гремит железом на тяжелых дверях рыбацкого склада. Предутренный свет оттесняет тьму назад, в дальние уголки склада, и первый улыбается ему залатанным боком баркас. Потом посмеиваются невода и канаты, старая парусина и поплавки, удилица и весла. Все они дышат солью и иодом.

Джузеппе втягивает в себя этот запах, облизывает губы, вечно соленые, выносит на берег ведро краски и тут же начинает петь. Он будит море. Признаться, в его песне есть немножко от Везувия — серы — и немного ослиного крика, но — ничего. Море это любит. Еще беловатое, словно покрытое на ночь дерюгой, оно потягивается слегка и, в сонном оцепенении, нежно бросает на берег первые волны.

А Джузеппе поет. Помешивает, наклонившись, краску и посылает на море крылатые слова... Как она прекрасна, его страна, когда цветет виноград! Когда ветер несет над садами золотистую пыльцу с цветов, солнце пьянит, как хорошее вино, а тебе нет еще и двадцати лет!..

Пузатые баркасы — белые, зеленые, голубые — бесконечным рядом всосавшиеся в прибрежную гальку, и те, что уткнулись носом в воду, — единственные слушатели Джузеппе. Да еще разве море. Оно уже пробудилось, встрепенулось, заголубело, звонко плещет в пустые бока лодок и стелет под ноги Джузеппе шипящую пену. А он красит низ баркаса синим, каким бывает море в полдень, занимает у волн зеленое на окантовку и белит борта, подобно пене, которую море стелет ему под ноги.

Седая щетина дико топорщится у него на щеках, берёт пылает, как дикий мак, а его пронзительное пенье оглашает весь берег и все море.

Что же было дальше? Отцвели черешни, и вот уже — ягоды. А дальше? Милая представляет лестницу и рвет ягоды. Свежи ягоды на черешне, а еще свежее у милой икры. А дальше? Лестница подломилась, и милая у него на руках... Ах, хорошо, когда солнце пьянит, как вино, а тебе нет еще и двадцати лет!..

Джузеппе облизывает губы, соленые от моря, а его голые по локоть руки кладут тем временем на лодку краски, играющие так же, как и морские,

Солнце уже показалось. Черные тени от баркасов густо покрыли берег. Каменные стены Марин'ы понемногу оживают. На балконах и между арками появляются полуодетые люди и развешивают белье и постели на белых от соли стенах.

Открываются рыбацкие склады, темные и сырые, словно пещеры, скрипит под ногами галька, и рыбаки выносят на баркасы тяжелые бронзовые сети, подобные пышным волосам русалок. Пахнет кангтами, рыбой, иодом. Море так бодро плещет о лодки, что даже слушать приятно. Около мола выгружают капусту. Осел заходит от плача. Торговцы открывают винные лавки и магазины. Появляются дети.

— Добрый день, дедушка Джузеппе!

Куда там! Не слышит! Голые руки в желтых жилах купает на солнце, в черном рту скрипит неподмазанная песня, будто он хочет перекричать осла.

Кладу ему руку на уже согретую спину. Тогда он на полуслове обрывает песню. Разве он забудет, с чего ему снова начать?

Разгибает хребет и показывает со смехом пораненный палец.

Что случилось?

А это он вчера ловил угря. Закинул среди камней приманку и посвистывал потихоньку. Бестии любят музыку. Вот они и танцуют вокруг приманки да разевают рты. Гляди только, чтобы во-время дернуть лесу. Блеснет змеиное тело на мгновение в воздухе, и уже готово. Но бей о камень изо всей силы, а то укусит, как собака. А он вот не уберется...

Опять показывает палец и подхватывает песню с того самого места, где прервал.

Я достаю из кармана и ставлю на гальку бутылку вина, кладу сыр, померанцы. Тогда Джузеппе перестает петь. Он охотник до таких вещей.

Славный завтрак вышел у нас на песочке, между морем, которое плещет у самых ног, и боком баркаса!..

Женщины мимо нас таскают на головах камни. Они здороваются со стариком. Рыбаки сталкивают в воду лодки, полные грязноватых сетей, и кричат что-то Джузеппе. А он наливает себе вина, прищуривает глаз и ловит красный свет в стакане.

— Да благословит вас мадонна!..

Бритый патер в мохнатой шляпе, похожий на стриженного пуделя, подбирает черную сутану, блестящую на сытых чреслах, чтобы перескочить через лужу. Джузеппе ставит вино на землю и почтительно снимает берёт. Дышит ветерок. Далекие баркасы распускают паруса. Весла поблескивают. А море так задорно плещет о берег, так маняще звенит о борта лодок!..

Джузеппе смеется. Он уже знает, чего я хочу.

Зашуршала лодка по мокрому песочку и закачалась.

— Куда?

— Прямо на солнце!

Берёт горит, обветренные руки — на веслах, а весла — как крылья в лазури. Мы летим. Таково по крайней мере мое ощущение, может быть от синевы, окутавшей все вокруг: она над нами и под нами, позади и со всех сторон. Даже воздух кажется голубым. Не был ли уже я птицей когда-нибудь?

Весла несут нас, как крылья; соленый ветер наполняет доотказа легкие; кто знает, в море или в небе, — журавлиным клином вылетают навстречу паруса баркасов, вольных, как птицы. Я чувствую крылья у себя за плечами.

Джузеппе поет. Он здесь больше хозяин, чем на земле. Он, вероятно, подумает прежде, чем скажет, от кого родился: от женщины или от морской волны. Старик отдал морю сына и внука, зато сколько добыл из его глубины! Кто сосчитает?.. Море било и грызло его, как прибрежную скалу: он стал шершавый, словно губка, просолился, точно канат, но душа у него голубеет, как море в ясную погоду, и глаза скрывают лучи солнца. Он знает все восемь ветров, как братьев родных, понимает язык неба и моря и собирает рыбу — словно сеятель хлеб с поля, словно сам он засеял этой рыбой морскую глубь.

Мы часто выходим вдвоем за рыбой. Днем и ночью. Скольким уловкам научил меня Джузеппе! Мы брали горшок, полный камней и приманки, и спускали его на веревке на дно. Только поплавков оставался наверху. Там вскоре угнездится, как дома, небольшое восьминое чудовище — спрут, и когда его вытаскивают, он обвивает щупальцами руку, присасывается к ней, пожирая нас разъяренным глазом. Но Джузеппе пеньками зубов

перегрызает ему шею — и конец; на дне лодки остается только противная, как кисель, масса. Мы ловили неводом, удочкой, на крючки. Вытаскивали красных колючих чортиков, голубых морских вьюнов, плоских петухов и рыбу-иглу, блестящую на солнце, как остро наточенная коса.

Когда море рябило, Джузеппе капал в него масло. Тогда мы смотрели сквозь желтое пятно, как в оконце, и видели дно. Видели белый песок, таинственное покачивание морских водорослей, жизнь ежей, ленивое ползание крабов, подводные пещеры, игры, отдых и драки рыб. Ежеминутно радужно светились рыбы глаза, как самоцветы, всякими красками играли хребты и разевались пасти, всегда голодные. Все это было добычей Джузеппе.

Он даже как-то оживлялся в те дни, когда рыбачил. Кривым ножом, своим верным товарищем, отковыривал ракушки от скал, высасывал перламутровую слизь и жмурился от удовольствия. Глотал живых креветок, мелкую рыбешку и откусывал ноги у молодого спрута, хотя тот не давался и хватал за язык. Все это были его любимые «фрукты». Соблазнял и меня, но я еще не дошел до этого.

Теперь он поет. Красное вино играет в его жилах, берёт пылает на солнце, а руки слились с веслами и, как крылья, режут голубые просторы. Мы летим. Под нами синяя глубина, над нами такая же высь. Далекий остров залег облаком в небе. Свежий ветер щиплет щеки, наполняет доотказа легкие. Мы летим...

\* \* \*

Она приехала с утренним пароходом, может быть час тому назад, не больше, иначе я уже видел бы ее.

А подумал об этом я потому только, что мы встретились глазами.

До сих пор наши глаза отдыхали на море, чужие, далекие друг другу, как две параллельные линии, ушедшие в мир без надежды встретиться.

Под нами спускались к морю цветущие лимоны, а померанцы, точно звездами, облепили черные кроны. Со лоно дышало море.



Я еще раз взглянул на нее...

Свежий матовый профиль повернулся медленно, и снова ее глаза утонули в моих.

Француженка или англичанка? Нет, наверно, американка.

Толстые немецкие бочки, налитые пивом, со значками туристов и с пылью на ногах, отделяли меня от нее. Захожу с другой стороны и становлюсь ближе. Вижу, как ветер треплет голубой конец вуали по серым камням, замечаю дорожную сумочку и золотые пряди за ухом.

Взглянет или нет?

Целая вечность проходит. Не пошевелинулась.

И правда, что ей до меня или мне до нее? Поворачиваюсь спиной и разглядываю Monte Solaro, поросшую кустарником. Надо как-нибудь забраться туда. Пешком или на осле?

Какие глаза у нее? Не успел разглядеть.

Неужели не увижу?

Мне кажется, что она пошевелинулась, собираясь уходить.

Кидаюсь в толпу, слишком поспешно, и наступаю кому-то на ноги.

— Ах, простите!..

Протискиваюсь плечом и встречаюсь с нею.

Словно фиалки после дождя!

Темные, мягкие, блестящие. Взглянула и закрыла.

Теперь — конец. Иду за нею. Куда она — туда и я.

Делаю равнодушную мину, будто разглядываю дома, но вижу только голубую вуаль, золотистые пряди на шее и маленькие каблучки из-под юбки.

Оглянется или нет?

На повороте останавливается, рассматривает какое-то растение и оборачивается ко мне...

Теперь мы опять над морем, и опять наши глаза бродят по синей пустыне, но во мне рождается уверенность, что они и там могут встретиться.

Потому что я хочу заглянуть в них

Не поддается. На левой щеке вспыхивает легкий румянец, но глаза устремлены на море.

Теряю терпение. Я должен их видеть.

И вдруг всей тяжестью они ложатся в мои с нетерпеливым вопросом:

— Чего ты хочешь?

— Люблю... — уверяют мои.

Ее глаза не знают, что ответить, и мечтательно начинают ласкать скалы, берег, лазурь.

Тем временем я разглядываю нежную линию шеи, мягкий вырез на груди, изгиб руки, такой чистый и нежный. Знаю, что пальцы в перчатках — как лепестки розы. Все это укладывается во мне, вырастает, словно я годами это видел и любовался.

И когда, будто невзначай, обращает на меня свои влажные фиалки, мои глаза настойчиво бросают в них:

— Ты моя!

Она еще не знает — «чья», колеблется немного.

Но я не колеблюсь и жду лишь, когда мы посмотрим друг на друга.

— Ты моя!

Тогда ее глаза вдруг раскрывают свою лучистую бездну, готовую меня поглотить, и твердо говорят:

— Твоя...

— Навеки?

— Навеки!

И разве может быть иначе? Стоим на одной и той же земле — едва десять шагов между нами, одно солнце связывает нас, те же пейзажи входят в нас, и даже тени наши сливаются.

Мы погружаем глаза то в море, то глаза в глаза...

Нас только двое на свете. Что нам до других? Но откуда-то появляется третий. Как облачко, откуда-то взявшееся и погасившее солнце.

Мерит землю тонкими ногами в чулках, склоняет около нее на барьер свой английский костюм и вынимает бинокль.

Что-то говорит он, точно старый знакомый, передает бинокль.

Она взяла!.. Она взяла!..

Приложила мои фиалки к тому самому месту, где за минуту до того были глаза чужого, словно ничего не произошло.

Нет, я не могу быть спокойным.

— Милостивый государь!

Нет, это просто возмутительно! Я уже киплю.

— Милостивый государь! Кто вам дал право так обращаться? Понимаете ли вы, что это с вашей стороны наглость?

Он, вероятно, понимает язык моих глаз, потому что оборачивается ко мне и бросает удивленный взгляд. Потом равнодушно отводит его. Ну, черт с ним!

Но она? Ведь недавно клялась мне: навеки!.. Достаточно было появиться каким-то тонким ногам и английскому костюму!.. Вот она, верность женская...

Чувствую, что я ревную. Поворачиваюсь к ней боком. Любуйся своим англичанином... Даже не взгляну. Меня больше интересуег красота природы, — вечная, она не изменит. Не обернусь ни за что! Хотя бы ты плакала, хотя бы ты умоляла! Ни за что...

Чувствую ее взгляд на себе. Он меня влечет. А может, это только кажется... Они, вероятно, так увлеклись друг другом, что я для них не существую. Не обернуться ли вдруг и не накрыть ли голубков? Но какое мне дело до чужой любви?..

Все-таки оборачиваюсь, совершенно холодный, и встречаюсь с ее глазами.

Такие покорные, умоляющие, невинные.

Тогда я от всего сердца прощаю и забываю.

— Любишь?

— Обожаю!

Теперь опять хожу за нею. Куда она — туда и я неоступно. На англичанина — ни тени внимания.

Он не существует для меня. Иду поодаль за голубой вуалью или навстречу, чтобы заглянуть ей в глаза. Она выбирает открытки, я тоже покупаю. Уже полны карманы. Разглядывает витрину — я стою рядом. А все для того, чтобы поймать взгляд, брошенный тайком, лукаво; через головы людей. Так солнце порою бросает свой луч сквозь дождь.

Уже день кончился, засветилась ночь, а я еще на ногах. Где она — там и я. Она уже устала, пора бы ей отдохнуть. Напоследок, при свете звезд, заглядываю ей в глаза.

— До завтра? — спрашивают мои.

— До завтра, — отвечают фиалки.

— Моя?

— Навеки.

А завтра, еще не совсем рассвело, бегу на вчерашние дорожки. И вдруг, не добежав, останавливаюсь. Меня задерживает запах пароходного дыма. Я знаю... я уверен, что ее уже нет. Она уехала с утренним пароходом. Вон он едва сереет на сером море, даже дым уже развеялся.

Стою на дороге и втягиваю в себя этот легкий запах. Это все, что осталось от моего романа...

\* \* \*

Всегда волнуюсь, когда вижу агаву: серую корону крепких листьев, зубчатых по краям и острых на конце, как затесанный кол. Расселась по террасам, венчая скрытую силу земли. Волнуюсь, видя цветок ее, — высокий, похожий на шест, зеленый ствол с венцом смерти наверху.

Такова тайна агавы: она цветет, чтобы умереть, и умирает, чтобы цвести.

Вот она — та, что вечно меня волнует, что только однажды расцветает цветком смерти. Сизая сердцевина крепко свернута и, в муках стиснув зубы, отрывает от себя листок за листком. Окаменела на каменистой почве и прислушивается с ужасом, как растет, зреет, рвется из нее душа.

И так годами.

Там, где-то глубоко, под серым колоколом корня, что-то созревает таинственно, вытягивая силу из сердца земли, и агавы в отчаянии складывает листья, будто чувствует, что роды принесут смерть.

И на каждом листке, который с болью отрывается от сердца, остается след зубов.

Всему своя пора, для всего приходит свой час.

И для агавы. То, что таилось в ней, прорывается, наконец, сквозь тесные объятия и выходит на волю, как исполин, неся на могучем теле, которое можно сравнить разве с сосной, цветок смерти.

Овеянная ветром, близкая к небу, агавы видит теперь то, чего не видела прежде. Она видит море и скалы, первая встречает восход солнца, последняя ловит красный закат, а ветер шумит вокруг нее, как и в кроне дерева.

Сизые листья вянут со временем, склоняются, как больные, по ним стекают дожди, синие зубы мертво блестя на солнце, крона сохнет, становится мягкой, как тряпка, а цветок на высоком стволе приветствует солнце и море, скалы и далекие влажные ветры гордым и безнадежным приветом обреченных на преждевременную смерть.

Отворяя утром окно, я каждый раз вижу цветущие агавы. Стоят стройные и высокие, с венцом смерти на челе, и приветствуют далекое море:

Ave, mare, morituri te salutant!..

1912 г.

## ПРИМЕЧАНИЯ

«*Fata Morgana*» — значительнейшее произведение М. Коцюбинского. Первая часть, оконченная в январе 1903 г., впервые была напечатана в журнале «Киевская старина», 1904 г., кн. III. Вторая часть была написана семь лет спустя и впервые опубликована во Львовском журнале «Літературно-науковий вісник», 1910 г., кн. VI.

Повесть реалистически рисует аграрное движение в украинской деревне в период революции 1905 года.

Коцюбинский дал правдивую картину сложных социальных процессов, происходивших в деревне. Приступая к созданию первой части повести, писатель тщательно собирал документы и материалы, составлял подробный план развития сюжета и набрасывал предварительную характеристику главных действующих лиц.

Он отмечал в конспекте, что все его герои-крестьяне живут надеждой на лучшее будущее, и действительность всякий раз разбивает их иллюзии.

Коцюбинский так характеризует своих героев:

«Маланка — 45	}	Безземельные батраки, пролетарии.
Гафийка — 17		
Андрій Побидаш [Волык] — 50		

Прокоп Самосийный [Кандзюба] — 22, работник, пролетарий.

Макар Гуша [Марко] — под надзором полиции, высланный из Одессы фабричный рабочий.

Хома Гудзь — старый холостяк, пьяница, у него ни кола, ни двора, без роду и племени. Пасет скот, и сам стал вроде скота».

Для изображения революционных событий 1905 года Коцюбинский делал выписки из «Трудов императорского вольного экономического общества», №№ 4—5 за 1908 г. Например, одна из

выпенок давала картину аграрных волнений: «...В движении участ-вовало все село, состоящее из бедняков. А два-три зажиточных двора поневоле были обязаны поддержать, иначе были случаи, что несогласившихся после избивали».

«... По ночам собирались на митинги. Были составлены общественные приговоры с требованием учредительного собрания и отобрания земли от землевладельцев. Все одно думали и об одном мечтали».

Коцюбинский собрал обширный материал из записей земских корреспондентов, интереснейшие данные о различных эпизодах аграрного движения в украинской деревне. В архивах писателя сохранилась целая картотека с этими записями.

Во второй части повести М. Коцюбинский воспроизвел события, происшедшие в селе Выхвостове (Вифостове) Черниговской губернии, где 2 ноября 1905 г. кулаки на сходе учинили жестокую расправу над участниками разгрома помещицкой усадьбы и винокуренного завода.

Перевод повести «Fata Morgana» заново переработан для этого издания в соответствии с новейшими украинскими публикациями, основанными на рукописи, хранящейся в Черниговском музее М. М. Коцюбинского. Переводчик пользовался для колорита рядом выражений и слов, встречающихся в записях земских корреспондентов на русском языке и в материалах, напечатанных в «Трудах императорского всельного экономического общества».

*Fata Morgana* (лат.) — мираж, при котором возникают изображения предметов, лежащих вне пределов горизонта, обычно сильно искаженные и быстро изменяющиеся.

Стр. 5.

*Пане добродзею* — сударь, милостивый государь (зват. пад.).

Стр. 6.

*Но Фоминою...* Фомина неделя — первая неделя после пасхальной (церк.).

Стр. 7.

*Филипповок...* Филипповки — пост перед рождеством (церк.).  
*Проводы* — Фомина неделя (церк.).

Стр. 11.

*Тату* — отец.

Стр. 12.

*Бриль* — соломенная шляпа.

Имберя, матушка, имберя,  
И достань из бумаги рушник.

Стр. 14.

*Намитка* — женский головной убор, покрывало из кисей, которыми повязываются замужние женщины.

Стр. 20.

*Паляница* — род булки или хлеба из пшеничной муки.

Стр. 30.

*Цивчина, подавшая полотенце...* — По украинскому обычаю просватанная девушка подает жениху вышитое полотенце.

Стр. 33.

*Злот* — старинная серебряная монета пятнадцатикопеечного достоинства.

## ОБЛАКА

Впервые напечатано в украинской газете «Свобода», выходившей в Канаде.

## УСТАЛОСТЬ

Впервые напечатано в альманахе «3 потоку життя», Херсон, 1905 г.



## ОДИНОЧЕСТВО

Впервые напечатано в альманахе «3 потоку життя», Херсон, 1905 г.

## В ГРЕШНЫЙ МИР

Впервые опубликовано в альманахе «За красою», Черновицы, 1905 г. Сохранились заметки Коцюбинского к этому рассказу, написанные на отдельных листках бумаги.

Мать-игуменя — 60 лет.

Мать-казначей [Аркадия] Серафима — под 40 л.

Поп — чернец.

Дед — пастух.

Две послушницы: 1. Александра — 19, 2. Варвара — 22.

Три послушницы:

Марфа — 20.

Устина — идеал. 26.

[Лукина].

Секлета — 25.

Первоначальное название рассказа — «Потерянный рай».

## СМЕХ

Впервые напечатано в сборнике «Нова Громада», 1906 г., кн. II.

## ОН ИДЕТ

Впервые появилось в журнале «Літературно-науковий вісник», 1906 г., кн. XI.

Стр. 142.

Балабуста (*евр.*) — хозяйка; здесь — торговка.

Шойхет (*евр.*) — резник.

Стр. 146.

Гой (*евр.*) — не еврей.

## НЕИЗВЕСТНЫЙ

Впервые напечатано в «Літературно-науковом віснику», 1907 г., кн. IV.

## PERSONA GRATA

Впервые опубликовано в литературном сборнике «З неволі», Вологда — Петербург, 1908 г.

*Persona grata* (лат.) — уважаемая особа.

## В ДОРОГЕ

Впервые напечатано в журнале «Дзвоні», 1907 г.

## INTERMEZZO

Впервые появилось в журнале «Літературно-науковий вісник», 1909 г., кн. I.

*Intermezzo* (итал.) — «перерыв». В музыке — небольшая пьеса, исполняемая в антракте между действиями трагедии или оперы (XVII в.). — Вообще небольшое музыкальное или поэтическое произведение.

Стр. 201.

*In saecula saeculorum* — во веки веков.

## КАК МЫ ЕЗДИЛИ В КРИНИЦУ

Впервые напечатано в газете «Рада», 1908 г., № 291.

Стр. 210.

*Запаска* — особая юбка, фартук.

## ДЕБЮТ

Впервые опубликовано в журнале «Літературно-науковий вісник», 1909 г., кн. VIII.

Стр. 222.

*Powiedz, moje serce* (польск.) — Скажи, мое сердце.

Стр. 225.

*...moje kochane dziecko* (польск.) — Мое любимое дитя.

Стр. 226.

*Spij dobrze, moje kochane dziecko* (польск.) — Спи спокойно, мое любимое дитя.

Стр. 243.

*Kyrie eléjson* (греч.) — Господи, помилуй.

Стр. 243.

*Swenta Panno... wiezo z kosci sloniowej* (польск.) — «Пресвятая дева... башня из слонской кости» (слова католической молитвы).

## ЧТО ЗАПИСАНО В КНИГУ ЖИЗНИ

Впервые напечатано в журнале «Літературно-науковий вісник», 1911 г., кн. IV.

## СОН

Впервые опубликовано в журнале «Літературно-науковий вісник», 1911 г., кн. IX.

Стр. 268.

«Я снова был там... в далеком теплом краю...» Коцюбинский описывает скалистый островок Капри в Италии. Голубой грот, изображенный в рассказе, представляет собой морскую пещеру, создающую самое феерическое зрелище: вода, стены грота, фигуры и лица посетителей окрашиваются з яркоголубой цвет.

Стр 273.

*Acht Wunderschön!* (нем.) — Ах, чудесно!

Стр. 276.

*Piazza* (итал.) — Площадь.

### ТЕНИ ЗАБЫТЫХ ПРЕДКОВ

Впервые напечатано в журнале «Літературно-науковий вісник», 1912 г., кв. I, II.

Стр 289.

*Кресаня* — соломенная шляпа.

*Аридчык* — злой дух.

*Мавка* — лесная русалка.

Стр. 290.

«Жовтаня», «голубаня», «биланя» — клички коров по их масти — буренка, белышка и т. п.

Стр. 297.

Ой, прибежала с пастбища  
Белая овечка —  
Люблю тебя, моя прекрасная,  
И все твои словечки.

Кукушечка мне прокуковала, серенькая и маленькая.  
На все село сложена новая песенка.

Стр. 298.

Ой, прокуковала мне кукушечка возле родника.  
А кто сложил песенку? — Иванкова Маричка.

Вспомни меня, мой миленький,  
Два раза в день,  
А я тебя вспомню  
Семь раз в один час.

Милые мои песенки,  
Что мне делать с вами?  
Разве вас, мои песенки,  
Посеять по горам...

Ой, будете вы, песенки,  
Петь в горах,  
А я буду, молодая,  
Слезами умываться.  
Если будет мне удача,  
Созывать к себе вас буду.  
Если ж будет неудача,  
Я вас позабуду.

Стр. 305.

Ой, как будут чабаны  
Пасти белых овечек,  
Будут моими песенками  
Украшать свои шляпы...

Стр. 309.

Спрашивает у барана  
Круторогая овца:  
— Не принесешь ли, барашек,  
Зеленого сенца?

Не знаешь ты, круторогая,  
Как придет зима:  
Уйдешь ли ты, не уйдешь ли  
С пастбища жива...

Стр. 312.

Черногора хлеб не родит,  
Не родит пшеницы,  
Она лелеет пастухов,  
Сыр, сыворотку.

## ПОДАРОК НА ИМЕНИНЫ

Впервые напечатано в журнале «Літературно-науковий вісник», 1912 г., кн. V.

## ЛОШАДИ НЕ ВИНОВАТЫ

Впервые напечатано в журнале «Літературно-науковий вісник», 1912 г., кн. VI.

Интересно отметить, что эта сатира на буржуазных либералов по сюжету очень напоминает шестую «Русскую сказку» М. Горького.

Стр 366.

*Laissez donc... Le domestique écoute!* (франц.) — Перестаньте... слуга слушает!

Стр 367.

*...ma cherie* (франц.) — Моя дорогая.

*İcıl* (франц.) — Сюда!

Стр 374.

*Avanti!* (итал.) — Вперед!

## ХВАЛА ЖИЗНИ

Впервые опубликовано в издании Полтавского общества по борьбе с туберкулезом «Белый цветок», 1912 г.

## НА ОСТРОВЕ

Впервые напечатано в журнале «Літературно-науковий вісник», 1913 г., кн. I. Рассказ не окончен.

Стр 389.

*Buon giorno!* (итал.) — Добрый день!

Стр. 390.

*Buon giorno, signore!* (итал.) — Добрый день, господин!

Стр. 393.

*Shall we have time before breakfast? O, yes!.* (англ.) — Будет ли у нас время до завтрака? О, да.

Стр. 404.

*Ave, mare, morituri te salutant!.* (лат.) — Здравствуй, море, готовые умереть тебя приветствуют!.

## СО Д Е Р Ж А Н И Е

<i>Fata morgana. Перевод Н. Ушакова . . . . .</i>	5
<i>Из глубины. Перевод Т. Белогорской . . . . .</i>	112
Облака . . . . .	112
Усталость . . . . .	113
Одиночество . . . . .	113
Сон . . . . .	114
<i>В грешный мир. Перевод Е. Егоровой . . . . .</i>	116
<i>Смех. Перевод Е. Егоровой . . . . .</i>	129
<i>Он идет. Перевод Е. Егоровой . . . . .</i>	141
<i>Неизвестный. Перевод Ал. Дейча . . . . .</i>	151
<i>Persona grata. Перевод Н. Ушакова . . . . .</i>	160
<i>В дороге. Перевод Л. Кремневой . . . . .</i>	178
<i>Inte-mezzo. Перевод Л. Кремневой . . . . .</i>	194
<i>Как мы ездили в Криницу. Перевод Л. Кремневой . . . . .</i>	208
<i>Дебют. Перевод И. Дорбы . . . . .</i>	220
<i>Что записано в книгу жизни. Перевод Е. Россельс . . . . .</i>	250
<i>Сон. Перевод И. Дорбы . . . . .</i>	262
<i>Тени забытых предков. Перевод Н. Ушакова . . . . .</i>	288
<i>Подарок на именины. Перевод Н. Ушакова . . . . .</i>	343
<i>Лошади не виноваты. Перевод Ал. Дейча . . . . .</i>	361
<i>Хвала жизни. Перевод Г. Шипова . . . . .</i>	381
<i>На острове. Перевод А. Деева . . . . .</i>	387
<b>Примечания . . . . .</b>	<b>405</b>



Переплет и титул художника  
*И. Косылева*

\*

Редактор *Е. Цинговатова*  
Худож. редактор *Н. Мулин*  
Технический редактор *М. Позднякова*  
Корректор *А. Соловьёва*

\*

Сдано в набор 10/VIII 1950 г.  
Подписано к печати 26/1 — 1951 г.  
А 00211 Тираж 30 000. Бумага 84×108<sup>1/32</sup>—  
=6,5 бум. л. 21,32 печ. л. Уч.-изд. л. 20,8.  
Цена 10 р. Заказ № 1373.

\*

20-я типография „Союзполиграфпрома“  
Главполиграфиздата  
при Совете Министров СССР.  
Москва, Ново-Алексеевская, 52.